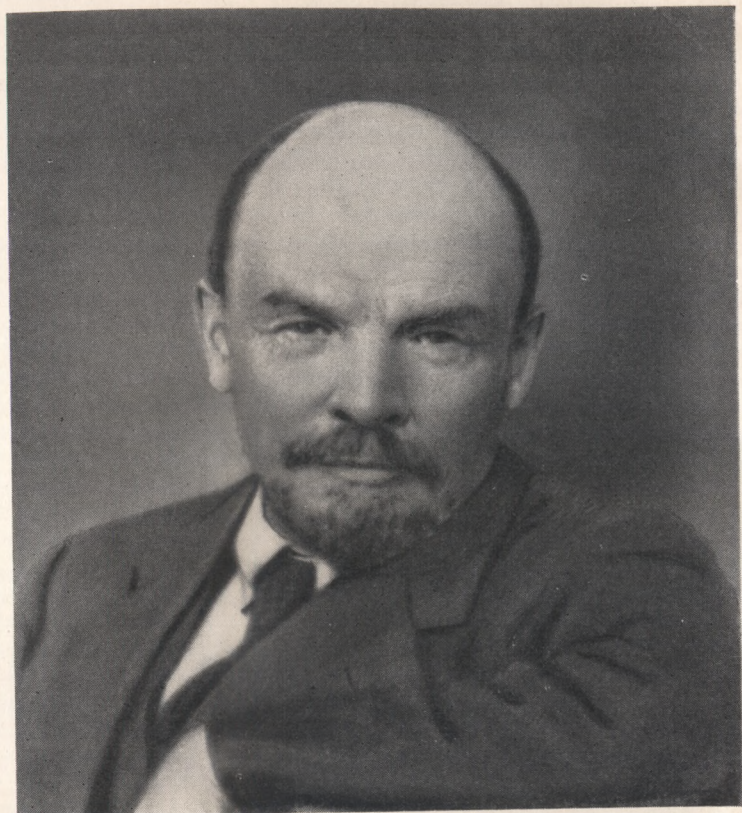


~~12~~ 13.5

Ж67

ЖИВОЙ ЛЕНИН



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Мемуарная литература постоянно обогащается новыми воспоминаниями о В. И. Ленине его соратников и современников; воспоминания, ставшие библиографической редкостью, переиздаются вновь.

Эти рассказы о личности Владимира Ильича, его жизни и деятельности, в которых запечатлелись черты живого Ленина, имеют огромное познавательное и воспитательное значение.

Предлагаемая читателю книга выходит впервые. В ней собраны воспоминания о В. И. Ленине советских писателей, опубликованные ранее в периодической печати, сборниках и публикующиеся вновь.

Воспоминания различны по своему характеру. Одним писателям посчастливилось советоваться с В. И. Лениным по вопросам становления и развития пролетарской культуры, встречаться и беседовать в процессе участия в совместной политической борьбе, процессе сотрудничества в большевистской печати. Другие слышали выступления В. И. Ленина на конгрессах, съездах, на массовых митингах, демонстрациях и т. д. Как о самой дорогой странице своей жизни рассказывают они об этих впечатлениях.

Воспоминания являются ценным свидетельством того, какое огромное воздействие на мировоззрение писателей

и создание революционной литературы оказал В. И. Ленин. Величие его дел и идей вдохновляет писателей на создание правдивых произведений о советской действительности.

Жизнь и деятельность В. И. Ленина предстает перед читателями в тесной связи с историей борьбы нашего народа и Коммунистической партии за лучшее будущее. Воспоминания расположены в соответствии с хронологической канвой жизни и деятельности В. И. Ленина, с учетом последовательности тех периодов и событий, которые в них освещаются.

Сборник открывают воспоминания А. В. Луначарского, в которых показано отношение В. И. Ленина к задачам литературы и искусства. Воспоминания А. М. Горького, создавшего непревзойденный портрет Ленина — гениального вождя и самого человеческого человека, — завершают книгу.

Многие воспоминания представляют собой библиографическую редкость, так как они затерялись в подшивках старых газет и журналов и никогда не переиздавались. Среди них — воспоминания пролетарского поэта Н. Полетаева, кинодраматурга О. Леонидова, изданные в 1924 году, писателя-очеркиста И. Жиги — в 1931 году и др. Некоторые из воспоминаний не переиздавались в связи с тем, что творчество их авторов незаслуженно предавалось забвению в годы культа личности. Это воспоминания талантливого советского критика А. Воронского, пролетарских поэтов А. Гастева и М. Герасимова, писателей А. Аросева, Ф. Раскольниковца, А. Тарасова-Родионова.

Особую ценность представляют новые материалы о В. И. Ленине. В сборник включены воспоминания поэтов В. Казина, Г. Санникова, переводчика П. Охрименко, публикуемые впервые. Впервые также публикуются воспоминания Дм. Фурманова «Мы хоронили Ильича», хранящиеся в архиве ИМЛИ.

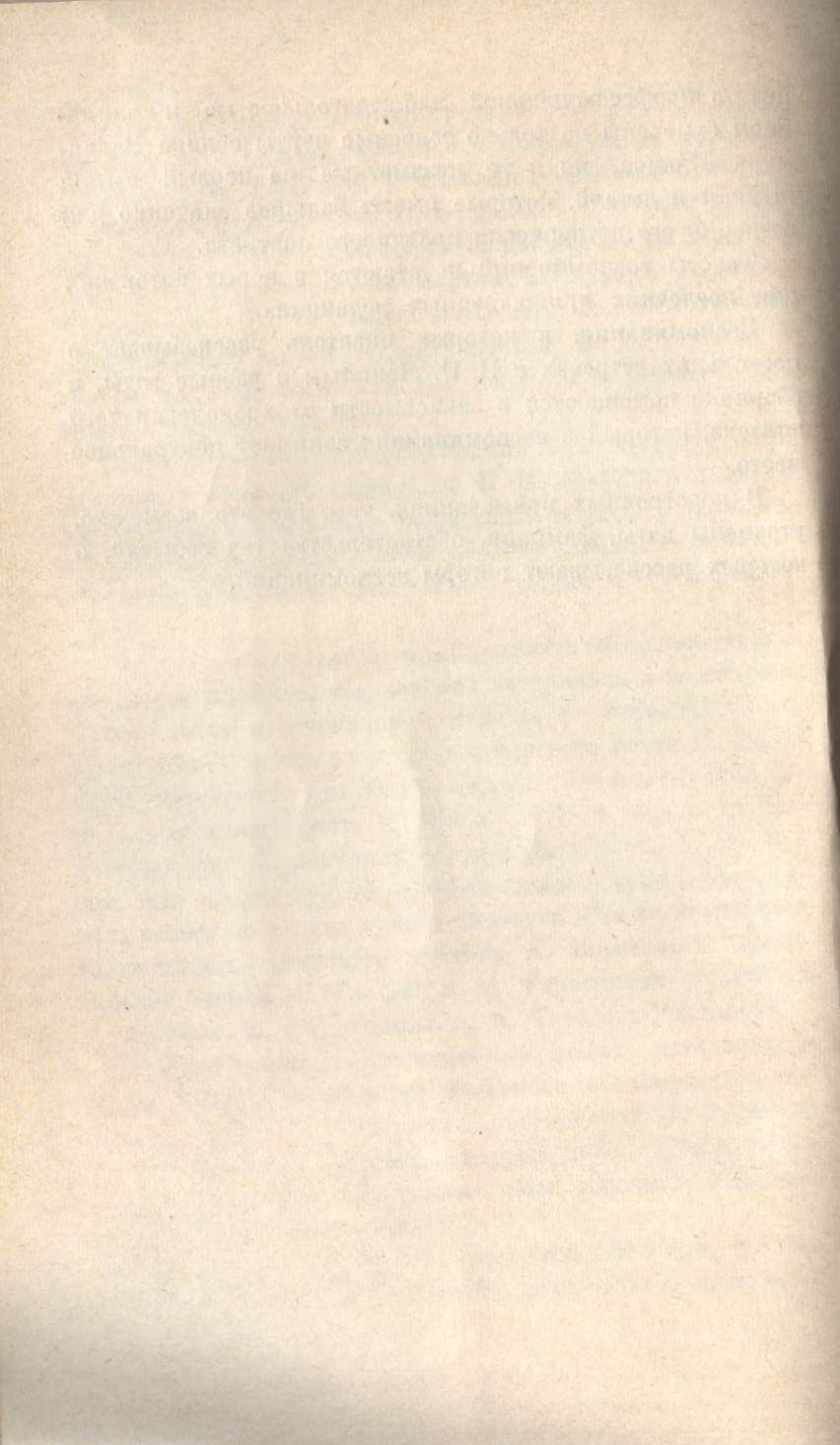
Характерная особенность воспоминаний в том, что они написаны мастерами художественного слова, поэтому в

них с профессиональной наблюдательностью и вниманием отмечены не только основные черты облика Владимира Ильича, но и те незаметные на первый взгляд штрихи и детали, которые имеют большое значение для создания его исторически правдивого портрета.

Тексты воспоминаний печатаются в новых авторских или последних прижизненных редакциях.

Воспоминания, в которых писатель рассказывает о нескольких встречах с В. И. Лениным в разные годы, в сборнике помещаются в зависимости от хронологии того эпизода, который в воспоминаниях занимает центральное место.

В подстрочных примечаниях, там, где это возможно, уточнены даты, фамилии, обстоятельства тех событий, о которых рассказывают авторы воспоминаний.



Ленин и искусство

У Ленина было очень мало времени в течение его жизни сколько-нибудь пристально заняться искусством, и так как ему всегда был чужд и ненавистен дилетантизм, то он не любил высказываться об искусстве. Тем не менее вкусы его были очень определены. Он любил русских классиков, любил реализм в литературе, в театре, в живописи и т. д.

Еще в 1905 году во время первой революции ему пришлось раз ночевать в квартире т. Д. И. Лещенко, где, между прочим, была целая коллекция кнакфуссовских изданий, посвященных крупнейшим художникам мира. На другое утро Владимир Ильич сказал мне: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь работы для марксиста. Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Эти слова Ильича запомнились мне чрезвычайно четко.

Несколько раз приходилось мне встречаться с ним уже после революции на почве разных художественных жюри.

Так, например, помню, он вызвал меня, и мы вместе с ним поехали на выставку проектов памятников на предмет замены фигуры Александра III, свергнутой с роскошного постамента около храма Христа-спасителя. Владимир Ильич очень критически осматривал все эти памятники. Ни один из них ему не понравился. С особым удивлением стоял он перед памятником футуристического пошиба, но, когда спросили его об его мнении, он сказал: «Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского». На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного памятника, он очень обрадовался и сказал мне: «А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело».

Другой раз дело шло о памятнике Карлу Марксу. Известный скульптор М. проявил особую настойчивость. Он выставил большой проект памятника: «Карл Маркс, стоящий на четырех слонах». Такой неожиданный мотив показался нам всем странным и Владимиру Ильичу также. Художник стал переделывать свой памятник, и переделывал его раза три, ни за что не желая отказаться от победы на конкурсе. Когда жюри под моим председательством окончательно отвергло его проект и остановилось на коллективном проекте группы художников под руководством Алешина, то скульптор М. обратился к Владимиру Ильичу с жалобой. Владимир Ильич принял к сердцу его жалобу и звонил мне специально, чтобы было созвано новое жюри. Сказал, что сам придет смотреть алешинский проект и проект скульптора М. Приехал. Остался алешинским проектом очень доволен, проект скульптора М. отклонил.

В этом же самом году на празднике 1 Мая в том самом месте, где предполагалось воздвигнуть памятник Марксу, алешинская группа построила в небольшом масштабе модель памятника. Владимир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел памятник вокруг, спросил, какой он будет величины, и, в конце концов, одобрил его, сказав, однако: «Анатолий Васильевич, особенно скажите художнику, чтобы волосы вышли похожими, чтобы было то впечатление от Карла Маркса, какое получается от хороших его портретов, а то как будто сходства мало».

Еще в 1918 году Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, что надо двинуть вперед искусство как агита-

ционное средство. При этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них сейчас же предложил.

Второй проект относился к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников временных из гипса, как в Петрограде, так и в Москве. Оба города живо откликнулись на предложение осуществить идею Владимира Ильича, причем предполагалось, что каждый памятник будет торжественно открываться речью о данном революционере и что под ним будут сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич называл это «монументальной пропагандой».

В Петрограде эта «монументальная пропаганда» была довольно удачной. Первым таким памятником был Радищев — Шервуда. Копию его поставили в Москве. К сожалению, памятник в Петрограде разбился и не был возобновлен. Вообще большинство хороших петроградских памятников по самой хрупкости материала не могли удержаться, а я помню очень неплохие памятники, например бюсты Гарибальди, Шевченко, Добролюбова, Герцена и некоторые другие. Хуже выходили памятники с левым уклоном; так, например, когда открыта была кубически стилизованная голова Перовской, то некоторые прямо шарахнулись в сторону. Так же точно, помнится, памятник Чернышевскому многим показался чрезвычайно вычурным. Лучшее всех был памятник Лассалю¹. Этот памятник, поставленный у бывшей городской думы, остался и до сих пор². Кажется, его отлили из бронзы. Чрезвычайно удачен был также памятник Карлу Марксу во весь рост, сделанный скульптором Матвеевым. К сожалению, он разбился и сейчас заменен в том же месте, т. е. около Смольного, бронзовой головой Маркса более или менее обычного типа, без оригинальной пластической трактовки Матвеева.

В Москве, где памятники как раз мог видеть Владимир Ильич, они были неудачны.

¹ Памятник Лассалю художника Зелита.— А. Л. (Ошибка памяти А. В. Луначарского: памятник Лассалю — работы скульптора Синайского.— *Ред.*)

² Воспоминания написаны в 1924 году.— *Ред.*

Вообще удовлетворительных памятников в Москве было мало. Лучше других, пожалуй, памятник поэту Никитину. Я не знаю, смотрел ли их подробно Владимир Ильич, но, во всяком случае, он как-то с неудовольствием сказал мне, что из монументальной пропаганды ничего не вышло. Я ответил ссылкой на петроградский опыт. Владимир Ильич с сомнением покачал головой и сказал: «Что же, в Петрограде собрались все таланты, а в Москве бездарности?» Объяснить ему такое странное явление я не мог.

С некоторым сомнением относился он и к мемориальной доске Коненкова. Она казалась ему не особенно убедительной. Сам Коненков, между прочим, не без остроты называл это свое произведение «мнимореальной доской».

Помню я также, как художник Альтман подарил Владимиру Ильичу барельеф, изображающий Халтурина. Владимиру Ильичу барельеф очень понравился, но он спросил меня, не футуристическое ли это произведение? К футуризму он вообще относился отрицательно. Я не присутствовал при разговоре его в Вхутемасе, в общежитие которого он как-то заезжал с Надеждой Константиновной. Мне потом передавали о большом разговоре между ним и вхутемасовцами, конечно, сплошь «левыми». Владимир Ильич отшучивался от них, насмеялся немножко, но и тут заявил, что серьезно говорить о таких предметах не берется, ибо чувствует себя недостаточно компетентным. Самую молодежь нашел очень хорошей и радовался их коммунистическому настроению.

Владимиру Ильичу редко в течение последнего периода его жизни удавалось насладиться искусством. Он несколько раз бывал в театре, кажется, исключительно в Художественном, который очень высоко ставил. Спектакли в этом театре неизменно производили на него отличное впечатление.

Владимир Ильич сильно любил музыку. Одно время у меня в квартире устраивались хорошие концерты. Пел иногда Шаляпин, играли Мейчик, Романовский, квартет Страдивариуса, Кусевицкий и т. д. Я много раз звал Владимира Ильича, но он всегда был занят. Один раз прямо мне сказал: «Конечно, очень приятно слушать музыку, но, представьте, она меня расстраивает. Я ее как-то тяжело переношу». Помнится, т. Цюрупа, которому раза два удалось залучить Владимира Ильича на домашний концерт того же пианиста Романовского, говорил мне так-

же, что Владимир Ильич очень наслаждался музыкой, но был, по-видимому, взволнован.

Мне несколько раз приходилось доказывать Владимиру Ильичу, что Большой театр стоит нам сравнительно дешево, но все же, по его настоянию, ссуда ему была сокращена. Руководился Владимир Ильич двумя соображениями. Одно из них он сразу назвал: «Не годится,— говорил он,— содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне». Другое соображение было выдвинуто, когда я на одном из заседаний оспаривал его нападения на Большой театр. Я указывал на несомненное культурное значение его. Тогда Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: «А все-таки это кусок чисто помещичьей культуры, и против этого никто спорить не сможет».

Из этого не следует, что Владимир Ильич к культуре прошлого был вообще враждебен. Специфически помещичьим казался ему весь придворно-помпезный тон оперы. Вообще же искусство прошлого, в особенности русский реализм (в том числе и передвижников, например), Владимир Ильич высоко ценил.

Вот те фактические данные, которые я могу привести из моих воспоминаний о Владимире Ильиче. Повторяю, из своих эстетических симпатий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих идей.

Товарищи, интересующиеся искусством, помнят обращение ЦК по вопросам об искусстве, довольно резко направленное против футуризма¹. Я не осведомлен об этом ближе, но думаю, что здесь была большая капля меду самого Владимира Ильича. В то время Владимир Ильич считал меня не то сторонником футуризма, не то человеком, исключительно ему потворствующим, потому, вероятно, и не советовался со мною перед изданием этого постановления ЦК, которое должно было, на его взгляд, выпрямить мою линию.

Расходился со мной довольно резко Владимир Ильич и по отношению к Пролеткульту. Один раз даже сильно побранил меня. Скажу прежде всего, что Владимир Ильич отнюдь не отрицал значение кружков рабочих для

¹ Письмо ЦК РКП «О пролеткультурах», опубликованное в «Правде» 1 декабря 1920 г.— *Ред.*

выработки писателей и художников из пролетарской среды, но он очень боялся поползновения Пролеткульта заняться выработкой «пролетарской науки» вообще, «пролетарской культуры» во всем объеме. Это, во-первых, казалось ему совершенно несвоевременной и непосильной задачей, во-вторых, он думал, что такими, естественно, скороспелыми выдумками рабочих отгородят от учебы, от восприятия элементов уже готовой науки и культуры, и, в-третьих, побаивался Владимир Ильич, не без основания, по-видимому, и того, чтобы в Пролеткульте не свил себе гнезда какой-нибудь политический уклон. Довольно недружелюбно относился он, например, к большой роли, которую в Пролеткульте играл в то время А. А. Богданов.

Владимир Ильич во время съезда Пролеткульта в октябре 1920 года поручил мне поехать туда и определенно указать, что Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как его учреждение и т. д. Словом, Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству; в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии. Речь, которую я сказал на съезде, я редактировал довольно уклончиво и примирительно, Владимиру Ильичу передали эту речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня к себе и разнес. Позднее Пролеткульт был перестроен согласно указаниям Владимира Ильича.

Новые художественные и литературные формации, образовавшиеся во время революции, проходили большей частью мимо внимания Владимира Ильича. У него не было времени ими заняться. Все же скажу — «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной¹. Нельзя не пожалеть, что о других, более поздних и более зрелых поворотах литературы к революции он уже не мог высказаться.

Всем известен огромный интерес, который проявлял Владимир Ильич к кинематографии.

А. В. Луначарский, Воспоминания о Ленине, Партиздат, 1933, стр. 46—51.

¹ Зато небольшое стихотворение того же Маяковского о волоките очень насмешило Владимира Ильича, и некоторые строки он даже повторял. (Прим. автора.)

* * *

...Ленин сказал мне в личной беседе, когда я его просил — «Дайте мне денег для поддержки наших экспериментальных театров, ибо это театры новые и революционные», — «Пусть в течение голодного времени экспериментальные театры продержатся на известном энтузиазме. Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат не простит». Ленин стоял на той точке зрения, что мы должны позаботиться в первую очередь о том, чтобы не распались музеи, которые хранят громаднейшие ценности, чтобы не изголодались и не сбежали за границу большие специалисты. Он считал, что если мы подождем с тем, чтобы поставить на первый план экспериментальную молодежь, — это будет меньшим грехом.

Сборник «Ленин о культуре и искусстве», Изогиз, 1938, стр. 310.

* * *

...Большая беседа моя с Ильичем о кино была вызвана острым интересом его к киноделу, который и сказался в его известном письме к т. Литкенсу, написанном им в январе. Приблизительно в середине февраля, а может быть, и к концу его, Владимир Ильич предложил мне зайти к нему для разговора. Насколько помню, разговор касался нескольких текущих вопросов жизни Наркомпроса. Спрашивал он меня и о том, что сделано в исполнение его бумаги, посланной Литкенсу. В ответ я изложил довольно подробно все, что знал о состоянии кино в Советской республике и об огромных трудностях, какие встречает развитие этого дела. Я в особенности указывал на отсутствие средств у Наркомпроса для широкой постановки кинопроизводства, а также на отсутствие руководителей этого дела или, вернее сказать, руководителей коммунистов, на которых можно было бы вполне положиться. В ответ на это Владимир Ильич сказал мне, что постарается сделать что-нибудь для увеличения средств фотокиноотдела, но что у него есть внутреннее убеждение

в большой доходности этого дела, если оно только будет правильно поставлено. Он еще раз подчеркнул необходимость установления определенной пропорции между увлекательными кинокартинами и научными.

К несчастью, это еще и до сих пор слабо поставлено. Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающими советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильм, может быть, еще не пришло:

«Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то неважно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место».

К этому Владимир Ильич прибавил:

«По мере того, как вы встанете на ноги благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положения страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развернуть производство шире, а в особенности продвинуть здоровое кино в массы в городе, а еще более того в деревне».

Затем, улыбаясь, Владимир Ильич прибавил:

«Вы у нас слывете покровителем искусства, так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино».

На этом, помнится, наша беседа прекратилась.

*«Партия о кино», Госкиноиздат,
1939, стр. 31—32.*

* * *

...В 1918 г. атака пролеткультовцев на Александринский театр была сильна. Лично я был близок к Пролеткульту, и в конце концов меня несколько смутили настойчивые требования покончить с «гнездом реакционного искусства».

Я решил спросить совета у самого Владимира Ильича.

...Итак, придя к Владимиру Ильичу в кабинет, не помню уж точно какого числа, но, во всяком случае, в сезон

1918—1919 года, я сказал ему, что полагаю применить все усилия для того, чтобы сохранить все лучшие театры страны. К этому я прибавил: «Пока, конечно, репертуар их стар, но от всякой грязи мы его тотчас же почистим. Публика, и притом именно пролетарская, ходит туда охотно. Как эта публика, так и само время заставят даже самые консервативные театры постепенно измениться. Думаю, что это изменение произойдет относительно скоро. Вносить здесь прямую ломку я считаю опасным: у нас в этой области ничего взамен еще нет. И то новое, что будет расти, пожалуй, потеряет культурную нить. Ведь нельзя же, считаясь с тем, что музыка недалекого будущего после победы революции сделается пролетарской и социалистической,— ведь нельзя же полагать, что можно закрыть консерватории и музыкальные училища и сжечь старые «феодально-буржуазные» инструменты и ноты».

Владимир Ильич внимательно выслушал меня и ответил, чтобы я держался именно этой линии, только не забывал бы поддерживать и то новое, что родится под влиянием революции. Пусть это будет сначала слабо: тут нельзя применять одни эстетические суждения, иначе старое, более зрелое искусство затормозит развитие нового, а само хоть и будет изменяться, но тем более медленно, чем меньше его будет прищипывать конкуренция молодых явлений.

Я поспешил уверить Владимира Ильича, что всячески буду избегать подобной ошибки: «Только нельзя допустить,— сказал я,— чтобы психопаты и шарлатаны, которые сейчас в довольно большом числе стараются привязаться к нашему пароходу, стали бы нашими же силами играть неподобающую им и вредную для нас роль».

Владимир Ильич сказал на это буквально следующее: «Насчет психопатов и шарлатанов вы глубоко правы. Класс победивших, да еще такой, у которого собственные интеллигентские силы пока количественно невелики, непременно делается жертвой таких элементов, если не ограждает себя от них. Это в некоторой степени,— прибавил Ленин, засмеявшись,— и неизбежный результат и даже признак победы».

«Значит, резюмируем так,— сказал я,— все более или менее добропорядочное в старом искусстве — охранять.

Искусство не музейное, а действенное — театр, литература, музыка — должны подвергаться некоторому не грубому воздействию в сторону скорейшей эволюции навстречу новым потребностям. К новым явлениям относиться с разбором. Захватничеством заниматься им не давать. Давать им возможность завоевывать себе все более видное место реальными художественными заслугами. В этом отношении елико возможно помогать им».

На это Ленин сказал: «Я думаю, что это довольно точная формула. Постарайтесь ее втолковать нашей публике, да и вообще публике в ваших публичных выступлениях и статьях».

«Могу я при этом сослаться на вас?» — спросил я.

«Зачем же? Я себя за специалиста в вопросах искусства не выдаю. Раз вы нарком — у вас у самого должно быть достаточное авторитета».

На этом наша беседа и кончилась...

А. В. Луначарский, К столетию Александринского театра. — В кн.: Константин Державин, Эпохи Александринской сцены, Ленинград, 1932, стр. IX—XI.

Штрихи

...Мне хочется здесь дать несколько штрихов, глубоко запавших в мою память или возникших в моем представлении позднее, когда приходилось думать над грандиозным явлением — Ленин. Может быть, и они послужат толчком для того или другого художника пера, резца или кисти, для того или другого молодого читателя, которому не довелось счастья дышать одним воздухом с Ильичем...

В самом организме его, как в смысле структуры, так и в смысле движения, не было ничего театрального, эффектного, разительного, выскакивающего из ряда, бросающегося в глаза. И как же вы хотите, чтобы в Ленине были такие черты? Ведь Ленин был не то что убежденным, но органическим, стихийным, демократом. Он сознательно считал до такой степени безвкусным, конфузным, нелепым всякое навязывание своей личности путем внеш-

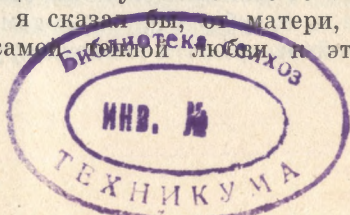
него эффекта, чем-то таким смехотворным, мелочным и бесконечно далеким от себя, что, конечно, вся его наружность, равным образом его одежда и его манеры прежде всего были рассчитаны на эту естественную незаметность. Ведь это же все неважно, ведь об этом всем он не думает, ведь это все никак в его сознании не отражается. Отсюда беспредельная простота наружности Ленина.

Однако когда в первые дни моего знакомства с ним я случайно завел его к моему знакомому скульптору Аронсону, создавшему потом самый лучший его посмертный бюст, то Аронсон, вовсе не зная, что вообще существует Ленин, и не зная, что именно перед ним Владимир Ильич, восхитился его головой и стал просить его позволить слепить хотя бы медаль, заявляя, что такой красоты черепа, в особенности лба, он не видел нигде, кроме как на лучших бюстах Сократа...

Особенно прекрасным было его лицо, когда он был серьезен, несколько взволнован, пожалуй, чуточку рассержен. Вот тогда под его крутым лбом глаза начинали сверкать необыкновенным умом, напряженной мыслью. А что может быть прекраснее глаз, говорящих об интенсивной работе мысли! И вместе с тем все лицо его приобретало характер необыкновенной мощи.

Необычайно увлекателен с чисто эстетической точки зрения был Ильич, когда он смеялся и в особенности когда он улыбался... В смехе Ильича было много беззаветно детского, а беззаветность смеха — это его победоносность, это показывает наличие и в натуре и в сознании привычки чувствовать себя силою...

Улыбка Ильича вовсе не была такой беззаветной; она, наоборот, была чрезвычайно тонкой, довольно сильно иронической, лукавой. Кто не помнит этой очаровательной улыбки Ильича? Когда он слушал вас с этой улыбкой, вы понимали, что он лучше, глубже, шире знает то, что вы ему говорите, что он уже сделал выводы... Но вместе с тем это была улыбка человека, который готов протянуть дружески руку помощи, — когда вы подойдете ближе, посмеяться над вашей ошибкой, но посмеяться мягко, по-товарищески. Тут было что-то такое от старшего брата, почти, я сказал бы, от матери, что всегда вызывало взрыв самой горячей любви к этому



человеку с морщинками возле насмешливых глаз и с полными доброго смеха глазами...

Из вышесказанного уже следует, что романтических движений у Владимира Ильича не было. Но так как действительность иногда ставила его на гигантскую высоту, сосредоточенную в одном каком-нибудь моменте, то подчас получалось невольно для него монументальная поза. Две из них запечатлены: поза с протянутой вперед рукой — настоящая поза трибуна; другая — это когда Владимир Ильич, вынужденный говорить очень громко перед большой толпой, схватился мощно двумя руками за кафедру, весь нагнулся в одну сторону...

Обе эти позы взяты из действительности, но они все же относятся более к легенде. Это не обычный Ильич, какого мы знали, это Ильич, которого мгновением истории выхватила на сверхчеловеческую высоту, Ильич, непосредственно выполняющий функции вождя перед лицом громадной толпы.

Все незначительные движения Владимира Ильича были запечатлены печатью необычайной простоты, но это не мешало им быть прекрасными. Прежде всего, лицо его было бесконечно подвижно. Мне приходится покаяться в тяжелом грехе. Когда сидишь в Совнаркоме, надо, конечно, заниматься только государственными делами, а не лицом любимого человека; но я в этом отношении грешил, и иногда мне доставляло бесконечное удовольствие, немножко пропуская мимо ушей дело о каких-нибудь рыбных промыслах или ссоре двух губерний по поводу лесов, наслаждаться музыкой выражения лица Ильича. Чрезвычайно редко наступали минуты, когда лицо это оставалось без движения. Все время ирония или ироническое удивление, или подлинное удивление, или насупленные брови, или покачивание головой, или жест отрицания, или выражение особого внимания, или, наоборот, гримаса, со всей яркостью говорящая: «Какие пустяки»...

Всеми иными движениями были у Ильича, когда он говорил.

В моменты, когда мысль совершенно охватывала его и когда он хотел своею мыслью охватить аудиторию, лицо его сильно менялось, особенно глаза. Они уходили куда-то вглубь, и вместе с тем в них проявлялось что-то настойчивое, почти гипнотизирующее, сверкающее. Я час-

то внимательно наблюдал этот взгляд Ильича-оратора. Он чрезвычайно сильно действовал на аудиторию, действительно околдовывал ее, как бы привинчивал к смыслу речи. Но я убедился, всматриваясь, что это не есть тот пронизывающий взгляд, которым искусный оратор ловит выражение лиц своей аудитории, чтобы всегда отдавать себе точный отчет, захвачена она или нет и как она реагирует; и это несколько не искусственно гипнотизирующий взгляд, ни в малой мере не какое-то факирство над публикой; этот взгляд получался у Владимира Ильича невольно. Просто работа его мысли становилась до такой степени кипучей и интенсивной, что она, вероятно, и видна была большой аудитории...

Даже когда пишешь штрихи об Ильиче, то вдруг оказывается, что твой запас почти исчерпан. У меня есть еще немало мыслей и наблюдений относительно некоторых общих психологических и, так сказать, морально-политических сторон личности Ильича. В общих чертах я об этом как-то писал, но надо написать об этом глубже и в большем количестве «штрихов». Но сейчас оставляю эту задачу в стороне и ограничусь теми несколько внешними наблюдениями, которые я сейчас передал. Надеюсь, что читатель поймет, что хотя они внешни, но от внешнего идут внутрь.

Недавно В. Д. Бонч-Бруевич сказал мне, что непосредственно после своего опасного ранения, в дни выздоровления, Владимир Ильич вызвал его и еще нескольких лиц и сказал им приблизительно следующее:

— С большим неудовольствием замечаю, что мою личность начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю.

Я думаю, что Ленин, который терпеть не мог культа личности, всячески его отрицал, в последующие годы понял и простил нас. Тут уж ничего не поделаешь, — мы всей огромной массой любили его горячо, не только чтили его, а именно были влюблены в его моральный облик, и не только в его великий ум вождя, — все вместе сливалось в обаятельный и гигантский образ.

И теперь, когда его уже нет среди нас, мы чувствуем, каждый в своем сердце, никогда не прекращающийся источник горячей любви и благодарности к этому человеку. Нам нечего этого стыдиться. Нам нечего стыдиться передавать эту любовь будущим поколениям, потому что Ленин был явлением естественным при всей почти сверхъестественности самых размеров своих дарований и своей судьбы. Он был порождением великого революционного движения, великого класса в великом народе. Потрясение нашего народа в борьбе с самодержавием, напряженные усилия пролетариата, как вождя этого революционного движения, устремившиеся потом к непосредственной цели политической свободы, были колоссальным явлением, небывалым в истории.

При этом они захватывали многомиллионный народ. Подбор в революционные партии шел исключительно богатый. Романтики без силы объективной мысли отсеивались в ряды эсеров. Теоретики-марксисты без силы воли, без революционного движения отходили в мелкобуржуазный меньшевизм. В рядах большевиков оставались те, которые соединили уважение к совершенно точной и трезвой мысли с очень сильной волей, кипучей энергией. Эта партия, нелегальная в течение десятилетий, требовала необыкновенной закалки.

...Партия и сама история пробовали людей и отбрасывали малопригодных. Оставались те, которые были проверены суровой жизнью. Так создавалась наша великая партийная пирамида. И как же мог на вершине ее не оказаться один из величайших вождей, каких видело когда-нибудь человечество?

«Известия», 1960, № 37, 14 февраля.



Ульянов-Ленин

Было это в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Самаре¹.

Старая Самара, ныне Куйбышев, была тогда типично провинциальным городом, славившимся грязью и пылью.

В то же время это был как бы пересыльный пункт для высылаемых из столиц «политических», вносивших единственное оживление в умственную жизнь скучного, сонного города.

Это оживление было особенно заметным, когда в столичных университетах ввели новый, жесткий устав, уничтожавший остатки вольностей для учащейся молодежи. Самара наводнилась высланными по случаю студенческих «беспорядков».

¹ Автор допускает неточность. Первая его встреча с В. И. Лениным могла состояться в Самаре в 1891 г. перед отъездом Ленина в Петербург для сдачи экстерном экзаменов за юридический факультет при Петербургском университете.— *Ред.*

Незадолго до этого произошло неудачное покушение на жизнь царя Александра III.

На нелегальных, но многолюдных вечеринках революционной молодежи выступали иногда крупные люди того времени, посидевшие в «Крестах», отбывшие почетную ссылку или бежавшие из ссылки. Многих через Самару высылали дальше — в Сибирь.

К весне 1887 года весь этот шум, внесенный политическими, куда-то схлынул. Почти все приезжие «уехали».

Я был тогда очень юным человеком, только что окончившимся в эту кипучую жизнь и вдруг оставшимся «без среды».

На таком же положении оказался и друг моего детства, мой одноклассник, крестьянин моей родной деревни Бестужевки, — Марк Елизаров, получивший образование в Петербургском университете и «вышибленный» оттуда во время беспорядков.

Мы ежедневно виделись. Марку было двадцать пять, мне — восемнадцать лет. Нас связывали деревенское детство в нашей Бестужевке, среди красивой природы, на берегу Волги, стремление обоих к образованию и революционное настроение.

Однажды под вечер теплого майского дня я зашел к Елизарову. У него оказался гость — юноша моего возраста, крепкий среднего роста, с большим лбом и длинными до плеч, густыми, светло-каштановыми, вьющимися волосами, закинутыми назад. Веснушчатое, с первым золотистым пушком на подбородке, лицо его, с веселой усмешкой на пухлых, но крепко сжатых губах, еще носило следы юношеской мягкости. В небольших голубоватых глазах светился быстрый и острый ум. Говорил он усмехаясь, негромким, слегка грассирующим голосом.

— Ульянов! — отрекомендовался он, крепко сжимая мне руку.

О семье Ульяновых, с которой Елизаров познакомился в Петербурге, я много слышал от него и прежде. По его словам, все они были способные люди. Старший брат, Александр, был казнен за участие в покушении на жизнь царя, после чего вся семья очутилась под надзором полиции. Передо мной был младший Ульянов — Владимир. Он ехал в Казань с целью поступить в Казанский университет.

Начался обычный разговор учащейся молодежи того времени: о том, как и где сдать экзамены «вышибленному» человеку и как, наконец, при всей любви к науке, может она в таких скитаниях осточертеть.

— Прежде я был не в ладах с математикой! — посмеиваясь и запуская руки в карманы брюк, говорил Ульянов.— Рассуждал так: если назначен урок по математике — значит, я свободен! Хе-хе! Но теперь, когда вник, люблю ее! Но все-таки, если мыкаться из города в город с мешком толстых учебников, то, кажется, так бы и спихнул их в Волгу!

— Ну, при твоей-то башке, с такой памятью,— возразил Марк,— как не сдать?!

— Сдам, конечно! Да вся эта казенная учеба давно в зубах навязла! Надоела! Меня теперь совсем не это занимает!

Внезапно загоревшись, расхаживая по комнате большими шагами, юноша заговорил об истории революционного движения в России.

Он не говорил звонких слов,— говорил просто, понятно, поэтому сразу захватывал убедительностью своих суждений. Видно было, что этот почти еще мальчик хорошо, основательно знает тот предмет, о котором говорит. Центральной областью его интересов и познаний как тогда, так и во всю последующую жизнь была революция.

Елизаров на первых порах пытался было вставлять в его речь краткие реплики, но вскоре умолк: Ульянов сыпал датами, цитатами, цифрами, историческими подробностями, иногда отвлекаясь далеко в сторону от своей основной мысли и как бы теряя связь с ней, но потом оказывалось, что он нисколько не забывал о ней, подтверждал ее, развивая сложное и строго построенное мировоззрение. Спорить с ним не приходило в голову ни мне, ни Елизарову: под конец его обширной, содержательной речи мы оба должны были только слушать, а юный ученый, по-видимому, чувствовал себя в любимой стихии. Ульянов, засунув руки в карманы и потряхивая длинными золотистыми кудрями, большими шагами как бы вымерял комнату и говорил с увлечением математика, доказывающего совершенно ясную для него теорему. В эти минуты юноша словно вырос перед нами, казался много старше своих лет. Было ясно, что даже по своей

теоретической вооруженности Владимир Ульянов представляет незаурядное явление.

Иногда он останавливался около окна и, оборотясь к нам, продолжал говорить.

Заходящее весеннее солнце косыми лучами освещало его оживленное, сделавшееся чрезвычайно интересным лицо. Небольшие, искрящиеся лукавым торжеством глаза светились в это время голубым, сияющим светом.

Таким на всю жизнь остался в памяти моей юношеский образ Ульянова-Ленина при первой моей встрече с ним в 1887 году.

На другой день он уехал и, конечно, сдал экзамены в Казани. Вскоре Елизаров женился на Анне Ильиничне, старшей сестре Владимира Ильича.

В 1893 году я уехал из Самары. В это же время, исключенный из Казанского университета¹, Ленин уехал в Петербург. Марк с женой переселился туда же, поступив снова в студенты, несмотря на свой более чем тридцатилетний возраст.

Мы расстались на многие годы, встретившись уже возмужавшими людьми в обстановке надвигавшейся революции 1905 года.

В 1903 году, будучи уже профессиональным писателем, я в первый раз в жизни поехал за границу посмотреть европейские страны и кстати побывать в гостях у зарубежной революционной эмиграции, среди которой выделялось имя Владимира Ильича Ленина, уже известное тогда всей России.

На летние месяцы попал в Женеву, остановился в гостинице и тотчас же вышел пройтись по городу; но едва вышел, как столкнулся со знакомым московским студентом — партийцем. Он окликнул меня:

— Давно ли на сей земле?

— Только что. Еще и города не видал!

— Пойдемте сейчас на эмигрантское собрание, вот в этом доме, здесь же, на площади. Я думал, что и вы туда идете! Вероятно, знакомых своих, вроде меня, многих встретите. Жаль, немножко запоздали!

¹ Ленин был исключен из Казанского университета в декабре 1887 г.— *Ред.*

Мы вошли во второй этаж, в довольно большой зал собрания, наполненный русскими эмигрантами. Оказалось, собрание кончилось, публика расходилась.

Мы спустились по лестнице обратно, невольно оставившись у подъезда.

— Знаете что? — сказал мой спутник в раздумье. — Давайте завернем сейчас к Ленину! Наверное, он дома теперь!

— Пожалуй! Мы встречались с ним когда-то давно, в юные годы!

— Да, он говорил мне! Ленин помнит вас, и ему, конечно, будет приятно повидаться с вами! Ведь ваше «Знание» гремит теперь!

Через несколько минут ходьбы мы нашли квартиру Ленина: это был отдельный маленький флигелек или, скорее, избушка, во дворе большого дома, в саду. Обстановка жизни Ленина в Женеве выглядела аскетически: через прихожую мы вошли в небольшую комнату, которая казалась голой от скудной мебели; вместо письменного — простой, некрашенный стол, несколько венских стульев и этажерка с книгами.

В момент нашего прихода сам хозяин быстро шагал по своей комнате, по-видимому о чем-то думая.

Я сразу узнал Ленина, хотя за пятнадцать лет после нашей встречи наружность его значительно изменилась. В это время ему было тридцать два — тридцать три года. Но вместо прежних золотистых кудрей — на макушке светилась небольшая лысинка, поредевшие волосы коротко острижены, отросла маленькая бородка. По-прежнему крепко сложенный, казался он худее, сутуловатее и одет был неважно: потертый коричневый пиджак, надетый на косоворотку, коротковатые брюки.

Увидев меня, он не особенно удивился, словно давно поджидал писателей из России.

На первых порах отдали дань воспоминаниям.

— Отлично помню нашу с вами встречу у Елизарова! Вы и тогда, кажется, неплохие стихи пописывали! Марк показывал. Он чудак: почти сорока лет опять в студенты поступил, в технологический, но, конечно, от политики не мог отстать, — влопался, в тюрьму попал, выслали! Пропало инженерство!

Он стал с интересом расспрашивать меня о России, о литературе и литературных наших делах.

Мне удивительно было видеть огромную мощь духа, заключенную в человеке маленького роста с огромным лысеющим лбом, непрестанно работающим над тем, чтобы из-под семи замков могли вырваться скованные силы революции.

Во время революции 1905 года Ленин появился в Петербурге и начал руководить газетой большевистского направления «Новая жизнь». Статьи Ленина поражали рядового читателя новым, широким масштабом.

Я жил в то время в Петербурге.

Когда появился царский «манифест» с подозрительными «свободами», ко мне в то же утро прибежал мой приятель, сотрудничавший в газете большевиков «Новая жизнь».

— Можно в вашей квартире сделать экстренное собрание? — запыхавшись, спросил он меня.

— Можно! А что это за собрание?

— Наша газета только что закрыта¹, явилась полиция. Нужно немедленно обсудить положение!

— Хорошо! Собирайтесь!

Через полчаса моя квартира стала наполняться сотрудниками закрытой газеты, руководимой Лениным. Собралось человек сорок. После всех приехали вместе Ленин и Горький.

Ленин выглядел почти весело в противоположность всем: о закрытии газеты говорил с той же спокойной усмешкой, с какой говорил прежде о «пропавшем инженерстве» Елизарова.

Я предоставил собранию самую большую комнату в квартире — мой кабинет, и они, не садясь и не раздеваясь, тотчас же начали дебаты.

Говорили спешно, возбужденно. Ленин все время молчал, руки у него были засунуты в карманы.

¹ Ошибка памяти автора: газета «Новая жизнь» начала выходить после манифеста 17 октября, с 27 октября (9 ноября) и была закрыта 3(16) декабря 1905 г.— *Ред.*

Я ушел в другую комнату.

Через час все разбежались с такой же быстротой, с какой собрались.

После всех остался у меня посидеть Горький.

— Вы сами-то как думаете: чего теперь можно ждать?

— Вероятно, реакции!

— Да! — со вздохом подтвердил он, уходя. — Идет реакция!

Ленин после этого собрания исчез из Петербурга.

*«О Ленине», т. 1, Гослитиздат,
М. 1939, стр. 170—176.*

О Ленине

...**В** один из свободных вечеров мы с Валентином пробрались на многолюдное собрание, кажется, в зале Вольно-экономического общества. По-обычному выступали ораторы. После одной речи в зале произошла суматоха, на кафедру уверенно и быстро взошел плотный человек среднего роста в коротком пиджаке. Он пригладил обеими руками лысеющую куполообразную голову, провел повелительно по усам, окинул собрание маленькими, необычайно острыми и живыми глазами с веселой смешинкой. Это был Ленин. Он говорил о земельном вопросе¹. Ничего неожиданного, нового, поражающего в его речи не было. Он, видимо, старался популярно изложить аграрную программу социал-демократов, но в его словах, в манере говорить заключалась стремительная уверенность,

¹ В. И. Ленин выступил в помещении Вольно-экономического общества на собрании партийных работников Петербурга 16(29) ноября 1905 г. с докладом на тему: «Критика аграрной программы партии социалистов-революционеров». — *Ред.*

властный напор на слушателей и сосредоточенная деловитость. Он почти не стоял на месте. Он подходил к барьеру, наклонялся вперед, засовывал пальцы за жилет, быстрым движением откидывался назад, отступал, вновь приближался, он почти бегал на пространстве двух-трех шагов. Он картавил, его голос шел из нутра, исподу, верней — он говорил всем своим существом, каждым взглядом. Тогда-то впервые и на всю жизнь я почувствовал, что перед нами главный вожак революции, ее ум, сердце и воля. В тяжелые годы упадка, скитаний, предательств и измен, горьких сомнений и одиночества, усталости и затравленности он всегда был со мной, предо мной. Да, плохо, нехорошо, не под силу, но есть Ленин. А что сказал бы на это Ленин? Нет, Ленину это не пришлось бы по вкусу, он осудил бы. Неудача, но с нами Ленин. Я проверял им свои мысли, чувства, свои недоумения. Никто из людей в моей жизни так много не значил, ни о ком я так часто не вспоминал, как о нем, об этом человеке с песочным лицом, с татарским разрезом глаз — один из них он хитро и насмешливо щурил.

В зале было тихо. Ленин убеждал и приказывал. Он защищал и нападал. Казалось, он бросал в толпу горячие, круглые камни. Почему-то слова его окрашивались жарким красным цветом. Он умел убеждать, как адвокат, еще больше он убеждал, подчиняя слушателей своему хотению и тем, что он не сомневался.

Ленину не удалось кончить речи. Присутствовавший на собрании пристав заявил, что он лишает слова оратора и закрывает собрание. Ленин шутливо заметил: «По случаю свободы собраний собрание закрывается». Пристав с городовыми стал пробираться к трибуне. Его оттирали. Ленин поспешно покинул трибуну, скрылся, сопровождаемый и охраняемый группой доверенных товарищей. Зал гремел в овациях.

В. И. Ленин и М. Горький

..**К**огда перед III съездом партии я перед отъездом в Лондон, куда направились другие делегаты, заехал на несколько дней в Женеву, Владимир Ильич жадно расспрашивал меня о России. Ему, уставшему от меньшевистского заграничного «засилья», от той эмигрантской склоки, которая царила в русской женевской колонии, хотелось от человека, только что приехавшего из России, от своего человека, слышать о том, что там происходит. В наших деловых беседах — со мной и А. А. Богдановым, который в эти дни также был в Женеве, — Владимир Ильич ожил, повеселел. «Повоюем, черт возьми, повоюем!» — возбужденно и весело повторял он, слушая наши сообщения о положении дел в России.

Деловые разговоры завершались часами отдыха, дружеской шутиливой беседой...

Проходили наши беседы по вечерам и за кружкой пива, в одной из женевских пивных, в которой не бывали члены русской колонии. Владимира Ильича интересовали не только внутрипартийные организационные отношения

на местах, перипетии борьбы большевиков с меньшевиками, не только сообщения о жизни нижегородско-сормовской и других организаций, которые были мне более близко знакомы. Он, видимо, отдыхал, слушая мои повествования о нарастании революции, о революционном настроении в городах, об условиях подпольной работы, о «явочной» реализации свободы собраний, свободы слова в заводских и фабричных районах. Он расспрашивал о мелочах бытового порядка — изменениях в бытовом укладе рабочих, интеллигенции. Его волновали рассказы о рабочих-комитетчиках: ему нужны были фамилии, портреты, описание манеры их речи, способа мышления, отношения к интеллигентам-комитетчикам и пропагандистам. Мои деревенские впечатления, сообщения о пропагандистской и агитационной работе сормовичей по деревням его особенно радовали.

— Это очень важно и это очень хорошо, что рабочие идут в деревню для агитации. А с эсерами справляются? — с некоторой тревогой спрашивал он. И удовлетворенно кивал головой, когда я рассказывал о победах и одолениях, одерживаемых рабочими над эсеровскими гастролерами.

Ленина, умученного бледной, тоскливой лексикой жевневских дискуссий, на которых успешно подвизались перед интеллигентской аудиторией меньшевистские златоусты, волновал даже язык моих сообщений. Он нередко улыбался, услышав не совсем обычное выражение в характеристике того или иного меньшевистского деятеля, хранителя комитетской печати, или неожиданное, по словесной формулировке, описание наших местных фракционных состязаний. Ильич неоднократно принимался хохотать во время рассказа о моем посещении, под охраной нескольких бравых большевиков, важного меньшевистского собрания в Женеве, на котором Мартов должен был делать доклад о предстоящем партийном съезде.

Меня поразила торжественность поцелуйного обряда, который пред лицом всей благоговейной аудитории публично совершали П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Мартынов, Мартов. «Весь иконостас, всех святых подняли против безбожных большевиков», — недоумевал я по поводу этой церемонии. Особенно позабавило его описание

той тревоги, которую вызвала в почтенном собрании моя скромная особа.

При виде моей обширной тогда бороды, моих решительных спутников, в президиуме зашептали, зашущукали. Мартынов, жалостно потирая вспотевшую лысину, от чего-то упорно отнекивался, но неумолимый Дан, пламенный Мартов что-то убедительно ему втолковывали, осторожно кося глазами в наш зараженный угол. Бедный Мартынов с явной неохотой подчинился, и аудитории в довольно невразумительных выражениях было сообщено, что доклада о партийном съезде не будет, но что тов. Мартынов прочтет доклад по аграрному вопросу. Аудитория встретила сообщение без малейшего признака восторга, на многих лицах промелькнуло даже выражение мучительной тоски, раздалось кое-где робкое шиканье, слышались вопросы: как? почему? Мартынов?.. Но шустрые девицы пробежали по рядам и быстро успокоили бунтовщиков, не желавших учиться аграрной мудрости у Мартынова. Мартынов долго и мучительно мыслил вслух, не сводя концов с концами своей пуганой речи. А огорченные слушатели злобно смотрели в нашу сторону.

— Это они вас, нового человека, испугались! — разъяснил мое комическое недоумение Ильич. — Приехал, видимо, из России новый человек, явный большевик, никому неведомый. Ну, смутить может нетвердых, вот и принесли в жертву Мартынова...

— Откуда у вас такой язык? — допрашивал Ильич, когда я рассказывал ему о своем огорчении по поводу неудавшегося покушения на деньги толсторожего фламандского торговца скотом.

В вагоне, уже в Швейцарии, я нашел в уборной бумажник этого купца и отдал ему. После этого завязался общий разговор в нашем купе. Швейцарские мещане расспрашивали о России, о русском царе, о войне. И вот я надумал обратиться к лошадаятнику с просьбой помочь делу русской революции, хотя бы в награду за мою услугу. Но пока я в уме сочинял на немецком языке нужные мне фразы, фламандец исчез, сойдя на небольшой станции. Владимир Ильич весело разъяснил мне глубину моей наивности, всю безнадежность моего, к счастью, несостоявшегося покушения на кошелек честного европейского буржуа.

Мне и до сих пор приятно вспомнить, что я доставил своей бесхитростной речью вчерашнего бурсака, выросшего в деревне и напитавшегося воздухом рабочего Сормова, кратковременный отдых Владимиру Ильичу, задышавшемуся в ту пору в обстановке эмиграции.

Одним из первых вопросов Ильича был вопрос о Горьком: «Что делает? Какое отношение к партии? Участвует ли в литературной деятельности местных организаций?» Говорил, что нужно беречь его, не расходовать на частные, мелкие местные дела, что не нужно, в частности, привлекать к писанию прокламаций, так как стиль Горького, стиль большого художника, обратит на него подозрение любого грамотного жандарма. Если уж привлекать к работе по литературной линии, то только, говорил Владимир Ильич, для документов общепартийного характера.

— Это очень, очень хорошо, — неоднократно повторял Ильич, — что Горький с нами. Горький — настоящий революционный писатель, у него громадный талант, он не ноет, не любит интеллигентской слякоти, и это хорошо.

Рассказывал ему я о внимании Горького к членам организации, к их нуждам, о том глубочайшем интересе, который проявляет писатель к росту сознания рабочих, к их культурным запросам, к сдвигам в быту. Ильич морщился, когда я упоминал, что Горький иногда увлекается «героизмом» бомбометателей социалистов-революционеров, умеющих красочно повествовать о своей приключенческой подпольной жизни и деятельности.

— Ну, это художник в нем говорит. И это не страшно, — правда? Нужно, чтобы он поближе узнал рабочих. В нашей повседневной борьбе больше подлинного героизма, чем в шумихе эсеров. Вы понимаете, как это важно, — настойчиво разъяснял Владимир Ильич, — к нам, к делу революции, к рабочему классу идет, пришел большой художник. И нельзя к нему относиться, как к любому члену организации, — неоднократно подчеркивал он. Ленин одобрительно кивал головой, — «вот, вот!» — когда я передавал ему воспоминания Алексея Максимовича о народнических попытках его политического и культурного воспитания, оставивших в сознании Горького тяжелый осадок.

Характерно, что вопрос о денежных отношениях, связанных с именем Горького, интересовал Ленина в меньшей степени. Ильич внимательно слушал мой рассказ о встречах и беседах Горького с Саввой Морозовым, Бугровым, Сироткиным, о том, как он умело и успешно извлекал из них деньги на «студентов», на «конституцию». Одобрил мое поведение в деловых встречах с Морозовым, Сироткиным, удовлетворенно встретил сообщение, что Никитич (Л. Б. Красин) в курсе всех этих «связей», что меньшевики не имеют к ним никаких отношений.

— А напишет Горький об этих своих «друзьях»? — спрашивал Ленин.— Ну, конечно,— сам отвечал он,— напишет, и напишет хорошо...

Первая встреча Горького с Лениным состоялась в конце ноября 1905 года (по старому стилю), вскоре после приезда Владимира Ильича в Россию, накануне дней Московского декабрьского восстания.

В самом конце ноября, а по любезно сообщенной мне автором записи в дневнике К. П. Пятницкого¹, единственного, кроме меня, оставшегося в живых свидетеля этой встречи, 27 ноября, мы с Алексеем Максимовичем явились на общую петербургскую квартиру Горького и Пятницкого (на Знаменской улице).

Горький только что оправился от болезни; я останавливался у него проездом из Нижнего в Питер, и выехали мы из Москвы вместе. Горький был весь пропитан московскими впечатлениями, настроениями кануна декабрьских дней. Горький собирал деньги на оружие, оружие волокли в его квартиру и уносили из нее; одна из студенческих боевых дружин, кавказская, в целях «охраны» писателя, дневала и ночевала в его квартире, пугая своей веселой «учебной» стрельбой благонамеренных буржуазных соседей Горького.

По приезде в Питер я встретился с товарищами в редакции «Новой жизни», где царил в те дни П. П. Румянцев и где стоял вечный шум и гам. Толклась всякая

¹ В настоящее время и его уже нет в живых; К. П. Пятницкий умер, к сожалению, не оставив подробных записок о всем им виденном и слышанном. (Прим. автора.)

газетная публика, тут же сновали питерские товарищи по делам местной организации, сюда же являлись приезжие из провинции. Слышались радостные возгласы людей, встречавшихся ранее только в ссылке, в тюрьмах да при беглых свиданиях на явках и в конспиративных квартирах. Веселый угар революционной весны, неожиданной явочной «легализации» людей, их настоящих имен и отношений, делал невозможными деловые встречи и заседания в помещении редакции.

Говорили, что нужно устроить заседание ЦК, поговорить о делах редакции «Новой жизни». Возник вопрос — где? Организовавший собрание П. П. Румянцев предложил отдельный кабинет одного из ресторанов — не помню, Палкина или Доминика. «Ведь все равно обедать нужно», — убеждал Петр Петрович. Я и А. А. Богданов, присутствовавший при разговоре, удивились пределам «легализации», удивились и дорогому ресторану.

— Но там же и редакция «Начала»¹ заседает, — заверял нас Румянцев.

— Ну, это совсем не резон, — заметил я. — Вон у нас в Нижнем кадеты в партию членов вербуют и записывают у буфетной стойки клуба. Да и денег стоит ресторанное удовольствие.

Мы предложили устроить заседание на квартире у Горького: там оно и состоялось. Присутствовали Владимир Ильич, А. А. Богданов, Л. Б. Красин, П. П. Румянцев. Из нечленов ЦК были М. Горький и я, в то время кандидат в члены ЦК. За обедом и за чаем после заседания присутствовал и К. П. Пятницкий, заботливо организовавший кормежку гостей.

Горький много рассказывал о московских событиях и настроениях, о похоронах Баумана, о черной сотне, о вооружении рабочих и студентов, о настроении интеллигенции, картинно описывал уличные сцены. Владимир Ильич слушал с неослабным вниманием. Его особенно, как и всегда, интересовали те мелочи, конкретные детали, факты, слова, которые давали свежее, непосредственное впечатление действительности. Здесь впервые узнал он Горького как рассказчика и с первого же раза оценил

¹ «Н а ч а л о» — легальная меньшевистская газета, издававшаяся в конце 1905 г. в Питере. (Прим. автора.)

громадное значение его наблюдений и заключений о людях и событиях.

— Учиться у него нужно, как смотреть и слушать! — нередко говорил о Горьком Владимир Ильич и постоянно жаловался на бедность фактического содержания, на худосочие речей и корреспонденций многих партийцев, в общих фразах которых исчезало все своеобразие конкретного момента, данной ситуации.

Время, в которое происходило заседание, было тревожное, ответственное. Приближались решающие дни декабря. Владимир Ильич взвешивал каждый факт, каждое слово. Вопрос о вооруженном восстании, которому так много внимания было посвящено на III съезде, подготовкой к которому все лето и осень были заняты большевистские организации, из стадии обсуждения переходил в порядок завтрашнего дня. Мои сообщения о создании в Нижнем Новгороде гражданской милиции, о боевых сормовских дружинах, о вооруженном отпоре черной сотне, об учебной летней стрельбе сормовских рабочих в Дарьинской роще, о широкой агитации сормовичей по деревням, об охране ораторов на городских митингах воспринимались Владимиром Ильичем с полным одобрением. Алексей Максимович жил революцией, и его сообщения о Москве, о вооружении рабочих шли в том же направлении. И уезжали мы в Москву после заседания с отчетливым сознанием неизбежности дальнейшего хода событий и нашей работы в направлении к вооруженному восстанию.

Ставились на заседании вопросы литературного порядка, к которым прямое и непосредственное отношение имел Алексей Максимович. Прежде всего Владимиром Ильичем был резко поставлен вопрос о ликвидации поэта Минского как члена редакции «Новой жизни».

— «Новая жизнь» — партийный орган, и в нем не место, тем более в руководящем центре, людям, не имеющим к партии никакого отношения.

Владимир Ильич предлагал идти на всякие жертвы денежного порядка, вытекающие из договорных отношений возникновения газеты как органа легальной печати. «Теперь такое положение нетерпимо...» Горький с полным одобрением отнесся к предложению Ленина. Владимир Ильич с улыбкой предложил меня в исполнители решения.

— Вот Строев человек здесь новый, не связанный ни-

какими деликатными отношениями. Он завтра же и ликвидирует поэта. — На слове *деликатными* Владимир Ильич сделал особенное ударение, намекая, очевидно, на П. П. Румянцева, который слишком увлекся газетной сутолокой и вносил в жизнь редакции не совсем желательный тон.

Я уклонился от поручения ввиду необходимости отъезда в Москву, да и запутаться боялся в неясных для меня финансовых отношениях газеты. Выполнение ликвидации поручено было тогда П. П. Румянцеву: он и провел ее вполне успешно.

Другой вопрос того же порядка был об издании большевистской газеты в Москве. Ряд лиц из лекторской московской группы — М. Н. Покровский, И. И. Скворцов-Степанов, Н. А. Рожков и др. — решили издавать газету. Средства предложил московский книгоиздатель С. А. Скирмунт, причем предложил он их именно на большевистскую газету. Скирмунт настолько был уверен в победе революции, что, снимая помещение для редакции «Борьбы», заключил с домовладельцем контракт не более ни менее как на пять лет.

Инициаторы хотели, чтобы газета была подчинена непосредственно Центральному Комитету партии, а не местному, московскому. Насколько мне помнится, они не смогли договориться с Иннокентием (Дубровинским), который настаивал на необходимости издания популярной массовой агитационной газеты. Будущие же редакторы «Борьбы» мыслили свою газету как политический орган типа больших ежедневных газет. В их понимании «Борьба» — большая пропагандистская социал-демократическая газета — должна была вести борьбу с буржуазной прессой, должна была заместить демократическому читателю такую газету, как «Русские ведомости».

Представитель ЦК в Москве, В. Л. Шанцер, носивший в товарищеской среде кличку Марата, категорически заявил мне при моем отъезде в Питер, что он не желает иметь дело с «интеллигентами».

— Так и скажите Ильичу, — говорил он мне, — не буду я путаться с их газетой, да и некогда мне!..

Что ему было некогда, в этом отношении он был прав: работу Марат выполнял громадную. И его арест в первых числах декабря, накануне восстания, был большим ударом и для московской организации, и для партии в целом. Неприятие же «интеллигентов» вытекало, конечно, исклю-

чительно из «неистовости» Марата. Ведь в числе этих «интеллигентов» были такие лица, как Покровский, Степанов, Рожков — в те дни пылкий большевик. Но Марат был непоколебим в своем отрицательном отношении к будущей «интеллигентской» газете. И Горький подтвердил, что, если оставить московских товарищей на попечении Шанцера, из газеты ничего не выйдет.

— А газета в Москве, и именно такая, какую задумали товарищи, крайне нужна, — говорил Горький. — Надо бороться и за интеллигенцию, надо положить конец засилию московских либералов, этих непризнанных наследников Грановского. Покровский, Степанов и Рожков успешно бьют их на митингах; нужно, чтобы это полезное занятие они могли продолжать и в печати.

Возможно, что Шанцера напугали не столько будущие редакторы, партийцы из лекторской группы, сколько те буржуазные интеллигенты, которые, превратившись на короткое время в пламенных социал-демократов, готовы были принять участие в большой ежедневной газете. Припоминаю, что во время нашей беседы с Шанцером на московской квартире Горького к нам подошел поэт Бальмонт, объявивший тогда себя социал-демократом, и в упор спросил: «А можно ли будет мне писать в социал-демократической газете об испанском театре?» Я ответил ему, что именно как раз об испанском театре мы и ждем от него статей.

А Марат бушевал: «Вот и путайся с ними! На кой черт дался нам его испанский театр?!» Ильич смеялся, когда мы рассказывали о бунте Шанцера.

— Это на него похоже, — говорил Владимир Ильич. — И нужно считаться с его желаниями, да и трудно там ему одному.

На заседании было решено послать в Москву второго представителя ЦК, в частности и для вступления в редакцию «Борьбы» от имени и с полномочиями от ЦК партии. Таким представителем ЦК я и был послан в Москву, в то же время и в качестве члена редакции «Борьбы» с правом veto (запрета) по вопросам принципиального порядка. Владимир Ильич настаивал, чтобы Горький, член редакции, принял возможно более активное участие в новой газете.

Появление новой большевистской газеты совпало со днями Московского вооруженного восстания, выпущено

было всего девять номеров. А после разгрома восстания о возобновлении газеты не могло быть и речи. Выпускавшаяся группой сотрудников «Борьбы» уже в 1906 году товарищеская, «на паях», газета «Светоч» была только бледной копией «Борьбы».

Я не знаю, встречались ли Ленин и Горький в России после того ноябрьского заседания 1905 года, о котором я говорил выше. Думаю, что нет. В Москве не было Горького, когда приезжал туда в начале 1906 года Ленин. Не приходилось слышать и о том, чтобы виделись они в Финляндии, когда Владимир Ильич жил в Куоккале. Тесные дружеские отношения между Лениным и Горьким установились действительно только уже в дни перед V съездом и на самом съезде. Но для Владимира Ильича, начиная с 1905 года, Горький был вполне своим человеком, близким и дорогим партии. И во время «осадного положения», созданного для партии победой меньшевиков на IV, Стокгольмском съезде, для всех партийцев не подлежало сомнению, что М. Горький примыкает к партии как большевик.

Не помню от кого, — возможно и от меня, — шла инициатива приглашения М. Горького на съезд. Но со стороны Владимира Ильича эта мысль встретила самое горячее одобрение. В большевистском центре, продолжавшем свое существование и в промежуток между Объединительным и V съездом, решение о приглашении Горького на съезд было принято без всяких возражений. Проведено оно было и через ЦК партии, большинство в котором принадлежало меньшевикам; большевиков в его составе было только трое: Л. Б. Красин, А. А. Богданов и я; большевиком Ф. Э. Дзержинским была представлена Польская социал-демократическая партия, к большевикам в большинстве случаев примыкал и представитель Латышской социал-демократической партии. Едва ли кто-либо из меньшевиков, членов ЦК, возражал против приглашения писателя, крепко связавшего себя с пролетариатом и пользовавшегося громадной популярностью среди рабочих-партийцев, независимо от принадлежности их к той или другой фракции. Разумеется, меньшевикам было вполне ясно, что Горький на съезде будет гостем большевиков. Его большевистские симпатии и связи были хорошо

известны меньшевикам. Недаром Г. В. Плеханов на съезде в Лондоне попросил меня познакомить его с Горьким в следующей недвусмысленной форме: «Познакомьте же меня наконец с вашим Горьким», — причем слово *вашим* Георгием Валентиновичем было резко подчеркнуто.

Мне было предложено товарищами проехать на Капри где тогда жил Алексей Максимович, пригласить его на съезд и приехать с ним вместе в Копенгаген. Алексей Максимович так и решил — ехать немедленно, но он заболел, а мне необходимо было торопиться в Копенгаген к приему товарищей, уже выехавших из разных концов России на съезд.

Как известно, съезд состоялся не в Копенгагене, а в Лондоне. В Копенгаген съехали уже почти все делегаты. Приехал в Копенгаген и Владимир Ильич, приехал Плеханов. На другой день предполагалось открытие. Владимир Ильич договорился со мной идти вместе в музей.

— Только уйдем потихоньку, чтобы нас не заметили, — на ухо ставил он условие. — А в какой музей, это уже ваше дело...

Почему Владимир Ильич считал меня таким знатоком искусства Дании и ее музеев, для меня осталось тайной.

Но не удалось Ильичу посмотреть работы Торвальдсена. Представитель Датской социал-демократической партии Ганзен сообщил нам, что делегаты должны немедленно покинуть Данию, так как датское правительство не может разрешить съезд на территории королевства. Отказ от гостеприимства, которое заблаговременно было согласовано социал-демократией Дании с ее властями, последовал под давлением царского правительства. В случае неподчинения распоряжению о немедленном выезде из страны датское правительство, любезно разъяснил нам Ганзен, немедленно вышлет делегатов съезда на родину, в Россию. Когда мы указали, что у Дании нет общей с Россией сухопутной границы, нам напомнили, что мы забываем о Балтийском море. Решили перебраться в Лондон. Г. В. Плеханов настаивал на Париже, ссылаясь на свои парижские «связи». Но, очевидно, его телеграфные сношения с французскими буржуазными радикалами и социалистами, «друзьями» царской России, дали отрицательные результаты. И громадному по количеству участников съезду пришлось с значительными, не предвиденными ранее денежными издержками переехать в Лондон.

Вот тогда-то, между прочим, впервые русские социал-демократы путешествовали по Западной Европе, в «пломбированных вагонах», так как датское правительство потребовало, чтобы делегаты до того портового города, где должна была иметь место посадка на пароход, ехали в запертых вагонах, чтобы у них не было общения с местным населением.

Мы с Владимиром Ильичем, вдвоем, поехали в Берлин, хотя проезд делегатов через Германию датским правительством был категорически воспрещен, возможно, в результате соответственного дружеского сообщения из столицы Пруссии. М. Горький вместе с М. Ф. Андреевой к этому времени уже приехали в Берлин. Несколько дней, проведенных в Берлине, очень сблизили Горького и Ленина. Неоднократно встречались они по вечерам. Вместе были в Тиргартене, ходили по театрам.

В одном из театров — не помню в каком — попали мы на спектакль, в состав которого входили и балетные номера. Сидели мы в первых рядах партера. На громадной сцене выстроился целый батальон девиц, которые под музыку раскрывали цветные зонтики, тыкали ими в направлении зрительного зала и не очень стройно задирали ноги выше головы. Девиц было больше сотни, красотой особой они не отличались; их танец больше похож был на упражнение прусских новобранцев в гусиной шагистике, чем на служение высокому искусству. Владимир Ильич заметил:

— Казармой прусской пахнет: русские цари это дело куда лучше понимают, да и денег мужицких не жалеют... Дворянская монархия щедрее на искусство, чем буржуазная...

После спектакля мы поняли, почему несчастные балерины действовали на зрителей только своей численностью да головокружительным задиранием ног, а не мастерством. Едва ли не все «балерины» в костюмах показной и крикливой жалкой роскоши, выйдя из театра после своего номера, длинной цепью выстроились на тротуаре, робко прижимались к стене зданий и упорно ждали клиентов. Оказалось, что балерины были набраны на сдельную работу преимущественно из приказчиц магазинов Вертгейма. Здесь, на панели, они продавали себя, так как нищенское жалованье, получаемое ими в магазине, вместе с дополнительным заработком в театре не давало им

возможности прокормиться и прилично одеваться, как того требовали условия работы в магазине. Выступления жалких балерин на сцене за дешевую плату были для них прежде всего, да, пожалуй, и только, рекламой, ставившей их на какую-то бóльшую высоту по сравнению с уличными проститутками.

Помню также наше совместное свидание с Каутским в летнем саду при каком-то ресторане. Свидание организовала Роза Люксембург, которую мы с Владимиром Ильичем посетили предварительно. Свидание с Каутским Владимир Ильич считал необходимым и полезным, так как Каутский в это время проявил некоторую способность к правильному пониманию движущих сил русской революции. Владимир Ильич и пытался закрепить Каутского в его настроениях, ослабив тем позиции меньшевиков в западноевропейской социал-демократии.

Разговор шел через переводчицу. Владимир Ильич, хотя и свободно владел немецким языком, не считал нужным для себя отказаться от услуг переводчицы. Переводчица была М. Ф. Андреева; пыталась выступать в этой роли и Роза Люксембург, но у нее это совсем не выходило. Она не столько переводила, сколько комментировала сказанное кем-либо из собеседников и часто, вместо того чтобы точно передать смысл речи Каутского, она вступала с ним в оживленный шутливый спор. Своеобразное выполнение функций переводчика Розой Люксембург нередко вызывало дружный смех и вносило оживление в довольно сдержанное общество в первый раз встретившихся людей.

Владимир Ильич четко формулировал каждую свою мысль и внимательно следил за точностью перевода. Но Мария Федоровна, свободно владевшая рядом европейских языков, была великолепной переводчицей и затруднялась только тогда, когда собеседники употребляли те или иные специальные научные термины,— тогда ей дружно помогали.

Предполагалась новая встреча с Каутским, но она не состоялась, потому что и первая носила слишком «семейный» характер и по своим результатам не представляла для Владимира Ильича особой ценности. Каутский, похожий тогда по внешности, да и по манере речи, на русского интеллигента, либерального земца или профессора, внимательно присматривался к Ленину и, по существу,

уклонялся от серьезного разговора на политические темы. Он явился на свидание вместе с женой, и они больше обращали внимания на Горького и Марию Федоровну, на знаменитого писателя и талантливую артистку, чем на товарищей из родственной, но все же *не своей* социал-демократической партии.

Для выхолощенных бюрократов-чиновников из ЦК Германской социал-демократической партии русская революция была совсем далеким и прежде всего беспокойным делом. Для них на первом плане стоял подсчет голосов на выборах в рейхстаг да рост партийной кассы и фондов профессиональных союзов. От своих русских «товарищей» они прежде всего ожидали покушения на эти драгоценные фонды и всячески старались застраховаться от них. И при свиданиях с русскими товарищами они были корректны и лояльны до неприличия, до прусской грубости. Каутский был неизмеримо культурнее их. Но и Каутский в беседе с нами оставался прежде всего «европейцем». Роза Люксембург прекрасно понимала это. Она не щадила своего друга «Карла» и громко расхохоталась, когда Владимир Ильич выразил ей свое недоумение по поводу того, что Каутский при прощании обратил такое серьезное внимание на формы обмена визитами и на возможности повторения такой беседы. «Плохо еще вы знаете наших европейских товарищей», — поспешила она разъяснить нам свой неожиданный смех.

В Лондон мы ехали вместе, вчетвером в одном вагоне и на одном пароходе через Ла-Манш. Владимир Ильич не отрывался от окна, когда проезжали промышленные районы Германии. «Немецкому пролетариату нужна более революционная партия, чем нынешняя германская социал-демократия с ее Vorstand'ом (ЦК партии) чиновников», — говорил он, показывая на сплошные линии огней фабрик и заводов.

Берлинские встречи, общение в пути сильно сблизили Владимира Ильича и Алексея Максимовича. Обучили даже дорогой Владимира Ильича карточной игре в «тетку», за которой на Капри нередко отдыхал Горький. Эта игра — винт наизнанку, в которой нужно не набирать взятки, а, наоборот, брать их как можно меньше, — забавляла Владимира Ильича. Он весело потирал руки, шутил, награждая Алексея Максимовича и его партнера

взятками, ворчал при неудаче на своего партнера, а Алексей Максимович, относящийся весьма серьезно ко всякой игре, даже в подкидные дураки, с комической деловитостью отмалчивался.

В Лондоне М. Горький жил особняком от остальных участников съезда, в большой гостинице в центре города; остальные делегаты разместились на окраинах, поблизости от той церкви, в которой происходили заседания. Алексей Максимович хотел устроиться поближе к съезду, но Ленин настоял, чтобы Горький жил в хороших квартирных условиях. Мы втроем занимали в гостинице две смежные комнаты — одну большую, в которой жили Алексей Максимович и Мария Федоровна, и маленькую, мою, которая в то же время была и нашей столовой и приемной. Владимир Ильич проявлял большое внимание к устройству Горького, заботился о его здоровье. Прямо с вокзала он вместе с нами отправился искать помещение для Горького. Алексей Максимович рассказывает, что Владимир Ильич даже простыни его постели осматривал. И это верно, только делал это Владимир Ильич не однократно, а в ряде гостиниц, которые мы обошли. «Может быть, они сырое белье положили?» Его особенно поразило то, что в одной из окраинных гостиниц мы даже клопов в постели усмотрели. «Клопы? В культурнейшей Англии?» — недоумевал, и даже как бы с некоторым злорадством, Владимир Ильич.

В. И. Ленин неоднократно говорил мне: «Не нужно, чтобы Горький все время торчал на съезде. Устанет он, не выдержит нашей дискуссии!.. Пусть побольше в кулуарах побудет, с рабочими поближе познакомится. Ему полезно это. И воздух в зале скверный...»

А воздух в церкви иногда был действительно тяжелый. На одном из заседаний что-то случилось неладное с трубами газового освещения. Воздух был отравлен, два-три делегата — почему-то все меньшевики — даже потеряли сознание и были извлечены из зала. А заседание все же продолжалось. И Горький искренне недоумевал: «Дохнут, дьяволы, а спорят»...

М. Горький был исправнейшим посетителем почти всех длительных и утомительных заседаний съезда. Каждый день утром везла нас неуклюжая закрытая карета по улицам Лондона к окраинной церкви. Горькому, по состоянию его легких, тяжело было опускаться и

подниматься в люки подземки и ехать, особенно по тем ее участкам, где подземный туннель был забит удушающим угольным дымом паровиков: не на всех еще линиях применялась электрическая энергия. Первое время архаическая, диккенсовских времен, карета производила сильное впечатление на делегатов, особенно на меньшевиков, но потом к ней привыкли.

Часами Горький простаивал в церкви, прислонившись к колонне. Внимательно присматривался к необычной для него публике, своим пребыванием превратившей скромную церковку лондонского захолустья в историческое здание. Съезд был многолюдный. На нем был собран цвет интеллектуальных и организаторских сил революционного пролетариата России. Здесь была представлена вся страна, пролетариат многочисленных ее национальностей. Большевистская фракция по своему составу резко отличалась от меньшевистской: в громадном большинстве своем она была рабочей. Для Горького это было особенно убедительно и важно. Он видел, чувствовал, что рабочий класс России гигантски вырос, в свои руки взял дело своего освобождения, что ему не страшны неизбежные еще потери, тяжелые поражения. Вместе с товарищами по фракции он верил, что окончательная победа рабочего класса — только вопрос времени, видел, что под руководством железной большевистской когорты он решительно стал на тот путь, который приведет к конечной победе пролетариата во всем мире.

Рабочие, делегаты с Урала, из Иваново-Вознесенского района, с Кавказа, из Питера и Москвы, с юга России и из Сибири, давали Горькому как художнику богатейший материал для наблюдений. Во время перерывов, во время холодных завтраков и обедов в помещении съезда он завязал знакомства, превратившиеся потом в дружеские отношения. С рядом рабочих эти отношения закрепились и во время лекций по русской литературе, которые в воскресные дни Горький читал для желающих съездовцев в Гайд-парке.

На Горького и на Владимира Ильича сильное впечатление произвело мое сообщение, что в первую ночь по приезде в Лондон несколько делегатов, рабочие, отказались переночевать в тех помещениях, куда впопыхах пытались засунуть их бундовцы, взявшие на себя обязанность размещения товарищей. В частности, целую ночь

пробродили по улицам Лондона несколько человек из той группы делегатов, которым был отведен ночлег на конвейерных койках рабочего ночлежного дома, предоставленного к услугам съезда муниципальным управлением одного из округов Лондона. Я только что вернулся из этого ночлежного дома, куда меня вытребовали товарищи. Рабочих смутили пятнистые, грубые простыни на двухэтажных нарах, не смененные после ряда ночлежников, сложные, не особенно приятные запахи, грязь на полу, на длинных невымытых столах.

— А это здорово,— говорил, потирая руки, Владимир Ильич.— Выросли культурные потребности... Вот вам Европа,— встретили варваров товарищи англичане: привыкли русские к грязи, для них все хорошо...— Ему сочувственно вторил Горький.— А всех этих бродяг собрали, не растерялись они, шатаясь ночью по улицам незнакомого города?— вдруг забеспокоился Владимир Ильич...

В моей памяти — одна из первых после 1917 года встреча Горького с Лениным. Это было вскоре после покушения эсерки Каплан на жизнь Ленина. Владимир Ильич был оживлен, радостно потирая руки, улыбался Горькому, торопил его:

— Ну, ну! Рассказывайте, говорите, что вас огорчает...

Зашел посмотреть на «земляков» Яков Свердлов. Владимир Ильич спокойно рассказывал о покушении, с полным знанием дела излагал историю болезни, как прошла операция.

— На войне, как на войне! Еще не скоро она кончится...

Настойчиво угощал нас:

— Ешьте, сыр, хлеб свежий, мягкий. Вишни ешьте, только что куплены, вымыты...

Угощение было весьма скромное. Гостеприимный хозяин не знал, что у него не было чаю, и я потихоньку сходил в канцелярию, где у одной из служащих, старой моей приятельницы, нижегородки, добыл чаю на заварку для Председателя Совета Народных Комиссаров.

Горький сумрачно расспрашивал Владимира Ильича о здоровье, не отзовется ли на его работоспособности рана. Владимир Ильич осторожно, но свободно поднимал

вверх руку, вытягивал ее, сгибал и выпрямлял. Горький бережно ощупывал шею, мускулы руки. Владимир Ильич стоял прямо и строго смотрел на Алексея Максимо-вича. Казалось, что жесты Горького, жесты сомневающегося Фомы, говорили о чем-то большем, чем о простом желании убедиться в физической мощи друга. Горький как будто хотел еще и еще раз окончательно уверить себя в том, что именно в Ленине сконцентрирована сила и воля миллионов, что из него лучится яркий свет на завтрашний день и на весь доступный нашему зрению отрезок человеческой истории. И он убедился.

Когда — через годы и века — наши дети и далекие потомки будут любовно воссоздавать картину освобождения человечества, историки и художники, они, и особенно художники слова, красок, не один раз вспомнят одновременно и покажут Ленина и Горького вместе и рядом, великого вождя мирового пролетариата и организатора его первых побед в борьбе за социализм и пролетарского писателя, пролагающего пути к искусству бесклассового общества.

В. Десницкий, А. М. Горький, Гослитиздат, М. 1959, стр. 185—202, 216—217.

Первая встреча

Гениальность проста. Соединение простоты с гениальностью составляло — это признано всеми — основную черту в личности Ильича. На первый взгляд он не выделялся как будто ничем особенным, не поражал внешне. Но есть такие глубокие колодцы, в которых даже днем видны звезды. Таков был Ильич. От его наружности запечатлелись вспыхивающие синие огоньки в уголках глаз. Как будто изнутри в пламенном горне сердца рождались огни, из глубин высекались искры. Искры творческой работы. Мне как-то впоследствии пришлось видеть на картине изображение одного гениального музыканта в момент творчества. Художник пытался выразить мощь гения именно в огоньках глаз. И невольно пришли на память глаза Ильича.

Еще запечатлелась от прошлого напряженная стремительность фигуры Ильича во время некоторых речей, словно он собирал каждый свой мускул для удара. Таким хотят дать Ильича скульпторы в памятниках.

До встречи с Ильичем я уже много слышал о нем от его близких товарищей — Алексея Павловича Скляренко и Вадима Андреевича Ионова. Современная молодежь едва ли знает эти имена. Скляренко — старый большевик, талантливая, многосторонняя натура, ясный ум, чуткий товарищ, самый одаренный из группы самарцев, выдвинувших в свое время ряд известных в литературе имен. В тисках царизма громадное дарование Скляренко не могло развернуться. Искалеченный скитаниями по тюрьмам, ссылкам и этапам, он умер, далеко не дав того, что мог бы дать. Ионов — один из видных сотрудников первых марксистских журналов, умерший в 1902 году.

Скляренко много и с любовью рассказывал о самарском периоде жизни Ильича, о его замечательных организаторских способностях, о том влиянии, какое оказывал Ильич на всех своих молодых товарищей.

Ионов рисовал Ильича как одного из самых выдающихся ученых. Ильич тогда находился в ссылке в Сибири. Его имя еще не приобрело широкой известности, но в тесных революционных кружках, в редакции марксистского журнала «Жизнь» о нем уже говорили, его знали, и от него многого ожидали.

Потом в партийной работе с 1902 по 1905 год Ильич стал для меня и для многих из нас политическим руководителем.

Под влиянием его статей и книг: «Что делать?» и др. — складывалось миросозерцание всех, кто революционно работал среди пролетариата.

Впервые я встретился с Ильичем на общероссийской социал-демократической конференции в г. Таммерфорсе в ноябре 1906 года. Об этой конференции, кажется, не опубликовано, кроме резолюции, никаких материалов. Вот почему считаю необходимым остановиться подробнее и на описании самой конференции.

Таммерфорс — небольшой городок Финляндии. В те годы так называемая «свободная Финляндия» была наводнена шпионами и сыщиками царской охранки. Но Таммерфорс лежал в глубине лесов и озер, был удален от административных центров, и потому здесь после бурного 1905 года еще удавалось устраивать нелегальные съезды различных организаций.

Городок на европейский лад, маленький, живописный, с чистыми мощеными улицами, с красивыми постройками

в немецком или шведском вкусе, похожий на вырванный кусочек из столичного центра, но уж никак не на наши уездные грязные города с унылыми одноэтажными похилившимися домишками.

Собрания происходили с соблюдением строгих мер предосторожности. Помещение для конференции было хлопотано благодаря содействию гражданина Лео, редактора местной рабочей газеты. К нему же была дана приезжающим товарищам и явка.

В конференции участвовало тридцать два человека с решающим голосом, из них восемнадцать меньшевиков и четырнадцать большевиков, представителей областей Поволжья, Северного Кавказа, Донецкого бассейна, промышленного и других районов, а также Польши и Литвы. Я был представителем Поволжья.

Работали с утра до ночи. В промежутки между заседаниями устраивали фракционные совещания. Ильич намечал руководящую линию большевистской фракции, вносил резолюции, кажется, им же было написано и «особое мнение» большевиков по поводу принятого конференцией постановления о выборах в Государственную думу.

Главное расхождение между большевиками и меньшевиками было в вопросе о соглашении с либеральной буржуазией при выборах в Государственную думу. Признать соглашение с буржуазией — это значило изменить революционной тактике 1905 года, начать мирно-законодательскую работу в Думе, отказаться от руководящей роли рабочего класса, признать главенство буржуазии, отказаться от руководства крестьянским движением. На этот путь тащили меньшевики, выявляя этим уже тогда свое предательское лицо.

Наоборот, большевики, с Ильичем во главе, признавали полную непригодность Думы в осуществлении требований рабочих и крестьянства. Ильич говорил и писал: «Мы, социал-демократы, воспользуемся выборами, чтобы сказать крестьянской массе и всем друзьям крестьянства: крестьяне только тогда смогут добиться земли и воли, если они будут действовать не ходатайствами, а борьбой, если они будут верить не царю и не посулам либеральных буржуа, а верить в силу дружной борьбы рука об руку с рабочим классом».

Два дня продолжались прения по этому вопросу. Горячие бои шли также и по другим вопросам, например о

рабочем съезде, созывом которого меньшевики хотели растворить в беспартийной массе революционную подпольную партию, иначе говоря, уничтожить ее.

Для защиты своих позиций меньшевики выставили лучших ораторов, которые у них имелись: Абрамович, Мартов. Хорошим оратором считался Мартов. Его речь производила впечатление рассыпающейся ракеты, пересыпанной блестками остроумия.

Как резерв — уже по вопросу о «рабочем съезде» — выступил старый Аксельрод, производивший своей наружностью впечатление бурного льва.

Но холодно и неубеждающе звучали мастерские речи Абрамовича. Гасли, как мотыльки у костра, и бесследно пропадали где-то блески речей Мартова.

Бессильно бурлил пламенно-стремительный Аксельрод. И речь Ильича оставила во мне самое глубокое впечатление. В чем же секрет действия этой речи?

Вскоре я понял. Про Маркса было кем-то сказано, что он вбивает свои мысли в голову читателя двутесными гвоздями. Так же и Ильич. Он двутесными, не знаю, может быть, и трехтесными гвоздями вбивал в голову просто, последовательно, логично одно положение за другим. Ничего недосказанного, ничего неясного. До осязаемости четкая линия, зоркий орлиный взгляд не только в настоящее, но и в будущее, взгляд, подводящий итоги прошлого. А главное, Ильич в своей речи вскрыл и осветил то основное, что сразу давало осознать самое существо нашей работы. словно кто сверху сильным прожектором осветил путь. Руководящая роль пролетариата, союз с крестьянством в революционной борьбе — вот главное, а все остальное — это лучи, расходящиеся от центра.

Получалось такое ощущение, что в голове сразу стали причесаны все мысли. И сделались понятными все остальные второстепенные вопросы, из-за которых ломались копыя: почему нужна партия, а не широкий рабочий съезд, почему профсоюзы должны строиться около партии и т. д.

Эту особенность убеждающих речей Ильича я чувствовал и впоследствии не один раз на протяжении ряда лет.

Не только в речах, но даже в вопросах или в отдельных, как бы вскользь брошенных замечаниях Ильич учил

и заставлял помимо воли обращать внимание на то, что иначе ускользнуло бы из глаз. Сухие статистические цифры оживали, когда он спрашивал о чем-нибудь собеседника или говорил сам. Помню такой случай. Кажется, т. Сергеев докладывал на Таммерфорской конференции о росте организации в Луганске. Ильич, радостно принимавший это сообщение, особенно подчеркивал, что Луганск — район рабочих, что большевизм укрепляется именно среди рабочих, тогда как меньшевики имеют свою базу главным образом среди мелкобуржуазных элементов.

Во время одного из заседаний меньшевик Жордания рассказывал об успехе меньшевиков на Северном Кавказе. Горячий, экспансивный, как все кавказцы, Жордания увлекся и в пылу наговорил кое-чего лишнего. У них-де на Кавказе такое сильное стремление в партию, такая популярность меньшевиков, что отбою нет от желающих. «Даже буржуи вот такой толщины, — он показал руками, — в дверь не пролезут, а стараются пролезть в партию».

Ильич поймал пылкого кавказца на этих словах и остроумно язвил насчет меньшевистских широких дверей, куда охотно лезут буржуи. Большевизм на Кавказе силен потому, что там преобладает мелкая буржуазия.

Никто, как Ильич, не уделял столько времени работникам на местах. С чрезвычайным вниманием расспрашивал он нас, интересовался каждой мелочью не только из жизни организации, но и вообще из быта революционеров.

Помню, как во время Гельсингфорской конференции в 1907 году рассказы тов. Назара (Н. Н. Накарякова) о революционных днях на Урале приводили его прямо в восторг, и он несколько раз повторил, что хорошо бы побывать на Урале.

Особенно интересовался он революционным движением среди крестьянства, в частности в поволжских губерниях, откуда я приехал. Участию крестьянства в революционной борьбе Ильич придавал громаднейшее значение. В вопросе о крестьянстве большевики сильно расходились с меньшевиками. В таком крупном районе крестьянского движения, как Самарская губерния, работу среди крестьянства вели исключительно большевики.

В 1906 году в г. Самаре нами летом было устроено партийное поволжское совещание по аграрному вопросу,

а также совещание крестьян, рабочих и беднейших самарских мещан. И не случайность, что Самарская большевистская группа аграрников, работающих в деревне, и участников совещания, представляла из себя одновременно и нашу партийную боевую дружину. Вооружение крестьянства, подготовка его к организованной борьбе входили в большевистский план.

Я рассказывал обо всем этом Ильичу. Должен признаться, что Ильич по-товарищески, но строго пожурил меня за то, что мы мало корреспондируем о своей работе.

— Нельзя так, товарищи, — осведомляйте центр!

Вина за нами действительно была.

Информируя о работе на местах, я, между прочим, сообщил, что самарская организация приступает к изданию местной газеты, и просил Ильича, чтоб центр помог нам своим участием в работе.

Газета называлась «Самарская Лука». Теперь из архивных данных стало известно, что в газету «Самарская Лука» Ильичем была написана, но задержана охранкой статья.

Я состоял в редакционной коллегии, и после Таммерфорсской конференции весь литературный материал проходил через меня. Могу засвидетельствовать, что редакция за этот период совершенно не имела сведений о посылке Ильичем каких-либо материалов в нашу газету. Но мы получили несколько статей Марка Тимофеевича Елизарова (мужа сестры Ильича — Анны Ильиничны), имевшего к газете самое близкое отношение. (Подробнее о «Самарской Луке» мною написано в журнале «Пролетарская революция», 1925 г., июль.)

Несколько слов об Ильиче как о товарище — об этом писалось много. Ильич к каждому из нас подходил индивидуально, считался с особенностями. Может быть, это именно и было отчасти связано с его изумительной организаторской способностью. Он умел оценить каждого, указать соответствующее дело, найти место всякому колесу и винтику в большой машине организации.

Приведу такой случай. В Таммерфорсе мы были разбиты на группы, некоторые жили по двое и по трое в частных квартирах у финских граждан. Вместе поселились трое: тов. Дзержинский, представитель от Польши, Басок — представитель крестьянской Украинской Спілки

и я. Дзержинский тогда был еще совсем молод: худой, стройный, как будто сосредоточенно замкнутый в себе. Меня трогала необычайная кристальная, почти детская его чистота, словно все его существо было заключено в горный хрусталь... Мне порой даже казалось, что в его глазах было нечто нежно-лирическое. «Красная девица» — раз в шутку называли его.

Но с этой кристальной чистотой и мягкостью соединялась решительная преданность и самоотверженность делу революции. Ильич очень любил Дзержинского. Впоследствии я понял, почему именно его, этого идеально чистого человека, он выдвинул на такой ответственный пост, как Чека.

Иным было отношение Ильича к Баску. Последний — довольно-таки непривлекательная личность с неопределенными взглядами, как вообще неопределенна была и организация Спілька, пославшая его. И надо сказать, что впоследствии, после дней Октябрьской революции, Басок, судя по газетам, оказался в рядах петлюровцев.

Ильич как товарищ подходил к нам с большой заботливостью, вплоть до мелочей. Перед отъездом из Таммерфорса он давал советы и указания — как ехать, где сделать остановку. Так же было и на Гельсингфорсской конференции 1907 года. Мы должны были сделать остановку на станции Териоки, а оттуда в разное время — не больше, чем по двое, — двигаться в Петербург. Предосторожности эти были необходимы, потому что охранка выслеживала нас. После Гельсингфорсской конференции двое из участников ее, депутаты Думы Чхеидзе и Полетаев, были задержаны на Финляндском вокзале, а меня арестовали на бывшем Николаевском вокзале.

В Таммерфорсе, в одну из свободных минут, Ильич выбрал время, чтобы прослушать несколько моих революционных стихотворений. Это было после одного из фракционных совещаний. Вместе с Ильичем был еще мой однофамилец — экономист А. А. Богданов (настоящая фамилия Малиновский). Оба сидели на столе, — я декламировал стоя. В общем, Ильич одобрительно отнесся к стихам, но расценивал их исключительно со стороны содержания и идеологической правильности. Между прочим, мною было прочитано одно из старых юношеских стихотворений, где говорилось, что революционный боец не

имеет права на личное счастье. Вот выдержки из стихотворения:

Нежной любви искрометный бокал
Жизнь поднесла мне в минуту отрадную.
Помню, дрожащей рукой его взял,
Думал упиться с беспечностью жадною,
Но... на прозрачном запененном дне
Слезы... лишь слезы почудились мне...
Мне показалась любовь преступленьем,
Тысячи стонов услышал я вдруг,
Заколыхались скорбные тени...
Выпал бокал из затрясшихся рук,
Выпал, разбился. Нежданная сила
Светлую сказку любви омрачила.

Как? В этот час, когда гибнут кругом,
Думать о собственном счастье своем?

и т. д.

Ильич нашел, что в стихотворении звучат старые интеллигентские перепевы, отрывка народничества, нет марксистского подхода к жизни. Его поддерживал Александр Александрович Малиновский.

Я в свое оправдание заметил, что в начале 90-х годов я действительно увлекался народничеством. Ильич улыбнулся.

— Ну вот, значит, я прав. Марксизм не отрицает, а, наоборот, утверждает здоровую радость жизни, даваемую природой, любовью и т. д.

Ильич очень любил природу. По окончании конференции мы устроили товарищескую прогулку за город Таммерфорс к озеру. Стоял ноябрь, но озеро еще не замерзло. Вдали над водой — белокурые волнистые гряды тумана. Около берега компания финской молодежи каталась на лодке и цела однотонные, как сумрачный север, финские песни. Девушки в национальных цветных костюмах — голубое с белым.

На берегу — скала. Старая сосна с изогнутым красновато-бурым стволом и обнаженными корнями низко свесилась с обрыва скалы над водой.

И мы, как дети, поочередно, взбегали на скалу... Отдыхали, слушая песни...

А. Богданов, Избранная проза, Гослитиздат, М. 1960, стр. 253—261.

Встреча в Гельсингфорсе

С Владимиром Ильичем имел счастье я жить три дня, на одной квартире в Гельсингфорсе. Всю осень 1907 года жандармы гнались за мной. Еле ускользал. Петербургский комитет партии отправил меня через Финляндию за границу. В ожидании парохода остановился в Гельсингфорсе, на квартире тов. Смирнова, профессора русского языка при университете. Угнетенное состояние давило меня. За спиной, со снежных просторов России, доносились плач и рыдания пурги, свисты казачьих нагаек, тысячи товарищей стонали в тюрьмах, сотни — прощались последними хрипами под перекладинами. С чувством тяжелого угнетения сидел я в ранних сумерках в столовой.

Входит человек. Нет, не входит, — вкатывается, громко говоря, жестикулируя, прямо из дверей. Крепко жмет всем руки. Какая сила, какая сконцентрированная светящаяся бодрость. Он не сидел. Говорил, бегал, юношески живой, как капля ртути, перекачивался из угла в угол. Нет, не капля; это был большой шар ртути, гигантский,

кипящий шар, блестящая улыбка губ и прищуренных глаз, блеск металла от могучего лба. Никогда не забуду этого металлического закона тяготения.

Диалог:

— Вы, товарищ, из Орла?

— Нет, из Самары.

— Но я вас видел в Орле, не мог же я ошибиться...¹

Зачем вы здесь?

— Эмигрирую за границу.

— Сколько вам лет?

— Семнадцать.

— Зря, зря едете туда, испортитесь там от безделья.

— Я — слесарь, не испорчусь.

— В России надо работать, вы молоды, сильны. Особенно теперь так нужны работники, каждый на счету.

— Я провалился.

— В подполье, в подполье! Зря едете...

Его энергия переплеснулась в меня. Стыдно до краски стало мне, что в такое тяжелое время удираю я, оставив своих товарищей в тюрьмах и под виселицами. Невыразимо захотелось сорваться и сейчас же назад, назад. А за окном, недалеко, тяжело качалось море. Глухо гудели волны: назад, в Россию!

Три дня я жил с Ильичем вместе. У меня и сейчас осталось ощущение, как будто около меня проносили гигантский магнит. Холодок, дрожь, и волосы, приподнимаясь, шевелились. Я все время чувствовал рядом вибрацию исполинского динамо с небывалым напряжением тока.

Владимир Ильич ехал тогда на Таммерфорскую конференцию².

«Ленин». Однодневная литературная газета, посвященная памяти Владимира Ильича Ленина (Ульянова), 1924.

¹ Ошибка памяти автора: В. И. Ленин никогда в Орле не был.— *Ред.*

² Автор допускает ошибку: в ноябре 1907 г. конференция РСДРП состоялась в Гельсингфорсе.— *Ред.*

В январе 1909 года

Большевистская группа собиралась в кафе на Авеню д'Орлеан, неподалеку от Бельфорского льва. На втором этаже имелась небольшая зала; как то принято в Париже, ее представляли безвозмездно — посетители должны были оплачивать только кофе или пиво. Мы пришли одними из первых.

На собрании было человек тридцать; я глядел только на Ленина. Он был одет в темный костюм со стоячим крахмальным воротничком; выглядел очень корректно. Я не помню, о чем он говорил, но, будучи достаточно дерзким мальчишкой, я попросил слово и в чем-то возразил. Он ответил мне мягко, не обругал, а разъяснил — я того-то не понял... Людмила¹ мне сразу сказала, что я поступил глупо. Когда собрание кончилось, Владимир Ильич подошел ко мне: «Вы из Москвы?» Я ему объяснил,

¹ Людмила и Савченко — мои товарищи по московской большевистской организации, находившиеся в 1909 году в Париже. (Прим. автора.)

что в московской организации работал до января, потом был арестован, попытался устроиться в Полтаве, там разыскал товарищей. Ленин сказал, чтобы я к нему зашел.

Я разыскал дом на улочке возле парка Монсури (теперь я проверил — это была улица Бонье). Я долго стоял у двери — не решался позвонить; от недавней дерзости не осталось следа. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал; он сидел, задумавшись, над длинным листом бумаги; чуть щурил глаза.

Я рассказал ему о провале ученической организации, о статье «Два года единой партии», о положении в Полтаве. Он внимательно слушал, иногда едва заметно улыбался: мне казалось — он догадывается, что я еще мальчишка, и это путало мои мысли. Я сказал, что помню на память адреса для рассылки газеты. Надежда Константиновна адреса записала. Я хотел уходить, но Владимир Ильич меня удержал; он стал расспрашивать — как настроена молодежь, кого из писателей больше читают, популярны ли сборники «Знания», на каких спектаклях я был в Москве — у Корша, в Художественном театре. Он ходил по комнате, а я сидел на табурете. Надежда Константиновна сказала, что время обедать; я решил, что засиделся, но меня оставили, накормили. Меня удивил порядок — книги стояли на полке, на рабочем столе Владимира Ильича ничего не было накидано — не похоже ни на комнаты моих московских товарищей, ни на квартиру, где жили Савченко и Людмила. Владимир Ильич несколько раз повторил Надежде Константиновне: «Вот прямо оттуда... Знает, чем живет молодежь»...

Меня поразила его голова. Я вспомнил об этом пятнадцать лет спустя, когда увидел Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп: он заставлял думать не об анатомии, но об архитектуре.

(Много лет спустя после смерти Ленина я взял воспоминания Н. К. Крупской. Надежда Константиновна рассказывала, что Ленин прочитал мой первый роман. «Это, знаешь, — Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжественно рассказывал он. — Хорошо у него вышло». Я был у Владимира Ильича в самом начале 1909 года; и я не знал, что снова с ним мысленно разговаривал — незадолго до его смерти — в 1922 или 1923 году, когда он читал мою книгу «Хулио Хуренито».

Несколько раз я слышал Ленина на собраниях; говорил он спокойно, без пафоса, без красноречья; слегка картавил; иногда усмехался. Его речи походили на спираль: боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а прибавлял нечто новое. (Некоторые из подражавших впоследствии этой манере говорить забывали, что спираль похожа на круг и не похожа — спираль идет дальше.)

Ленин внимательно следил за политической жизнью Франции, изучал ее историю, ее экономику, знал быт парижских рабочих. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи.

В мае 1909 года я был на демонстрации у Стены коммунаров. Впереди шли участники Коммуны; их было еще много, и они бодро шагали. Мне они показались глубокими стариками; я думал о Коммуне, как о странице древней истории — ведь это было тридцать восемь лет назад! У Стены коммунаров я увидел Ленина; он стоял среди группы большевиков и глядел на стену — из камня выступали тени федератов.

Видел я Ленина и в библиотеке Сент-Женевьев, и на скамейке в парке Монсури, среди старух и детишек, и в рабочем театре на улице Гэтэ, где певец Монтегюс пел революционные песенки.

В пылу полемики против эсеров, пренебрегавших законами развития общества, я, разумеется, отрицал всякую роль личности в истории. Несколько лет назад я задумался над фразой из письма Энгельса: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии». Пример Ленина поставил многое на свое место.

Когда я пришел к Владимиру Ильичу, консьержка мне строго сказала: «Вытрите ноги». Разве она понимала, кто ее жилец? Разве понимал официант кафе на Авеню д'Орлеан, что о господине, который заказывает кружку пива, восемь лет спустя будет говорить весь мир? Разве догадывались посетители библиотеки, что человек, аккуратно выписывающий из книг цифры и имена, изменит ход истории, что о нем будут писать десятки тысяч авто-

ров на всех языках мира? Да разве я, с благоговением глядевший тогда на Владимира Ильича, мог себе представить, что передо мной человек, с которым будет связано рождение новой эры человечества?

Никогда не забуду четыре ночи, предшествовавшие похоронам Ленина, когда Москва прощалась с Владимиром Ильичем. Стояли жестокие морозы; на площадях горели костры. Входя в Колонный зал, взрослые мужчины, вчерашние красногвардейцы, плакали, как дети. Случилось чудо: в эти четыре ночи перед всеми раскрылась история; то, что еще недавно казалось зыбкой газетной хроникой, сразу стало гранитом, — все поняли, что создал Ленин.

Владимир Ильич был в жизни простым, демократичным, участливым к товарищам. Он не посмеялся даже над нахальным мальчишкой... Такая простота доступна только большим людям; и часто, думая о Ленине, я спрашивал себя: может быть, воистину великой личности чужд, даже неприятен, культ личности?

Ленин был человеком большим и сложным. В бурные годы гражданской войны после исполнения сонаты Бетховена Исаем Добровейном Ленин сказал А. М. Горькому:

«Ничего не знаю лучше «Аrassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!»

Я выписал эту длинную цитату из воспоминаний Горького, потому что она слишком тесно связана с моей жизнью и с моими мыслями, нет, местоимение не то — с нашим веком, с нашей судьбой.

И. Эрнбург, «Литературная газета», 1960, № 43, 9 апреля.

В. И. Ленин в Брюсселе

Вечером я получил телеграмму из Парижа: «Приеду утром 25-го Ленин».

Канун большого дня всегда тревожен. Предстоящая встреча, как набежавший ветер, подхлестнула волны мыслей.

Ленин наезжал в Бельгию, когда того требовали дела II Интернационала, Исполнительный комитет которого находился в Брюсселе.

С 1905 года Ленин представлял в Интернационале¹ российскую социал-демократию.

Мне было всего двадцать два года, когда в 1908 году, бежав из ссылки, я приехал в Париж. Я явился к Ленину с рекомендацией от Инессы Арманд. Прочтя письмо, Владимир Ильич сказал: «Я вам дам серьезное поручение.

¹ В. И. Ленин входил в состав Международного социалистического бюро (исполнительно-информационный орган II Интернационала) с 1905 по 1912 г. В дальнейшем руководил работой представителей большевиков в этом органе.— *Ред.*

Справитесь? — И сам ответил за меня: — Не сомневайтесь, справитесь».

На меня были возложены секретарские обязанности, то есть ведение текущих дел представительства и осведомление Ленина обо всем, что предпринимал Исполнительный комитет, особенно по русским делам.

В первое мгновение меня несколько смутило поручение Владимира Ильича: поговорить от своего имени и на свой риск и страх подготовить одного из лидеров II Интернационала, Эмиля Вандервельде, к некоторым неприятным для него шагам крайне левой части русской социал-демократии.

Стояла предвесенняя пора на исходе дождливой и туманной приморской зимы, конец января 1914 года. Проснувшись в день приезда Владимира Ильича, я распахнул настежь обе створки балконной двери во втором этаже, где жил. Светило солнце. Но было холодно. И вдруг сквозь солнце засеяла снежная крупа. Я остался на балконе, всматриваясь, не покажется ли из-за угла большой улицы тот, кого я ждал.

И действительно, как только я взглянул в ту сторону, появились двое мужчин, обсыпанных снежной крупой. Мне стало досадно, как будто меня обманули.

Но сейчас же за ними показался еще прохожий. Это был Ленин.

Владимир Ильич не заметил меня на балконе. Он был сосредоточен на чем-то. Я бросился вниз. Продребезжал звонок. Я успел добежать до входной двери раньше, чем квартирная хозяйка: я любил сам встречать Владимира Ильича на пороге дома.

Ленин, очевидно, приготовился, что откроет кто-нибудь из посторонних: рука его была у борта шляпы и готова была приподнять ее над головой для принятого в обиходе приветствия. Но, увидев меня, своего, Владимир Ильич улыбнулся и по-товарищески крепко тряхнул мою руку. Эта чуть мелькнувшая непосредственная улыбка все осветила радостью. Владимир Ильич при встрече не дарил приветливостью, если бывал недоволен моей предыдущей работой.

— Газеты русские, питерские получены? Есть у вас? От какого числа? — спросил Ленин вместо «здравствуйте».

И этот вопрос тоже обрадовал меня. Обыкновенно, если Владимир Ильич бывал недоволен, то сухоовато произносил при встрече общепринятые приветствия. А теперь он сразу же посвятил меня в занимавшие его в эти минуты мысли.

— Как там прошла годовщина Девятого января? Много бастовало? Когда я выезжал, в Париже еще не было русских газет от девятого. К вам северный экспресс приходит, наверное, раньше, ну что ж там? Рассказывайте.

— В Питере, Владимир Ильич, больше полутораста тысяч бастовало, а в остальных городах очень понемногу.

— А точно где сколько? Неужели не запомнили? Можно ли не запомнить?

— В Риге тысяч около ста.

— А в Москве?

— Не больше десяти тысяч. В Киеве, Николаеве тоже вроде этого, а в Твери, Варшаве меньше чем по пяти.

Владимир Ильич на мгновение остановился в передней, как будто взвешивая полученные сведения. В нем опять была та же сосредоточенность, в какую он был погружен, когда я увидел его приближавшимся к подъезду.

Оставаясь сосредоточенным, Владимир Ильич привычно четкими и живыми, но спокойными, неторопливыми движениями снял пальто, повесил его, затем положил на верхушку вешалки свою круглую шляпу, размотал с шеи кашне. Я, вопреки принятому обычаю помогать гостю, при раздевании Владимиру Ильичу не помогал, зная, что он этого не позволяет, и если ему помогают, то хмуро сердится на это, как на досадливую помеху.

Я повел Владимира Ильича вверх по лестнице в свою комнату над бельэтажем. И Ленин не оставил в передней, а захватил с собой всегда сопровождавший его в путешествиях маленький кожаный дорожный саквояж, много на своем веку выдавший, но всегда блестящий, как будто дорожная пыль и грязь обходили его.

С момента, как только Ленин поздоровался и заговорил, у меня родилось вначале смутное, а затем все более усиливающееся ощущение, что гость приехал не из такой же заграничной эмиграции, в какой жил я сам, а прямо из России.

Седьмой год шел с того времени, как Владимир Ильич по льду Финского залива ушел из России, а все казалось, что за границу он только что приехал и что за границей он только временный, случайный гость, а всем духом своим он там, на родине, в огне непрекращающейся битвы. Круговорот эмигрантской жизни не мог подчинить его себе. Его ощущения и оценки русских явлений оставались свежими и точными, и во всем своем обхождении с людьми он сохранял какой-то русский лад.

— У вас выспаться в тишине можно? — спросил Ленин. — Мне ровно на один час. Заметьте по часам. Если не проснусь, пожалуйста, разбудите. Вы ведь не уходите? Я не спал ночью. Ох, уж эти французские вагоны! Да и вообще европейские вагоны плохие. Наши русские куда удобней.

Войдя в комнату, Ленин поставил свой саквояж в сторону так, чтобы он не мешал, не лез в глаза, но и был под рукой, когда понадобится. Он умел, не ища, мгновенно находить каждой вещи в окружающем его обиходе должное место.

Стоявший в углу за ширмочкой ветхий чемодан мой вызвал улыбку Владимира Ильича:

— Починить отдать надо вам эту штуку. Время такое, что нашему брату следует держать чемоданы в порядке, — того и гляди, в Россию собираться будем. Ну, дайте пробежать глазами. Где они у вас?

В две-три минуты Ленин проглядел газетные листы и спросил меня, не отрываясь от чтения:

— Можете мне этот номер оставить в собственность?

Я ответил: могу.

Тогда Владимир Ильич торопливо, резко отчеркнул два места красным карандашом.

— А теперь немедля спать. Где же можно будет, чтобы не стеснить? Пожалуйста, только мне ничего не надо, кроме как умыться.

Я привел в порядок умывальник и налил в кувшин воды. Потом зажег газовый камин.

— Пожалуйста, не надо. Я сделаю все сам. Идите заниматься вашими делами.

Я вышел и вернулся с теплым пледом.

— Это вам еще на ноги, Владимир Ильич, теплее будет.

Но Ленин не ответил. Он был уже в постели, закрыл глаза. Пока я ходил разыскивать плед, Владимир Ильич успел умыться, раздеться и улечься. Я осторожно положил плед в ноги кровати. Ленин не открыл глаз: он уже начал засыпать.

Тысяча девятьсот четырнадцатый год начинался, казалось, хорошо. Тяжелые времена усталости и оцепенения, наступившие после поражения революции пятого года, уходили в забвение. Пробуждение, раз вспыхнувши и переломив сон, крепло. С конца десятого года Россия пришла в движение, и это движение всеми видимыми и невидимыми путями нарастало. Весны всегда начинаются середь зимы. Первый знак и проблеск весны загорается в январском голубеющем небе, когда еще давящие снега покрывают землю. Солнце, по народной примете, поворачивает в конце декабря на лето, и в тот самый день зима поворачивает на мороз.

Каждая новая весть, приходившая из России, приносила новую надежду. Ленин в открытке перед первым января писал мне, что до сих пор новогодние собрания эмигрантов были сочельниками воспоминаний, а теперь, перед четырнадцатым годом, они станут вечерами надежд. Революция снова стояла у порога России.

Но чем круче поворачивало солнце на лето, тем злее поворачивала зима на мороз. Против революции воздвигались препятствия все разнообразней и все изощренней: и законодательство, насаждающее мелкого крестьянского собственника, и полицейские преследования, и провокации, и оупляющая проповедь бездеятельного неверия.

Как на повороте зимы солнце и стужа идут вместе, так и перед революционным русским ледоломом силы живительные и силы мертвящие смешивались меж собою. Готовились новые битвы. Сторонники и враги революции мобилизовались. Острее шли размежевки между действительными революционерами и теми, кто только прикрывался изменнически революционными фразами.

Наперерез внутренним российским событиям надвигалась мировая война; в 1911 году — война Италии и Турции из-за Триполитании, в 1912 году — война балканских союзников с Турцией, в 1913 году — война между балканскими союзниками по подстрекательству Германии и Австрии.

В этой сложной обстановке лидер II Интернационала Эмиль Вандервельде, а вместе с ним и весь Исполнительный комитет готовы были примириться с надвигающейся войной, как роковой неизбежностью, и уже начинали заранее искать оправданий для своего будто бы вынужденного бездействия. Застрельщиками примирения с войной, как неотвратимым фактом, были в Международном социалистическом бюро немецкие и австрийские социалисты. А Ленин в это время упорно, шаг за шагом, обучал, спланировал, строил в боевые порядки передовые отряды тех будущих многомиллионных революционных сил, которым предстояло на протяжении грядущих десятилетий вести бои. Он видел на столетие вперед. Ради грядущих побед ему нужно было освободить основное ядро будущей революционной армии от неустойчивых, колеблющихся и изменнических спутников.

Второй Интернационал же видел только то, что было непосредственно перед его глазами. Для русского революционного движения он также рекомендовал мир и соглашение между сторонниками революции и изменниками революционному движению.

Второй Интернационал собирал силы против Ленина. Борьба внутри российской социал-демократии переросла русские рамки, приобретая значение международное. Гроза нависала.

В этот раз я должен был сообщить Владимиру Ильичу о том, что подготовлялось против него за кулисами II Интернационала.

Прошло больше часа. А ведь Ленин просил разбудить его ровно через час.

Я тихо постучал в дверь — в ответ ни звука. Постучал еще раз, и опять ответа не было. Я взялся за дверную ручку, чтоб осторожно приоткрыть. Но чуть не упал: дверь дернулась внутрь и широко раскрылась. Владимир Ильич, смеясь, сказал:

— Ай, ай, вот и надейся на вас! Хорошо, что я сам проснулся. И заметьте, минута в минуту, как сам себе назначил. Хотите, я вас этому обучу? Просыпаться ровно когда надо. Впрочем, проснуться не так трудно, как заснуть по собственному желанию и на самое короткое время. Для этого надо уметь выключать работу сознания.

Мне это иногда удается. Попробуйте. Это очень увеличивает работоспособность.

Владимир Ильич был уже одет, двери балкона были открыты, а кровать аккуратно застелена, плед положен отдельно и так, чтобы можно было его взять, не нарушая обычного расположения других вещей.

Все в комнате до мелочей оставалось точно на тех же самых местах, где было в ту самую минуту, когда я оставил Ленина одного. Мне это было хорошо знакомо: Владимир Ильич, располагаясь в чужой комнате для отдыха или для работы, всегда до щепетильности старался как бы не сместить ни одной вещи и тем не потревожить порядка, заведенного хозяином. В чужом, интимном углу Владимир Ильич держался с бережной осторожностью. Он никогда не садился на стул, если надо было предварительно с этого стула что-либо снять: а если хозяин догадывался снять без просьбы, то Ленин уговаривал его не беспокоиться. В этом сказывались его чуткость и уважение к чужому стремлению жить по-своему и на свой лад.

Было еще рано, и я пригласил Владимира Ильича спуститься вниз, в столовую хозяйки, позавтракать. Владимир Ильич согласился, но предложил сначала наметить расписание дня.

Предстоял сильно занятый день. Вечером, в семь часов, Владимир Ильич должен был читать реферат о национальном вопросе для делегатов Четвертого съезда латышских социал-демократов, открывавшегося в Брюсселе утром следующего дня. А до того надо было увидеться и посоветоваться с бельгийскими моряками, с которыми я завязал знакомство через брюссельские организации Бельгийской рабочей партии. Эти моряки отправлялись в скором времени из Антверпена на бельгийском торговом судне в южные русские порты. Я предложил при их помощи переправить в Россию нелегальные партийные издания. Владимир Ильич одобрил это и пожелал сам присутствовать при первом деловом разговоре. Свидание назначили в одной из задних комнат кафе «Народный дом» Бельгийской рабочей партии. В первой половине дня время должно было уйти на сообщения мои о делах Интернационала и ознакомление Владимира Ильича с письмами от русских организаций, которые вели свою переписку с Большевицким Центром по адресам разных почтенных

бельгийцев; получая из России письма, они сдавали их мне нераспечатанными.

— Так вот какой наш день, Владимир Ильич: до половины первого мой рассказ вам о делах в Интернационале и просмотр русской переписки, потом обед, затем можете, по обыкновению, обыграть меня в шахматы или, тоже по обыкновению, проиграть мне в шашки.

— Ну это еще, батенька, бабушка надвое сказала...

— Затем от трех до пяти видимся с матросами, потом перерыв, а к семи — на реферат в ресторане «Золотой петух»; я снял там верхний изолированный зальчик. Согласны?

— Согласен, но с сожалением. Опять не удастся нам урвать хоть часик на осмотр института Сольвея. Не много ли вы кладете на вашу информацию и на просмотр почты?

На этот раз я в распределении времени несколько нарушил. Мне хотелось уговорить Владимира Ильича повидаться в тот же день утром с Эмилем Вандервельде. Сказать об этом раньше, чем представить Владимиру Ильичу положение дел в Интернационале, я не решился. Я знал, как Владимир Ильич не любит и как старается всегда избегать «дипломатических», непубличных встреч с руководителями Интернационала.

Позавтракали не торопясь, но очень быстро. Владимир Ильич за столом в обращении с хозяйкой пансиона выполнил все, что требовал принятый обиход. Были сказаны все приветствия, поставлены все вопросы о здоровье, о житье-бытье и даже поддержан разговор о несносной бельгийской погоде, удовлетворено любопытство мадам ван Зеттер о зиме, какая стоит в нынешнем году в Париже, и сказано в утешение, что лондонские зимы хуже. И все это в очень приятной манере, но в сверхскупой краткости, каждый ответ — в точных пределах поставленного вопроса и таким образом, чтобы плавный разговор не нарушал взятого темпа завтрака.

— Ну-с, займемся нашими делами, — с живостью и возбуждением сказал Владимир Ильич, когда мы вернулись в верхнюю комнату. — Расскажите, что говорится и предпринимается в Интернационале нового. Я выехал из Кракова в Париж неделю тому назад и не видал ваших писем, следовательно, от середины января.

Ленин зашагал по комнате из угла в угол. Я стал рассказывать не в последовательной связи, а вырывая из событий только существенное ядро. Долгая практика научила меня такой манере: Владимир Ильич, пока не узнает сути, слушал нетерпеливо и опускал подробности, но зато когда добирался до сути, то, бывало, придирчиво добивался, чтоб я вспоминал и восстанавливал самые, казалось, мелкие подробности, если они нужны были ему для освещения сути.

— Общую обстановку, международную, в Европе Вандервельде сейчас не считает угрожающей... Последствия балканской войны погашены... до последней искры, по его мнению.

— А Жорес?

— Не так уверен.

— Неопределенно. У вас откуда это впечатление?

— Удалось с ним поговорить после его беседы с Вандервельде.

— Долгий был разговор? Подробный?

— Нет, на ходу.

— А Виктор Адлер?

— Тот считает, что война между славянами — балканскими союзниками так ослабила позиции России на Балканах, что там все затихнет. Смолчала же, говорит, Россия после аннексии Боснии и Герцеговины в девятьсот восьмом году.

— Какой без пяти минут министр! Это у вас откуда? С ним самим разговор?

— Нет. Это передавали мне в Исполнительном комитете.

— Давайте ближе к делу.

— Во всяком случае, на ближайшее время не предполагается ничего ставить на Бюро из вопросов международной обстановки. Приезжал сюда недавно из Берлина Гаазе. Мне Вандервельде рассказывал, что у них был разговор по душам за ужином. Гаазе теперь, по словам Вандервельде, самый влиятельный среди левых руководителей социал-демократических депутатов в рейхстаге. Он сказал Вандервельде, что если германские империалисты посягнут на мир в Европе, то германская социал-демократия серьезно задумается над вопросом о всеобщей забастовке.

— Болтун! — резко и сурово бросил Владимир Ильич, перестав шагать по комнате, и вдруг, остановившись передо

мной, посмотрел строго мне в глаза и сделал жест рукой, который как бы приглашал кончить такой пустой разговор.

Владимир Ильич подошел к балконной двери и открыл ее настежь, как будто ему стало душно. В комнату ворвался свежий влажный ветер. Я не решался продолжать. Мы помолчали несколько мгновений. Ленин ходил по комнате. Потом он повернулся ко мне, спокойно, с улыбкой, очень дружески сказал:

— Вот что, батенька, запишите-ка себе поручение. В прошлый мой приезд вы рассказывали про заметку в какой-то католической газете, что то ли уже состоялись летом, не то предполагаются на весну маневры бельгийской армии.

— Да, да, верно, Владимир Ильич, это было в газетах и была указана тема маневров: одна армия представляет армию вторжения в Бельгию со стороны германской границы, а другая защищает переправы через Мезу и проходы через Арденны на запад, к Франции.

— А вы не можете, батенька, достать эту заметку? Или списать в библиотеке? Сделайте, пожалуйста. Разыщите, где точно было напечатано. И вообще берите на заметку все факты о подготовке войны, все, крупные и мелкие, одинаково. Кстати, вы мне обещали разузнать, что писалось в голландской прессе о давлении Германии на Голландию в вопросе об укреплении Флиссингена и вообще входов в Шельду и также о том, что писалось о позиции Англии в том же деле. Запишите и это себе как поручение. Записали?

Я только теперь наконец оправился от растерянности перед бурей негодования, которую навлек мой рассказ о Гаазе. С обидой я сказал:

— Я не знаю... почему вы так на меня...

И вдруг мне сделалось стыдно: что за ребячество я допустил, гнев же не против меня, а вышло, как будто я укоряю Владимира Ильича за резкость к Гаазе. Мне-то надо же помнить, что Владимир Ильич всегда горяч в выражении своих чувств и что Владимир Ильич в личном общении не терпит проявлений излишней чувствительности, что он воспринимает это, как мы обычно воспринимаем малодушие, дряблость или слабость, и что при таких проявлениях ему обыкновенно становится неловко за своего собеседника, а иногда это вызывает его резкий приговор о человеке: «Кисель!»

Владимир же Ильич, два-три раза глубоко вдохнув свежий воздух, повернулся ко мне:

— Вам, может быть, холодно? А то закроем.

И без всякой паузы продолжал:

— Гааге — фразер. Акробат фразы. Он говорил с Вандервельде, как богатый родственник с бедным. С англичанином он говорил бы иначе. С англичанином он стал бы торговаться: мы-то, мол, свое и так уж достаточно дали, а как, мол, вы будете действовать перед опасностью войны, что вы можете предложить. Им все кажется, что каждый из них, борясь против войны, делает одолжение и уступку другому. Вся эта братия, с которой мы с вами имеем дело в Международном социалистическом бюро, принимает опасность войны только с национально ограниченной точки зрения, а не с общей. Каждый требует решительности от другого, а для себя обязательно находит особые извинительные обстоятельства, оправдывающие его бездеятельность. Оттого они все, вместе взятые, не представляют большой помехи для тех, кто готовит войну. Понятно это вам? А потому — хорошенько это себе заметьте — мы обязаны следить за малейшим фактом, за малейшим аргументом, за малейшим словом, за самым малейшим штрихом во всей этой темной кухне, во всем этом колдовстве, где заколдовывают, а больше наколдовывают войну, мы должны, мы обязаны следить неослабно. Наша информация должна быть возможно полней. Факты, факты, факты. Кстати, почему молчите о китайских бюллетенях?

— Я их забросил, Владимир Ильич.

— То есть как это так забросили?

За несколько месяцев до того, летом 1913 года, я сообщил Владимиру Ильичу, что случайно узнал: китайское посольство в Брюсселе стало издавать ежедневный бюллетень дальневосточных новостей. Бюллетень печатался на пишущей машинке, размножался в очень ограниченном количестве, предназначался для редакций брюссельских газет и для отдельных интересующихся журналистов; получать его можно было за плату в пятнадцать франков в месяц. Владимир Ильич разрешил мне этот расход. А когда я сообщил Владимиру Ильичу взятое из бюллетеня содержание англо-тибетского соглашения и сообщил раньше, чем соглашение было опубликовано в западной и русской прессе, Владимир Ильич был очень доволен и наказал мне

подписку на бюллетень не бросать и постараться использовать факты бюллетеня для статей в «Правду».

— «Правду», «Правду», особенно «Правду» не забывайте, ведь как было бы здорово, если бы мы могли публиковать то, что буржуазной прессе выгодно утаивать от рабочей публики. Постарайтесь-ка, батенька.

— Ну и что же, вы больше не подписываетесь на бюллетень? Прекратили? Почему же вы это сделали?

— Я вижу, Владимир Ильич, что это инспирированная информация. Это агентура диктатора Китая Юань Ши-кая для обработки европейских газет.

— А вы умеете разбираться и в инспирированной информации. Возобновите подписку обязательно. Факты, факты, факты. Умейте отсеивать факты. Особенно сейчас. Национализм всюду наступает. Атмосфера накалена.

— Так ли уж она накалена, Владимир Ильич? Помните, как-то осенью одиннадцатого года вы заезжали на денек в Брюссель. Вы остановились тогда не у меня, а пошли ночевать в «Отель де Рюсси» в Икселе... Я вас провожал вечером. Мы были уже на пороге гостиницы и прощались. В это время пробежал газетчик, выкрикивая: «Война! Объявлена война!» И мы тут же с вами прочли под фонарем, торопясь, экстренный выпуск. Это было о начале войны Италии и Турции из-за Триполитании. Помните, как мы разволновались? Вы не захотели идти спать и предложили пройтись по Авеню Луиз до Кемврийского леса. Мы вспоминали в тот вечер о Кемврийском лесе — когда-то он был препятствием, остановившим нашествие Цезаря. Помните, вы говорили тогда, что триполитанская война может быть сигналом к общеевропейской войне, что ослабление Турции вызовет войну на Балканах, а война на Балканах вызовет войну Австрии и России и так дальше и так дальше. Мы долго тогда с вами гуляли и не хотели возвращаться домой. Казалось, мы находимся накануне самых больших событий. А на самом деле все отшумело и улеглось. Обе балканские войны кончились, и все обошлось без вмешательства великих держав в войну.

— Берегитесь, это у вас пунктик, вы мне в конце триполитанской войны говорили о том же: вот, мол, мы-то гадали, что общеевропейская война на носу, а вот, мол, триполитанская война кончается, а Балканы и не думают трогаться. На деле же, глядь, через короткое время вспых-

нула война на Балканах. Так оно и шло: в одиннадцатом — война в Триполитании, потом короткий перерыв, в двенадцатом — первая балканская война, за нею вторая. О том, что по окончании второй все успокоилось надолго, делать вывод рановато. Войны готовятся не открыто на площадях, а в величайшей тайне. Рассказывайте, что у вас есть еще.

Я быстро рассказал все, что знал о текущих мероприятиях Исполнительного комитета, и, наконец, перешел к тому, что считал самым важным, самым настоятельным и самым тревожным из всех соображений, какие мне предстояло сегодня высказать Ленину.

— Затеваются очень скверные вещи, Владимир Ильич. Мы стоим перед тяжелым ударом. Против нас готовится небывалый концентрированный заговор по всей линии в масштабах всего Второго Интернационала.

Владимиру Ильичу было и без того хорошо известно, что, с тех пор как на лондонском заседании Международное социалистическое бюро поставило на очередь задачу «добиться» единства русской социал-демократии и взяло на себя посредничество между враждующими течениями, интриги в Интернационале против большевиков обострились, ибо истинной целью Международного социалистического бюро была поддержка русских ликвидаторов.

— Знаете, Владимир Ильич, за последнюю неделю буквально каждый день в Интернационал являются разные патентованные авторитеты из разных фракций с рецептами объединения и с планами «укрощения» «раскольничьей» деятельности Ленина; за эту неделю в Интернационале под прикрытием «подготовки единства» происходит сплочение коалиции для разрушения того, что сделали большевики по восстановлению подпольных рабочих организаций в России; шаг за шагом наши противники вербуют себе сторонников и друзей среди крупных деятелей Интернационала, которые раньше держались нейтрально. Можно считать, что за последнюю неделю блок в Интернационале против ленинцев уже создан и оформился. Фракции и течения русского движения объединились и действуют в Интернационале против нас сплоченным блоком. И в Исполнительном комитете говорят, что если так дальше пойдет, то...

Но мне не удалось договорить фразу, Владимир Ильич вдруг громко и весело рассмеялся.

— Что с вами, Владимир Ильич?

Ленин закинул назад голову и залился смехом еще более веселым и радостным.

— Чему вы смеетесь, Владимир Ильич?

Ленин быстро поднялся с места, подошел ко мне, хлопнул по плечу.

— Ах вы, милый, батенька!

И снова засмеялся, весело, легко.

Я вначале недоумевал: уж очень смех Ленина разрезал тот поток серьезных и глубоких тревог, какой владел мной в эту минуту. Но этот смех звенел так звонко и так юношески беззаботно. Я встретился глазами с Владимиром Ильичем и почувствовал, что тоже начинаю улыбаться, не зная еще сам чему.

Владимир Ильич неторопливо, спокойно открыл снова балконную дверь. В небе голубела высокая прогалина, чистая от туч. В ветре была приморская бодрящая свежесть.

Не раз, бывало, особенно в тяжелые годы, когда, казалось, каждый день приносил утраты, измены, отречения, предательства и когда в заграничной большевистской эмиграции верными Ленину оставались едва ли даже десятки, а скорее единицы; не раз в трудные минуты одно появление Ленина среди своих ломало уныние и рождало бодрость. Он, бывало, еще ничего не успеет сказать, а люди, ощутив его присутствие рядом с собой, уже менялись. Его спокойный взгляд, уверенный жест, улыбка, по-детски безоглядный смех — все его существо излучало бесстрашие, ничем непобедимое бесстрашие перед всеми препятствиями и бедами, какие могут стать на пути. От его одного только присутствия бежали все призраки поражения и смерти. Он разгонял их своей ничем непоколебимой убежденностью в победе.

Я ждал объяснения, почему Владимир Ильич встретил смехом рассказ о кризисном обороте дел в Интернационале. Но объяснение не приходило. Ленин молчал и только почти про себя, тихонько и весело насвистывал.

— Владимир Ильич, как бы ни были мы уверены в своей правоте, все-таки если Интернационал объявит нас виновниками раскола, то это будет для нас сильной помехой и здесь и в России. Вы только представьте себе, как далеко уже зашло дело...

Я стал приводить факты. Их накопилось очень много. Они показывали, что руководители Исполнительного

комитета уже достаточно обработаны противниками большевиков.

— А вот вам еще, например, одно... вы знаете, с сенатором-то все у меня лопнуло к чертям...

— Лопнуло? — с оживлением спросил Ленин, как будто забавляясь моим волнением.

В 1910 году, на январском Пленуме Центрального Комитета, известном под названием «Объединительного», большевики передали свои денежные средства для расходов на общепартийные дела. Деньги были вручены тройке нейтральных держателей — Каутскому и еще двум видным немецким социал-демократам. Было оговорено, что, если соглашение фракций будет нарушено, держатели обязаны вернуть деньги большевикам.

Владимир Ильич не одобрял этого соглашения и не верил в него. Он оказался прав: меньшевики нарушили договоренность почти сейчас же после Пленума. Тогда большевики потребовали возврата сумм: деньги нужны были на первые шаги легальных изданий в России. «Тройка», в которую входил Каутский, объявила, что «на раскол денег не дадут». Никакие «мирные» увещания не помогли. Тогда Владимир Ильич поручил мне договориться с каким-либо известным в Бельгии адвокатом, по возможности социалистом, чтобы тот дал юридическое заключение о неправильных действиях держателей. Добившись такого заключения, я должен был представить его Вандервельде и склонить его к давлению на «тройку» Каутского. Выбор был остановлен на авторитетном юристе, члене Генерального совета рабочей партии, сенаторе Винке, находившемся к тому же в хороших личных отношениях с Вандервельде. Кроме меня, еще двое товарищей, живших в Англии и Италии, получили от Владимира Ильича поручение добыть такие же заключения. Таким образом, предполагалось, что Вандервельде будут предъявлены внушительные документы.

— И представьте себе, Владимир Ильич, в последнюю минуту мой сенатор, уже после того как накануне прочел мне черновик заключения, вдруг увильнул. Это он учуял что-то в воздухе, может быть, даже спросил у Вандервельде, и тот отсоветовал.

Чем больше приводил я печальных фактов, тем оживленней и даже как будто веселей становился Ленин...

И еще казалось, что чем сложнее перед ним положение,

чем неопределенней исход, тем он делается спокойней и уверенней. Это было глубокое свойство его характера. Такова была его натура, созданная для борьбы.

Ленин спросил:

— Ну-с, вы уже все рассказали? У вас сообщений никаких больше нет? Тогда разберем почту из России.

Я подал пачку нераспечатанных конвертов. Владимир Ильич сел у двери на стул, положив ногу на ногу. Разрывая конверт за конвертом, он некоторые письма клал во внутренний карман пиджака, на которых делал пометки, причем держал бумагу и писал не на столе, а на колене. Бывало так, что иногда он предпочитал писать на колене, особенно же во время собраний и заседаний.

А некоторые письма он, прочтя, молча протягивал мне. Это были все письма с хорошими новостями от партийных организаций: с мест сообщалось о росте влияния большевиков среди рабочих.

— Не надо смешивать политиканство с политикой,— вдруг сказал Владимир Ильич, улыбаясь одному из писем,— наша сила не в закулисных ходах, а в нашей собственной реальной силе. Весь этот блок, все эти объединившиеся против нас фракции, о которых вы говорите, не больше как штабы без армий. Это нули! Нули, нули и нули. Совершенно голые нули.

Покончив с письмами, Владимир Ильич посмотрел на часы.

— Уже около часа. Надо быть всегда аккуратным с обедом.

Решено было обедать не у хозяйки, а идти в ресторан, чтобы не терять времени на лишние разговоры, так как надо было к трем успеть на свидание с матросами.

Перед выходом из дому, когда уже мы оба были в пальто, Ленин вдруг остановился передо мной и оглядел меня долгим, пристальным взглядом. Я спросил:

— Что вы так смотрите на меня, Владимир Ильич?

— Вы что-то немножко не тот стали. Что с вами? Вы чем-нибудь расстроены? Устали? Нездоровы? Вам, может быть, надо отдохнуть? Нет, нет, не качайте головой. Вы что-то грустите. Где причина?

— Не знаю. Ничего за собой не замечаю, Владимир Ильич. И никакой причины нет,

— Если верно, что не знаете причины, то тем хуже. Надо обязательно всегда найти причину. Особенно такого состояния, как у вас сейчас. Найти и потом быстро ее устранить или хотя бы преодолеть. Как же иначе, батенька! Нельзя так! Да вы и сами это знаете. Но только что-то скрываете и хитрите.

Мне не хотелось говорить Владимиру Ильичу о личных своих неприятностях. К тому же в присутствии Ленина так поднимался дух и возрастало мужество, что всякие неприятности меняли свои масштабы, казались меньше. Поэтому-то я и скрывал и «хитрил».

Но скрыть что-либо от Владимира Ильича было нелегко. В общении с ним казалось, что он держит мысль и чувства собеседника освещенными невидимым фонарем и все ему видно и ясно.

Однажды Владимир Ильич сказал про Плеханова, что у него «физическая сила ума».

— Что это такое, Владимир Ильич, физическая сила ума? Я не пойму.

— А вот вы можете ведь сразу увидеть и отличить в человеке физическую силу. Войдет человек, посмотрите на него, и видите: сильный физически... Так и у Плеханова ум. Вы только взгляните на него, и увидите, что это сильнейший ум, который все одолевает, все сразу взвешивает, во все проникает, ничего не спрячешь от него. И чувствуешь, что это так же объективно существует, как и физическая сила.

К самому Владимиру Ильичу это было приложимо бесспорно. Его внутренняя сила чувствовалась с первого мгновения, с первого взгляда.

Обедать Владимир Ильич попросил повести, где подешевле и где «есть настоящее мюнхенское пиво». Я предложил зайти в ресторанчик «Ватерлоо», где обед был дешевый — по франку. Но не было гарантий, что мюнхенское, которое там подают, — настоящее мюнхенское.

— Да что вы, батенька! Знаете, как я люблю мюнхенское пиво? Во время конференции в Поронине я узнал, что верстах в четырех-пяти, в одной деревушке, в пивной появилось настоящее мюнхенское. И вот, бывало, вечерами после заседаний конференции и комиссий начинаю подбивать компанию идти пешком за пять верст выпить по

кружке пива. И хаживал, бывало, по ночному холодку на легке, наскоро.

За обедом Владимир Ильич выбрал блюда из обширного меню быстро, почти мгновенно. Я же раздумывал, советовался с официантом и два раза менял свой выбор. Владимир Ильич рассмеялся:

— Вы что-то сегодня совсем нерешительны.— Потом прибавил серьезно: — Нет, что-то с вами происходит необычное. Вы чем-то расстроены.

В «Народный дом» мы пришли раньше часа, назначенного для встречи с бельгийскими моряками.

В зале нижнего этажа, где помещалось кафе, было шумно и полно народу. Это было место деловых свиданий работников Бельгийской рабочей партии, профессиональных союзов, кооперативов. В верхних этажах «Народного дома» находились центральные органы руководства рабочим движением. Здесь же, на четвертом этаже, были отведены комнаты и для Исполнительного комитета Интернационала.

Мы с трудом пробивались сквозь толпу к комнате, где было условлено свидание с моряками. Но не успели мы войти, как с площадки лестницы, ведущей к служебным помещениям, нас окликнули. Это был Вандервельде, поднимающийся наверх.

— Ну, значит, сама судьба,— сказал я и прибавил, понижая голос, хотя нужды в этом не было, так как я говорил по-русски и Вандервельде не мог бы понять: — Хорошо бы сделать вид, что мы шли к нему.

Вандервельде задержался, поджидая.

— Я очень рад встрече. Вы ко мне?

— Я тоже очень рад. Но я шел по другому делу и не имею необходимости отнимать у вас время.

— Разве так уж у вас абсолютно нет ко мне дела?

— О нет, не абсолютно! У меня к вам просьба. Я писал об этом.— Владимир Ильич сделал жест рукой в мою сторону.

Тут я вспомнил, что действительно у меня значилось одно невыполненное поручение Владимира Ильича: попросить у Вандервельде снятые им на конгрессе Интернационала в Копенгагене фотографии различных групп делегатов, в том числе и русских.

Об этом теперь Владимир Ильич и заговорил. Вандервельде улыбнулся, но чуть скривил край рта!

— Но у меня есть к русским социал-демократам дело. Я вас прошу подняться со мной, если располагаете временем.

Обращение Вандервельде было всегда и со всеми исполнено непринужденности, взвешенной и обдуманной. Его манеры были нарочито просты. Его костюм был предусмотрительно рассчитан на встречи с людьми простыми. Свои мысли он выражал, избегая усложнений,— в коротких, простых фразах. Словом, для того чтобы произвести на окружающих впечатление простоты, в нем соединялось все, кроме лишь самой простоты. Ему была чужда непосредственность. Однажды, произнося речь на митинге, он взмахнул рукой так сильно, что сорвалась и полетела в публику манжета. Зал зааплодировал этому бурному проявлению чувств. Впоследствии мне привелось быть свидетелем, как перед выступлением заранее отстегивалась от рукава рубашки манжета. Но все-таки, даже зная заранее, что эффект обдуман и подготовлен, я, когда снова увидел манжету, летящую в первые ряды слушателей, был под впечатлением непосредственности этого жеста: так хороша и актерски «искренна» была игра.

Владимир Ильич поручил мне отыскать моряков и, если они уже пришли, попросить их обождать.

Когда, выполнив это, я вошел в кабинет Вандервельде, я застал разговор обострившимся. Но если бы не знать или отвлечься от смысла того, о чем говорилось, можно было бы подумать, что идет обыкновенная спокойная беседа: так невозмутимо держались оба собеседника.

— Никаких компромиссных сделок ни искать, ни предлагать, ни обсуждать мы не будем,— говорил Владимир Ильич не торопясь, отчетливо, отрубая рукой такт и смотря прямо в лицо собеседнику,— никаких идейных уступок мы не сделаем.

Странно было, что Вандервельде кивал при этом головой в такт движению руки Ленина, как бы восхищаясь и одобряя. Это была его обычная манера, как он сам говорил, «поощрять собеседника быть самим собою».

Ленин продолжал:

— Поэтому нам совершенно не нужны никакие пред-

варительные закулисные стоворы ни с нашими противниками, ни с теми, кто взял на себя посредничество.

— И, значит, со мною?

— Да, и с вами, если вы видите вашу цель только в том, чтобы добиться от людей, стоящих за укрепление нашей партии и держащих курс на вторую революцию, и от людей, считающих революцию в России конченной, добиться от тех и других полюбовного принятия какой-нибудь формально единой бумажной резолюции.

— Простите, а какие методы предлагаете вы взамен так порицаемых вами деловых предварительных собеседований о практических возможностях единства?

Владимир Ильич сильно потер ладонью лоб. Я знал: это признак того, что Владимиром Ильичем начинает овладевать раздражение.

— Мы хотим открытого изложения всей суммы своих взглядов всеми заинтересованными сторонами, чтобы каждая сторона отвечала за свои взгляды перед рабочим классом. Наши условия объединения мы, посоветовавшись с нашими организациями, сформулируем со всей отчетливостью и прямоотой.

— Когда же именно?

— Когда вы назначите открытый обмен мнениями между всеми течениями, как это предусмотрено лондонским постановлением.

— Словом, вы хотите турнира мнений. Не так ли? Для обострения разногласий? Не правда ли? Но это была бы забава сектантов. Не так ли?

Владимир Ильич посмотрел на Вандервельде так, как будто он взвешивал его на ладони. Ленин снова потер лоб и на мгновение закрыл ладонью глаза. Но внешне он сохранил полное спокойствие, и взгляд его был окрашен насмешливой улыбкой. Вандервельде поправился:

— Говоря о сектантах, я никого не имел в виду лично. Сектантство — удел всех отсталых рабочих движений. А Россия — все-таки страна отсталая.

Однажды на дальней прогулке, когда все обо всем было переговорено, я пожаловался, как бывает горько иногда в разговорах с иностранцами признавать Россию отсталой, как тяжело слушать об ее язвах. Владимир Ильич отозвался:

— Это вы что-то неожиданное сейчас сказали. Это вы сказали хорошо. Помните, может быть, у Некрасова:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

После этих слов мы оба шли долго молча. И вдруг Владимир Ильич сказал как будто вне всякой связи с предыдущим разговором:

— Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Плохо знаете? Широка! Необъятная ширь... Так широка...— Он остановился и помолчал, не то подыскивая слово — а этого с ним не бывало, чтобы он подыскивал слова в разговоре: они находились у него сами собой,— не то задумавшись о чем-то ином, не касающемся разговора.— Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке, далеко, очень далеко уезжали... и над рекой, бывало, стелется неизвестно откуда песня... И песни же у нас в России! — Снова помолчал немного.— А какой пролетариат! Где еще найдутся в другой стране такие рабочие, как наши русские! А какие имена знает наша история, девятнадцатый век хотя бы! Ну, извините, нам нет оснований голову вешать.

Вандервельде, сказав об отсталости России и о сектантстве, очевидно, ждал от Ленина гневной вспышки. Но Владимир Ильич только усмехнулся. Ему хорошо была известна ограниченность реформистов типа Вандервельде.

И в этой усмешке без слов было так много превосходства над чванливым самодовольством Вандервельде, что тот сейчас же переменял тему разговора. Не он один, многие, случалось, пасовали перед насмешливым взглядом прищуренных глаз Владимира Ильича.

— Итак? На чем же мы резюмируем? — спросил Вандервельде.

— Итак, я откланяюсь,— сказал Владимир Ильич,— если у вас нет больше вопросов.

— А какой же вы сделаете прогноз относительно объединения?

— Это решится в зависимости от реальной силы наших рабочих организаций.

— Значит, вы предпочитаете апеллировать к силе, а не к праву?

— Простите, это не больше как пустая игра словами. Наша сила только в том, что рабочие доверяют нам и разделяют наши взгляды.

— Не ошибаетесь ли вы? Так ли вы сильны?

— Мы были бы очень рады, если бы вы это проверили и на месте убедились. Отчего бы вам не поехать, например, в Петербург?.. Нелегальные организации посетить, разумеется, нельзя. Но наши противники и не оспаривают нашего абсолютного преобладания в подполье. Они хвалятся лишь своим влиянием в легальном движении. Поезжайте, ознакомьтесь с легальными организациями, поговорите с рабочими. Я убежден, если вы пожелаете, наши друзья в России охотно...

Вандервельде перебил:

— Скрестят со мной шпаги, хотите вы сказать?

— А разве вы заранее готовитесь спорить с нашими рабочими?

— Но вы, очевидно, бросаете мне вызов?

— Называйте как угодно, но рискните поехать и стать лицом к лицу с фактами, как они есть, а не как их изображают фракционные нашептыватели.

Свидание с матросами было коротко. Матросы пришли вдвоем: один совсем молодой, другой пожилой. Молодой, по фамилии Слякмельдер, пылал возбуждением. Его увлекало затеянное дело своей необычностью. Он спешил сказать русским товарищам как можно больше о себе, но слушал рассеянно то, что говорилось ему о деле. Пожилой же матрос слушал внимательно, курил, не вынимая трубки изо рта, молчал и был непроницаем и недвижим и, только когда речь заходила о практических деталях, прикладывал ладонь трубочкой к уху. А каждый раз, как наступала пауза в разговоре, он опоражнивал рюмку с голландской водкой и глазами указывал молодому, чтоб тот наливал еще. Закусывал он сильной затыжкой из трубки.

Слякмельдеру казалось, что он очень выручает русскую революцию и что ее успехи в будущем в некоторой степени будут зависеть от него. Он сразу взял со своими русскими собеседниками покровительственный тон. Он даже не прочь был их кое-чему поучить: когда-то он читал на английском языке роман об итальянских карбонариях и немало вычитал там о разных конспиративных уловках.

Поучения и покровительство Слякмельдера очень сердили меня. Больше же всего я был недоволен собой: как же это я мог так неосмотрительно выбрать и представить для выполнения серьезного конспиративного дела такого фантазера и говоруна! Я тут же постарался «поставить на место» молодого моряка. Владимир Ильич вначале не мешал ему. Но вдруг неожиданно повернул все иначе. Он рассказал кое-какие, только что полученные свежие новости из России. И из этого рассказа стало ясно, как трудно там делать то, что здесь, на родине Слякмельдера, делается рабочими организациями без усилий и просто. Это было сказано в подтверждение того, какое большое и значительное поручение берет на себя Слякмельдер в России. И это прозвучало как признание того горделивого чувства за свою роль в русской революции, которое в эти минуты наполняло бельгийского юношу-матроса. Слякмельдер взглянул на меня как победитель. Но к торжеству его сейчас же примешалась озабоченность. Владимир Ильич перешел к тому, что и как надо сделать. Он излагал это строго, пожалуй, даже с подчеркнутой суровостью, тут уж никаких снисхождений за хорошие намерения, а только деловая требовательность точного выполнения и дисциплины. Оказалось, что и карбонарии Слякмельдеру не в помощь, а приходилось слушать и соглашаться, что он русских условий не знает.

И, странное дело, Слякмельдер был в таком же восхищении от того, что его Ленин поучил, пожурил, как мальчика и новичка, как и от того, что одушевлявшие его высокие стремления и представления о своей роли были признаны законными. Его впечатления от этой встречи с русскими революционерами были разнородны и противоречивы, но они все сливались в одно чувство к Ленину — в чувство обожания. Расставаясь на улице, он стоял перед Лениным с непокрытой головой. А простившись, вернулся и снова еще раз крепко пожал руку Владимиру Ильичу.

— Вы сцепились, как молодые петухи,— сказал Владимир Ильич мне, смеясь,— а ведь это очень хорошо, если человек думает про свое маленькое дело, что от него зависит судьба революции. Но вообще-то вы хорошо подобрали людей, и старого и молодого. Очень хорошо. Только мы из осторожности дадим им для начала не очень серьезное поручение. Согласны?

До реферата оставалось часа два. Уже темнело, опускались серые, туманные сумерки. Решено было перед рефератом перекусить. Ленин предложил зайти снова в «Ватерлоо». Он предпочитал знакомые места. Возможно, потому, что знакомое отвлекало меньше от главных дум, чем новое.

От «Ватерлоо» до кафе «Золотой петух», где я снял зал для реферата, было недалеко. После ужина пошли пешком. Владимир Ильич дорогой молчал.

В «Золотом петухе» зал был уже полон. Собираться начали задолго до семи. Собрались съехавшиеся нелегально с разных концов Латвии делегаты Четвертого съезда латышской социал-демократии. Кроме них, были гости — представители разных течений из других частей российской партии. Делегаты жались ближе к входу в зал, откуда должен был появиться Ленин.

Некоторые делегаты прибыли в Брюссель за несколько часов, иные — за несколько минут до реферата. Ехали из-за конспирации разными маршрутами и в разные сроки.

Но смотр силам уже был сделан. Уже определилось, что на съезде большинство будет принадлежать большевикам. Однако большинство предположительно всего в один голос. Волнение в ожидании завтрашнего открытия съезда подошло к точке кипения. Встреча с Лениным и ленинский реферат накануне открытия съезда ожидалось, как разведка боем перед решающими сражениями. Напряжение в зале было так велико, что люди предпочитали не спорить друг с другом и держались молча.

Как только Владимир Ильич появился на площадке второго этажа, все бросились к нему. В глубине опустевшего зала остались только гости из ярых противников большевиков.

У самой лестницы высокий пожилой рабочий из Риги перехватил Ленина и обнял.

Владимир Ильич спросил, как здоровы дети, и назвал его детей по именам. И все кругом заулыбались и друг другу передавали: «Вот память, скажи пожалуйста!», «Вот человек, это действительно человек». И каждый считал нужным рассказать соседу — как будто сосед этого не видел, — как встретился Ленин с рижским делегатом, с которым семь лет не виделся, с самого Лондонского съезда российской партии.

За рижанином к Ленину потянулись другие делегаты. Многих, оказалось, он хорошо знал давно. Передавали

поклоны, вспоминали друзей, и все это торопясь, на ходу, обрывками фраз, но горячо.

Ленин стал весел, оживлен, много смеялся.

К трибуне надо было пройти через весь зал. Этот путь Ленин проходил в течение получаса. Каждый приезжий хотел перекинуться с ним приветствиями и что-то вспомнить из старых встреч.

И когда Ленин дошел до трибуны и все расселись по местам и наступила тишина, показалось, что многое из того, что должно быть решено на предстоящем завтра съезде, уже решилось.

— Слово для реферата по национальному вопросу принадлежит товарищу Ленину.

Владимир Ильич встал. Тогда вспомнили об аплодисментах. Аплодировали жарко.

Слышали ли вы его речи? Ленину надо было видеть, когда он говорил, и хотелось смотреть на него не отрываясь, пока продолжается его речь.

Привлечь и держать живым внимание слушателей стремится всякий, кто говорит с трибуны. Но Ленин был больше, чем оратор. Он безраздельно овладевал вашими мыслями, находил их, встречался с ними где-то у самого истока их зарождения. Он брал и обнажал самую первую, отправную логическую посылку. Затем как бы взвешивал ее на ладони и пускал в ход точный логический процесс, не сухой, а живой, богатый, разветвленный. Он толкал вашу мысль, давал ей направление сразу по многим разбегающимся, разнообразным тропам, но которые все вели к одной главной дороге, где вы следовали за ним. И было еще одно в его речи, это — бесстрашие перед фактами, какие бы они ни были. Он подводил вас к самой вершине, с дерзновением и бесстрашием предлагал взобраться на нее и найти реальное, истинное там, где другая, робкая мысль прячется за иллюзию.

Он развернул перед слушателями причины и обстановку усиливающихся национальных движений на Дальнем и Ближнем Востоке. Он перешел к анализу положения в многонациональной России. Могут ли русские передовые революционеры выкидывать из программы своей партии признание права на самоопределение национальностей, как предлагают некоторые противники большевиков, спрашивал Ленин и отвечал:

— Исторические конкретные особенности националь-

ного вопроса в России придают у нас особенную насущность признанию права наций на самоопределение в переживаемую эпоху.

— Правильно! — крикнул из первого ряда тот самый рижанин, который первым встретил Ленина на площадке лестницы. С самого начала реферата он сидел недвижим, не спуская глаз с Ленина и следя за каждым его словом, за каждым его движением.

— Правильно, — повторил он, повернувшись к сидящим позади него, как бы желая убедиться, что все они думают так же. — Именно сейчас это особенно насущно, важно.

— Верно! Правильно! — ответил зал.

Затем рижанин снова повернулся к Ленину и спросил:

— А в чем особенности положения национального вопроса в России?

Он спросил это так просто, как будто он один на один разговаривал с Лениным. Ленин ответил, не нарушая хода своей мысли:

— Россия — государство с единым национальным центром, великорусским. Великорусы занимают гигантскую сплошную территорию, достигая по численности приблизительно семьдесят миллионов человек.

В глубине зала вдруг вскочил меньшевик:

— Вот потому-то и не нужно говорить о самоопределении наций, а только об автономии.

В зале раздался смех... Меньшевик стерся в дальний уголок. Владимир Ильич продолжал:

— Создание самостоятельного и независимого национального государства остается пока в России привилегией одной только великорусской нации. Мы, великорусские пролетарии, — воскликнул он, — не защищаем никаких привилегий, не защищаем и этой привилегии.

Зал захлопал.

— Мы *воспитываем* массы в духе отрицания *государственных* привилегий какой бы то ни было нации. — Зал аплодировал еще сильнее. — Мы стоим за одинаковое право всех наций на свое национальное государство.

Аплодисменты слились в один сплошной гул, подобный радостному шуму водопада. Многие встали.

Владимир Ильич долго и терпеливо ждал. Он стоял, прикрыв ладонью лоб, и, казалось, призывал слушателей

сосредоточить свои мысли на еще более важном, что им предстоит сейчас услышать. Зал смолк.

— Однако,— продолжал Ленин,— суждено ли будет какой-либо данной нации составить самостоятельное государство, это зависит от тысячи факторов, неизвестных заранее.

Он разъяснил, что нельзя смешивать две различные вещи: одно дело — быть против насильственного удержания малой нации в крупном государственном объединении, другое дело — как целесообразней поступить в конкретном случае. Отделение может в определенных условиях означать для малой нации под видом независимости худшую кабалу со стороны хищных соседей и даже уничтожение и гибель.

А затем он перешел к перспективам и тактике рабочего движения.

— *При прочих равных условиях*,— сказал он,— сознательный пролетариат всегда будет отстаивать более крупное государство.

Почему? Потому, что централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству мира.

В повестке съезда не назначено было обсуждать то, о чем говорил Владимир Ильич. Но с первых же мыслей, которые он раскрыл перед слушателями, стало ясно, что это и есть основное для будущих решений съезда: единство латышей, единство всей Прибалтики с трудовым русским народом и всеми народами России в борьбе за общее для всех счастливое будущее, за уничтожение всякого рода национального неравноправия.

В зале было много ветеранов революции пятого года. У них живы были в памяти бои латышей в союзе с русскими рабочими против немецких баронов и царских жандармов.

Ленин до самых последних глубин исследовал перед своими слушателями истоки, где возникают причины, толкающие народы к братоубийственным столкновениям, и где рождаются ростки прочного, неделимого, не разрушимого никакими бурями союза и единства народов, населяющих Россию. В его словах звучала вера в русский народ, в его великую освободительную миссию. В его словах было глубокое уважение к народу. В его мысли чувствовался

полет истории и ее ничем неостановимое движение. Он видел на столетия вперед.

Ленин указал, что на всех этапах борьбы за братство народов, во время ли грядущих войн или передышки, при всех трудностях и превратностях борьбы всегда руководящей и направляющей силой, вдохновителем и организатором широчайших народных масс должна быть и обязательно будет партия, непоколебимо верная своим великим целям. И он призывал укреплять действительное, а не мнимое единство партии, оберегая ее ряды от колеблющихся и от изменников.

Владимир Ильич кончил. Зал аплодировал. И передо мной пронеслись все впечатления этого дня, от первой минуты встречи с Владимиром Ильичем до его реферата. И тревожные призраки приближающейся европейской войны, и острота выдвинувшейся на первый план национальной проблемы, и накал борьбы предателей всех мастей против единства партии, и нерешимость, колебания, трусливость лидеров II Интернационала — все это соединилось в мыслях в одно неразрывное целое, и все сливалось в призыве Ленина укреплять боевую мощь партии.

И в этих впечатлениях протекшего дня образ Ленина вставал одухотворенный одной нераздельной страстью и одной всепоглощающей мыслью.

После Владимира Ильича долго говорил бундовец, роясь в мелочах и прикрывая рассуждениями о технических деталях свой раздутый национализм. Ленин слушал терпеливо.

Затем поднялся где-то в углу, не пожелав пройти к трибуне, ничтожный резонер-меньшевик, обложивший свое выступление пухлой ватой ученых цитат. Паясничая, он сказал:

— Над тем, что Ленин написал о национальном вопросе, можно только смеяться. Самоопределение наций, как он его толкует, могло бы привести только к распаду такого многонационального целого, как Россия, на карликовые государства. Писать о прогрессивности крупного государства и работать над его раздроблением — это смешно и близоруко.

Сидя рядом, я видел, каким усилием воли сдерживает себя Владимир Ильич. Председатель призвал паясничавшего говоруна к порядку. Больше оппонентов не оказалось.

— Теперь вам, Владимир Ильич, заключительное слово.

Ленин встал. Мне видно было, как он раздражен.

— Я отвечу подробно бундовскому оппоненту, — начал Владимир Ильич тихо, спокойным голосом. Затем сделал паузу, как будто ему тяжело дышать. И вдруг на весь зал раздраженно бросил: — А на мальчишеский вздор отвечать не считаю нужным. — Затем перешел снова к спокойному разбору сделанных ему возражений.

Делегаты съезда не хотели расставаться с Владимиром Ильичем.

Снова понадобилось долгое время, чтобы пройти небольшое расстояние между трибуной и выходом из зала к лестнице. Внизу, в гардеробе, Ленину опять жали руки, желали доброй ночи, интересовались, будет ли он выступать утром на съезде.

На улице, у подъезда, снова длительное расставание. Наконец все простились, все разошлись.

Владимир Ильич и я зашагали к месту ночлега. Улица была пустынна, беззвучна. На небе за дымкой висела потускневшая усталая луна. Шли молча. Я не решался говорить, но чувствовал по шагам, что Владимир Ильич раздражен.

И вдруг Ленин останавливается и поворачивается ко мне:

— А что ты написал?

От неожиданности и резкости, с какой был задан вопрос, я тоже сразу остановился. Ленин еще раздраженней и еще громче повторяет:

— Что ты написал? Что? Ну, скажи, что? Ни черта ты не написал.

Я похолодел: в чем же дело? Что произошло? Да и Владимир Ильич никогда не говорил мне «ты».

А Ленин продолжал:

— Говоришь, Ленин написал такое, над чем можно только смеяться. А что ты написал?

Кровь, отхлынувшая было, снова прилила к щекам моим: ах, вот о ком и о чем идет речь! Не обо мне, а о меньшевике.

— Говоришь, рассыплется на карликовые государства? Да уж обязательно будут сволочи работать, чтобы рассыпалось. Но оно будет стоять нерушимо.

И снова пошли молча. Дальше я повел Владимира Ильича по улице, где жил рабочий бедный люд.

В глубине улицы нам пришлось перед одним домом замедлить шаги — так была плотна толпа на тротуарах. В толпе было двое-трое полицейских. Они приглашали толпу не стоять, а проходить. И действительно, люди не стояли, а все время двигались. Но дойдут до одного угла дома и назад идут медленно к другому концу и так прохаживаются перед домом: стоять запрещается, а ходить по тротуару дозволено. Со второго же этажа непрерывно лился голос оратора, стоявшего у открытого окна.

— Что это за штука? — спросил Владимир Ильич.

— А это анархистский митинг. У них нет денег на то, чтобы снять зал. На улице же митинги не разрешаются. Хотите, взглянем немного.

— Пойдемте. Это курьез, а не характерность.

И снова пошли молча. Я спросил себя: сколько же прошло времени с выходки меньшевика?.. Ведь было заключительное спокойное слово Владимира Ильича; потом он шел по залу, потом задержались в вестибюле, потом прощание у подъезда. Какой же силы чудесный гнев!

В следующие дни был съезд. С самого раннего утра и до поздней ночи время у Владимира Ильича было поглощено пленарными заседаниями и работами комиссий.

Как только закончился съезд, Владимир Ильич собрался немедленно уезжать. Намеченные дела в Брюсселе были сделаны. Он уезжал не в Париж, а в Краков¹, куда переселился из Парижа, чтобы быть ближе к России: отсюда ему было удобнее повседневно руководить «Правдой» и растущим революционным рабочим движением.

После заключительного заседания съезда, поужинав, отправились на квартиру ко мне, чтобы взять маленький кожаный саквояж, затем ехать на вокзал.

¹ До возвращения в Краков В. И. Ленин прочитал в Льеже и Лейпциге рефераты на тему «Национальный вопрос». — *Ред.*

Как и в вечер реферата, улица была недвижима, тиха. И Владимир Ильич шел так же, как тогда, долго не говоря ни слова. Казалось, продолжается тот же вечер. Но только Владимир Ильич был не возбужденный, а усталый.

— А что все-таки с вами? И скажите, отчего я в этот приезд ни разу не встретил дочь мадам ван Зеттер? Где Жанна? Уехала куда-нибудь?

— Разве я сторож Жанны, Владимир Ильич? Да и не будем об этом говорить. Это не стоит вашего внимания, Владимир Ильич.

У подъезда нам звонить не пришлось: дверь была открыта. Жанна и ее мать провожали уходившего гостя. Когда поднялись наверх в мою комнату, я сказал:

— Ну, вот вы и встретили Жанну. Это с ней был ее жених: она выходит замуж.

Я стал искать спички, чтобы зажечь газовую лампу. И вдруг у меня вырвалось:

— Как бы я хотел убежать отсюда, чтобы ничего не видеть, ни о чем не слышать!

Владимир Ильич никак на это не отозвался.

Раскрыв чемодан, он сказал:

— Не опоздать бы к поезду. Вы идите-ка, расплатитесь за меня с хозяйкой, а я приготовлю саквояж. А чтоб не терять времени, вы не поднимайтесь обратно сюда; я погашу газ, закрою комнату, и мы сойдемся вниз.

Обыкновенно перед отъездом Владимир Ильич оставлял мне точные поручения. На этот раз никаких поручений не было. Я встревожился: отчего бы это нет поручений? Может быть, Владимир Ильич чем-то недоволен?

На вокзале перед самым отходом поезда я решил спросить о поручениях. Владимир Ильич сделал вид, что не слышал.

Поезд отошел. Я остался на платформе и долго смотрел вслед последнему вагону.

Войдя к себе в комнату и зажегши свет, я увидел среди стола записку. На записке лежали деньги.

Что это такое? Это почерк Владимира Ильича. Я взял записку, удивленный, зачем она, откуда она, ведь только сейчас расстались.

— Вам надо уехать отсюда,— писал Владимир Ильич. Слово «надо» было подчеркнуто два раза резко, энергично, как обычно делывал Владимир Ильич.— Поезжайте немедленно к семье Инессы Арманд, они уехали на западное побережье в Сен-Жан-де-Мон. Рассейтесь там, отдохните. Я телеграфирую о вашем приезде. Зная, что у вас, как всегда, нет денег, оставляю вам двести франков,— а за подписью еще приписка, сделанная почерком помельче, так как на бумажке оставалось мало места:— И советую вам утопить ваши неприятности в океане.

События пошли, как их предвидел Ленин.

Вандервельде не мог не принять вызова, который был ему сделан. В начале лета он отправился в Петербург. То, что он увидел там, открыло ему, как сильны большевики в русском рабочем движении. Эти факты заставили Вандервельде быть осторожней. На Брюссельском «объединительном» совещании, созванном Интернационалом за две недели до начала войны для объединения всех течений российской социал-демократии, он уже не говорил о большевистской непримиримости, как показателе отсталости русского рабочего движения.

В июле 1914 года, когда война готова была вспыхнуть, Вандервельде созвал Международное социалистическое бюро, чтобы поговорить «о предотвращении войны». Владимир Ильич не приехал в Брюссель. В эти кризисные дни он оставался ближе к границам России.

После заседания Бюро собрался многочисленный митинг в Королевском цирке.

Первым выступил Гаазе. «Германская социал-демократия, когда наступит непосредственная угроза войны, не остановится перед применением самых крайних средств»,— провозгласил немецкий депутат. Зал зааплодировал.

Гаазе, подняв руку, водворил спокойствие, выдержал паузу и в наступившей вдруг напряженной тишине пояснил: «...да, самых крайних средств вплоть до всеобщей стачки». Ему рукоплескали как спасителю от войны.

Кто же знал, что через несколько дней тот же Гаазе прочтет в немецком рейхстаге декларацию о том, что германская социал-демократия будет голосовать за кредиты на войну. Гаазе оправдал характеристику, данную ему Лениным.

— Как сложатся дела в России, что думает об этом товарищ Ленин? — спросил меня Жорес перед своим выходом на трибуну. Жорес был в глубоком раздумье. В глубоком раздумье он уехал из Брюсселя в эту ночь, а на другой день вечером был убит провокаторской пулей.

— Где же Ленин? Почему не приехал Ленин? — осаждали меня вопросами члены Международного социалистического бюро.

— Вы, конечно, осведомлены, где сейчас Ленин? Вы не попытались бы телеграфировать ему, что его приезд крайне желателен, — сказал мне Вандервельде, — нам нужно знать, что будет теперь в России. Кто скажет нам об этом?

— У вас сейчас на Бюро немало гостей из представителей различных течений русской социал-демократии, — ответил я.

— Вы издеваетесь. Это же нули. Кто за ними идет в России? Я это знаю. Недаром же я ездил в Россию. Только один Ленин мог бы сейчас сказать нам, какую действительно позицию займет русский рабочий класс. Просите его приехать.

— Не могу просить его об этом. Ленин не прервет сейчас ни на один день своей связи с русским движением.

*«Воспоминания о В. И. Ленине»,
т. 3, Госполитиздат, М. 1961,
стр. 115—143.*

Из воспоминаний о В. И. Ленине

В Цюрих я приехала 1 марта 1915 года, тотчас по освобождению из тюрьмы в Берлине, где сидела ва... Но это другая, притом длинная история, и ее здесь рассказывать не стоит. Она имеет лишь очень косвенное отношение к тому, к чему я здесь с волнением и робостью хочу вернуться в воспоминаниях.

Да, с робостью. Потому что — боже мой! — какими крохами могу поделиться я с читателем. Но речь идет о Ленине, о некоторых эпизодах из его жизни, которым почти не осталось живых свидетелей, и я решаюсь рассказать то немногое, что я о нем знаю. Ведь каждая деталь, каждая мелкая подробность его жизни, каждый штрих есть драгоценное достояние истории.

Впервые я увидела Владимира Ильича Ленина в фойе цюрихского оперного театра, на представлении вагнеровских «Валькирий». Меня тут же и познакомил с ним Владислав Германович Краевский, член Польской социал-

демократической партии, профессиональный революционер. Краевский был большой поклонник Вагнера. Последнего в то время среди знатоков музыки было принято бранить, и меня поразило тот серьезный и уважительный интерес, с которым Ленин, страстно любивший Бетховена, разговаривал с Краевским о произведениях Вагнера, расспрашивал его о некоторых особенностях творчества этого композитора.

После этого я несколько раз слышала выступления Владимира Ильича на собраниях, — выступления, которые совершенно меня захватили. Познакомилась и с Надеждой Константиновной Крупской, с которой мне довелось работать в Союзе помощи заключенным.

Но вот в 1916 году в Цюрих из австрийской крепости Куфштейн прибыл член партии с 1908 года Григорий Александрович Усиевич, с которым мы быстро сдружились. Гриша Усиевич, как его многие называли, несмотря на свой молодой возраст (ему уже в Цюрихе исполнилось двадцать шесть лет), был закаленным большевиком, членом питерского комитета партии, судился, сидел, был сослан в Сибирь, бежал оттуда перед самой мировой войной и угодил в австрийскую крепость. Как говорится, из огня да в полымя.

Владимир Ильич заинтересовался Усиевичем, которого знал по некоторым опубликованным работам, и скоро очень привязался к нему; через Усиевича ближе познакомилась с Владимиром Ильичем и я. Начались долгие прогулки вдоль Цюрихского озера с длинными беседами, преимущественно, конечно, на политические темы.

В этот период знакомства мне приходилось бывать на квартире Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Мы все в то время жили очень скромно, чрезвычайно скромно, заработки были редки и ничтожны; приходилось считать каждую копейку. Однако скромность жизни Владимира Ильича и Надежды Константиновны поражала даже нас, выделялась даже на фоне нашего скромного существования. Мы, по крайней мере, жили в новых районах города, где было много зелени, садов. Жили, правда, в мансардах, но это были чистенькие, уютные мансарды, с цветами в ящиках на подоконниках, с чистым воздухом. А Владимир Ильич, чтобы не терять ни минуты времени, искал квартиру поближе к городской библиотеке-читальне,

а она помещалась в старом городе с узкими, лишенными зелени улицами, душными и темными.

В комнате, которую они с Надеждой Константиновной снимали в семье рабочего, поддерживалась безупречная чистота. Но мебелировка была до того скудна, что комната напоминала тюремную камеру. Две узкие кровати, простой стол, ни кушетки, ни даже какого-нибудь кресла. Питались Владимир Ильич с Надеждой Константиновной тоже чрезвычайно скудно. Дешевый обед в эмигрантской столовой, утром и вечером — чай с какой-нибудь недорогой колбасой.

Это была жизнь аскета. А между тем ничего не было так чуждо характеру Владимира Ильича, как аскетизм. Он был крепкий, веселый и жизнерадостный человек, страстно любящий жизнь. Ильич был чрезвычайно общителен, полон живого интереса к людям, впечатлителен и, я бы сказала, даже смешлив. Во всяком случае, смеялся он часто и заразительно. Иной раз мне в то время даже и понять было трудно, что кажется Ильичу таким невыразимо комичным в выступлении того или иного меньшевика или другого «научного марксиста», как пышно именовали себя всяческие оппортунисты и ревизионисты. А между тем Владимир Ильич смеялся от всей души, как-то по-детски самозабвенно, откинув голову, и иногда даже хлопал себя по затылку, слушая иного путаника.

Читал Владимир Ильич чрезвычайно много, можно бы даже сказать, неправдоподобно много, если не знать одну особенность чтения Ленина. Когда я впервые увидела, как читает Владимир Ильич, мне показалось, что он просто перелистывает книгу, поверхностно просматривая ее содержание. Но потом он заговорил об этой книге, и оказалось, что он досконально освоил, прямо-таки проштудировал прочитанное. Мне это показалось чудом. Но впоследствии я узнала, что Ильичу свойственно так называемое «партитурное чтение»: в то время как обычный читатель охватывает зрением одну-две строки, в лучшем случае целое предложение, при партитурном чтении в поле зрения читающего попадает сразу полстраницы, а то и страница.

Впоследствии мне случалось, хотя и очень редко, встречать людей, наделенных такой особенностью зрения. У них уже через час-два чтения обычно начиналась невыносимая головная боль. Мозг не в состоянии был переработать того, что передавало ему зрение. Нужен был мощный

воспринимающий аппарат Ильича, чтобы сразу усваивать и перерабатывать таким образом прочитанное.

Конечно, когда литератор говорит о том, как читал Ильич, то от него ждут рассказа о том, что читал в то время Ленин из художественной литературы, что говорил о прочитанном. Но вот как раз тут я и не могу поделиться ничем толковым. Прямых разговоров Ленина о художественной литературе я не слышала, хотя из множества отдельных словечек, цитат, шуток видела, что он ее прекрасно знает и любит. Его упоминания о литературе, о музыке, живописи были всегда чрезвычайно осторожны, скромны, он не считал себя специалистом в этой области. А между тем его тонкий и точный вкус во всех областях искусства, полное соответствие литературных взглядов его общему мировоззрению, сам метод его подхода к искусству делали его мнение неизмеримо более ценным, основополагающим, нежели мнение других, даже наиболее компетентных в этой области марксистов, как, скажем, Г. В. Плеханов или А. В. Луначарский, человек огромного таланта и прямо-таки энциклопедической образованности. Что уж говорить о других.

Осенью 1916 года нам с Григорием Александровичем пришлось уехать из Цюриха в Кларан. Кларан — это модный курорт на берегу Женевского озера. Там находилась знаменитая русская библиотека Н. А. Рубакина, в которую он пригласил нас работать.

Разумеется, жить в самом Кларане нам было не по средствам, мы поселились высоко над ним, в настоящем орлином гнезде, на высокой горе. Балкон домика, где мы жили, висел высоко над поросшим виноградником склоном горы, спускавшимся к озеру, за которым сияли снежные вершины Дандю Миди. С другой стороны из окна нашей квартирки виднелся расположенный на другой горе старинный замок Шателяр. В Кларане жила Инесса Арманд, в трех четвертях часа ходьбы в Сен-Лежье под Веве, — Анатолий Васильевич Луначарский, в Божии — Александр Антонович Трояновский.

Теплая, многоснежная швейцарская зима оканчивалась. Как-то раз, под вечер, когда в зеркальные окна библиотеки Рубакина виднелись горящие на темнеющем небе, как раскаленные угли, вершушки Альп и все комнаты наполнились их розоватыми отблесками, из кабинета Николая

Александровича Рубакина раздался его полузадушенный голос: «Все ко мне!» Мы кинулись, не зная, что подумать.

Лежа в кресле, прерывающимся от волнения голосом он сообщил нам, что из Лозанны ему позвонили по телефону о революции в России, об отречении Николая Романова, о том, что народ вышел на улицы, создано Временное правительство.

В этот вечер мы долго не могли разойтись по домам, а вернувшись домой — уснуть. Совершилось то, ради чего жил, боролся и погибал цвет нескольких поколений в России. И вот в такой-то момент нет в России Владимира Ильича Ленина — единственного, кто (в этом мы прекрасно отдавали себе отчет) мог повести восставшие массы по правильному пути. Ведь борьба только начиналась. В Советах верховодили соглашатели. Власть явно попала в руки буржуазии, ловко укрывавшейся за фигурой позирующего на первом плане «министра революционной театральности», как окрестил Керенского Ленин после первых же сообщений из России.

Потянулись недели мучительных метаний в поисках выхода. Мы знали, что каждый день из Франции, из Скандинавии и других стран уезжали в Россию меньшевики, эсеры и прочие социал-оборонцы, стоявшие за войну «до победного конца», за поддержку в войне отечественной империалистической буржуазии. Но нам пути в Россию не было. Англия и Франция, через которые надо было бы кружным путем ехать, разумеется, были прямо заинтересованы в том, чтобы Ленин и большевики, позиции которых им были хорошо известны, не попали в Россию. Прямо заинтересовано в том, чтобы не впустить нас в Россию, было и Временное правительство.

...Вскоре нам стало известно о разосланной министерством Временного правительства своим посольствам за границей циркулярной телеграмме:

«При выдаче паспортов эмигрантам, можете руководствоваться засвидетельствованием их военной благонадежности другими достойными эмигрантами или комитетами, образованными на основании нашей телеграммы».

Разумеется, свидетельствовать перед капиталистами «военную благонадежность» тех, кто призывал народ не воевать за их интересы, никто из «достойных» не рвался, да об этом никто из большевиков и просить бы не стал. И уж конечно, Ленин был явно «военно неблагонадежен».

Приходилось искать какого-то другого пути, минуя страны Антанты. Но где он был, этот путь?

В воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской подробно рассказано, как метался в поисках выхода Ленин, до каких проектов он не доходил, вплоть до предложения проехать через Германию под видом «глухонемого шведа». Конечно, этот полушутливый проект был просто плодом безнадежности и многих бессонных ночей. Но ясно было одно. Иного пути, как путь через Германию, не было. Однако как проехать через эту, воюющую с Россией страну так, чтобы не дать возможности ни по ту, ни по другую сторону фронта заподозрить нас в сочувствии германской воюющей группе? И вот начались переговоры, которые нам казались бесконечными.

Ежедневно, по окончании рабочего дня, мы заходили пить чай к Инессе или захватывали ее на чай в свое орлиное гнездо и обменивались сведениями, новостями о том, как подвигаются переговоры, которые вел по уполномочию Ленина революционный швейцарский социал-демократ Фридрих Платтен, депутат швейцарского парламента, с германским посольством о проезде через Германию русских эмигрантов.

Разумеется, Владимир Ильич отдавал себе отчет в том, какой вой поднимут буржуазия и ее подпевалы из меньшевиков и эсеров, как они будут пытаться использовать проезд большевиков через Германию, чтобы ввести в заблуждение и оттолкнуть от них массы.

Поэтому все переговоры велись с максимальной открытостью, публично, с максимальным привлечением внимания всех интернационалистски настроенных заграничных слоев. Таким образом, свой проезд через Германию Ленин согласовал с рядом западных интернационалистов, которые вынесли по этому вопросу следующее решение:

«Нижеподписавшиеся осведомлены о затруднениях, чинимых правительствами Антанты к отъезду русских интернационалистов, и о тех условиях, какие приняты германским правительством для проезда их через Германию. Они отдают себе полный отчет в том, что германское правительство разрешает проезд русских интернационалистов только для того, чтобы тем самым усилить в России движение против войны. Нижеподписавшиеся заявляют:

Русские интернационалисты, во все время войны неустанно и всеми силами боровшиеся против всех империа-

лизмов, и в особенности против германского, возвращаются в Россию, чтобы работать на пользу революции; этим своим действием они помогут пролетариату всех стран, и в частности пролетариату Германии и Австрии, начать свою борьбу против своего правительства. Пример, подаваемый героической борьбой русского пролетариата, является лучшим и сильнейшим стимулом к подобной борьбе. Из всех этих соображений, нижеподписавшиеся интернационалисты Швейцарии, Франции, Германии, Польши, Швеции и Норвегии находят, что их русские товарищи не только вправе, но даже обязаны использовать предлагаемую им возможность возвращения в Россию».

Такая документация предстоявшего путешествия была совершенно необходима, как мы уже говорили. Однако такого рода публичность требовала времени, и шли недели за неделей, а у Владимира Ильича, как и у нас, земля так и горела под ногами. Наконец было выработано соглашение с германскими представителями, по которому:

1) пропуск давался всем эмигрантам, независимо от их отношения к войне;

2) вагон эмигрантов не подвергался обыску, контролю или проверке;

3) эмигранты по прибытии в Россию обязуются агитировать за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских военнопленных.

И вот, в один прекрасный день, когда я была одна дома, на лестнице послышались торопливые шаги мужа, перескакивающего сразу через три ступеньки.

— Собирайся, через полтора часа выезжаем в Берн. Ильич уже там. Завтра едем в Россию.

На станции Кларан мы встретились с Инессой и к вечеру очутились в гостинице бернского «Фольксхауза» — Народного дома. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной были уже здесь. Собрались и другие товарищи, съехавшиеся из Цюриха, Лозанны, Женевы, из всех уголков Швейцарии. Шли последние совещания перед поездкой, составлялись еще какие-то документы — насколько мне память не изменяет, обращение к швейцарским рабочим, еще что-то¹.

¹ См. «Прощальное письмо к швейцарским рабочим» и «Товарищам, томящимся в плену». — В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 31, стр. 60—66 и 87—94. — *Ред.*

Кроме того, все мы, едущие, должны были поставить свои подписи под следующим документом:

«Я подтверждаю:

1) что переговоры, которые велись Платтенем с германским посольством, мне сообщены;

2) что я подчиняюсь всем распоряжениям руководителя поездки Платтена;

3) что мне известно сообщение «Пти Паризьен» о том, что русское Временное правительство проезжающих через Германию угрожает объявить государственными изменниками;

4) что всю политическую ответственность за эту поездку я беру исключительно на себя;

5) что мне поездка моя гарантирована Платтенем только до Стокгольма».

Все это продолжалось до поздней ночи. А рано утром мы сели в предоставленный нам вагон «микст», то есть наполовину жесткий, наполовину мягкий, в котором нам предстояло ехать до Швеции, где уже можно было следовать в обычном порядке. Мы сели в этот пресловутый вагон, о котором было создано столько легенд, в частности смешная побасенка «о запломбированном вагоне», в коем якобы были ввезены в Россию Ленин и его спутники. Единственным «основанием» для такой легенды послужило то обстоятельство, что, по договоренности Платтена с германским посольством, при проезде через Германию никто из немцев не имел права входить в наш вагон, равно как и мы обязывались не выходить из него. Таким образом, мы ехали на основах полной экстерриториальности. Вагон, в котором мы следовали, считался как бы клочком швейцарской территории. Насколько я помню, даже обслуживающего персонала, даже проводника при вагоне не было.

Подойдя к швейцарско-германской границе, наш поезд остановился на совсем пустынной станции — ни других поездов, ни публики. Наш вагон отцепили, чтобы прицепить его к другому поезду, но прежде была проделана церемония приема нас, заключающаяся в том, что каждый из нас выходил с задней площадки вагона, держа в руках клочок бумаги с начертанным на нем порядковым номером: первый, второй, третий — и так все тридцать. Показав этот клочок, мы входили в свой вагон с передней площадки. Никаких документов никто не спрашивал, ни-

каких вопросов не задавал. Этим вся церемония и ограничивалась.

Правда, немецкие власти, желая, очевидно, показать едущим в Россию русским, что к концу третьего года войны у них еще есть неисчерпаемые запасы продовольствия, распорядились, чтобы нам подан был ужин. Худенькие, изжелта-бледные, прямо-таки прозрачные девушки в кружевных наколках и передничках разносили на тарелках огромные свиные отбивные с картофельным салатом. Но ведь мы знали и из газет, и из сообщений изредка приезжавших в Швейцарию из Германии людей, как голодает немецкий народ, до какой степени физического истощения он доведен. Да и достаточно было взглянуть на дрожавшие от голода руки девушек, протягивавших нам тарелки, на то, как они старательно отводили глаза от еды, на их страдальческие лица, чтобы убедиться, что давно уже в Германии не видят ничего подобного. Запас провизии мы забрали с собой из Швейцарии на несколько дней. И мы совали в руки официанткам нетронутые тарелки с кушаньем. Пусть бедняжки хоть раз поедят досыта, пусть хоть раз уснут не на голодный желудок.

Все сношения с германскими железнодорожными властями велись через Платтена.

На больших станциях поезд наш останавливался преимущественно по ночам. Днем полиция отгоняла публику подальше, не давая ей подходить к вагону. Но поодаль народ все же собирался группами и днем и даже по ночам и жадно смотрел на наш вагон. Нам махали издали руками, показывая обложки юмористических журналов, с изображением свергнутого царя. Очевидно, эти истощенные до предела люди, с землистыми лицами, а таковы были в то время все виденные нами немцы, связывали с проездом через их страну русских революционеров затаенные надежды на скорый конец ужасающей бойни, на мир и отдых от непосильного трехлетнего напряжения.

Вот то немногое, что мы видели сквозь окна нашего «микста». В вагоне шла своя жизнь. Владимир Ильич большей частью сидел один или с кем-нибудь из более близких товарищей в своем купе, обсуждая план действий в России, или читая, обдумывая предстоящие статьи и выступления. Мы по своим купе тоже обсуждали положение в России, гадали, как нас встретят, вели бесконечные споры о том, решится ли Временное правительство

арестовать нас. Но большинство было настроено оптимистически. Рабочие не допустят ареста!

Иногда кто-нибудь вдруг пускался в ребяческие шалости, не лишённые, впрочем, некоторой дозы яда. Так, один из товарищей, учитывая некоторую склонность к революционной романтике многих из нас и нашу привязанность к Фрицу Платтену, такому надёжному, верному товарищу, такому заботливому другу¹, вдруг пустил по рукам «документ», в котором говорилось, что так как есть опасность, что Фридрих Платтен не будет впущен в Россию, то, мол, в этом случае ниже подписавшиеся обязуются также не въезжать до тех пор, пока не впустят Платтена. Мы читали этот «документ» один за другим и, не рассуждая (какие могут быть рассуждения, когда речь идет о благородном акте солидарности), подписывали. Уже с несколькими подписями документ дошел наконец до Владимира Ильича. Едва бросив на него взгляд, он спокойно спросил: «Какой идиот это писал?» И тут только мы, без всяких дальнейших объяснений, поняли, до чего это было глупо: ведь Временное правительство не то что не приглашало нас в Россию, а делало все, чтобы помешать нам туда попасть, а мы вдруг сделаем ему такой приятный сюрприз, что сами откажемся!

Иногда мы вдруг собирались по несколько человек, у кого голоса были получше и слух не слишком подводил, и шли в купе Владимира Ильича — «давать серенаду Ильичу». Для начала мы пели обычно «Скажи, о чем задумался, скажи, наш атаман». Ильич любил хоровое пение, и нас не всегда просили удалиться. Иногда он выходил к нам в коридор, и начиналось пение всех подряд любимых песен Ильича: «Нас венчали не в церкви», «Не плачьте над трупами павших бойцов» и так далее.

И снова и снова мне приходилось удивляться той необычайной простоте, скромности и естественности поведения, которые отличали Владимира Ильича. Никогда мне не приходилось видеть человека, до того естественного и простого в каждом своем слове, в каждом движении. Сам

¹ Наша всеобщая любовь и доверие к Платтену были впоследствии вполне оправданы жизнью. 5 января 1918 года Платтен собственным телом прикрыл Ленина от пули стрелявшего вслед его машине террориста. И сам уцелел лишь благодаря счастливой случайности. (Прим. автора.)

он, казалось, совершенно не чувствовал своей исключительности, не то чтобы дать ее почувствовать другим. Мы же знали, с каким необыкновенным человеком имеем дело, знали, что такие рождаются не каждое столетие. Понимали, что сопутствуем человеку, который призван стать во главе восставшего народа. И все-таки никто не чувствовал себя подавленным его личностью, даже смущения перед ним не испытывал. Он внушал лишь беспредельную любовь, с ним было радостно и счастливо. Человек чувствовал себя способным на гораздо большее, чем был способен до знакомства с ним, а главное, и сам становился проще, естественней.

Рисовка в присутствии Ильича была невозможна. Он не то чтобы обрывал человека или высмеивал его, а просто как-то сразу переставал тебя видеть, слышать, ты точно выпадал из поля его зрения, как только переставал говорить о том, что тебя действительно интересовало, а начинал позировать. И именно потому, что в его присутствии сам человек становился лучше и естественней, было так свободно и радостно с ним.

Впрочем, должна сказать, что был такой единственный момент в моей жизни, когда мне от присутствия Владимира Ильича не только не стало радостно, а даже наоборот. Дело было так. В вагоне, где мы ехали, недоставало нескольких спальных мест, и приходилось спать по очереди. И вот однажды, когда я в мою очередь бдения весело болтала с товарищами в коридоре, из своего купе вдруг вышел Владимир Ильич и потребовал, чтобы я шла спать, так как теперь-де его очередь бодрствовать. И тут уж никакие протесты, никакие мольбы и уговоры не помогли. Ильич не ушел. Разумеется, не пошла ложиться на его место и я. Однако и сидя в коридоре, я чувствовала себя достаточно смущенной.

Так прошло трехдневное путешествие по Германии. Но для нас эта дорога оказалась самой легкой ее частью, и именно потому, что в наш вагон никто не входил, сами мы не выходили и, таким образом, ни с кем посторонним не сталкивались.

Дело в том, что путешествие наше вызывало повышенный интерес в прессе и воюющих, и нейтральных стран. И вот, чтобы избежать всяческих кривотолков, пересудов

и газетных уток, было решено, что никто из нас, едущих, ни в какие объяснения с репортерами, корреспондентами, интервьюерами и прочее не вдается, ни на какие вопросы не отвечает. Все необходимые сведения о нашей поездке и дальнейших намерениях, все интервью дает один Владимир Ильич.

Во время путешествия по Германии не было ничего легче, как соблюдать это условие. Мы чувствовали себя свободно, как в одной из наших швейцарских квартирок. Но вот в Заснице наш поезд въехал в трюм огромного паромы, сами мы разместились по каютам и после четырехчасового путешествия очутились в шведском городе Мальмё, откуда уже в шведском вагоне направились в Стокгольм. И тут началось. Уже с раннего утра в наш вагон стали ломиться репортеры. Они врывались в двери вагона, вскакивали в окна. На каждого из нас набрасывалось по двое, по трое.

Строго выполняя решение не отвечать ни на какие вопросы, мы не говорили даже «да» и «нет», а лишь мотали головами и тыкали пальцами в направлении Ильича. Полагая, что мы не понимаем вопросов, представители прессы пытались заговаривать с нами на французском, немецком, английском, даже на итальянском языках. Нашлись, наконец, и такие, которые, справляясь со словарем, задавали вопросы на русском или польском языках. Мы мотали головами и тыкали пальцами в Ильича. Боюсь, что у западной прессы создалось впечатление, будто знаменитый Ленин путешествует в сопровождении глухонемых...

Нет, право, это был нелегкий путь. Наконец поезд прибыл в Стокгольм. Здесь Ленина встретил мэр города, левый социал-демократ, и несколько его товарищей, с которыми мы отправились в расположенную неподалеку довольно комфортабельную гостиницу. По дороге наше шествие с обоих тротуаров обстреливали фоторепортеры. Приученные годами к конспирации, да к тому же памятуя о заметке в «Пти Паризьен», где нам угрожали расправой, как с государственными изменниками, мы как могли отворачивались от объективов, и в результате в печати появилось, насколько мне известно, не очень много снимков, да и на тех мало кого можно было узнать.

Мы немного отдохнули: те, кто уж очень обносился за годы скитаний, купили кое-что в магазинах, а вечером мы

двинулись в дальнейший путь, теперь уже прямо к русской границе.

Ранним морозным утром мы высадились в маленьком рыбацьем городке Хапаранда и через несколько минут столпились на крылечке небольшого домика, где за гроши можно было получить чашку черного кофе, бутерброд. Но нам было не до еды. Перед нами простирался замерзший еще в это время года залив, а за ним — город Торнео, находящийся в пределах тогдашней России, и развевающийся на здании вокзала красный флаг. Да, вот он свободно и весело развевается в стране, где пролилось за него столько крови. Мы молчали от волнения, устремив на него глаза. Конечно, впереди еще борьба, еще много жертв, много всего, но все же, вот оно, развевается красное знамя, сзывая борцов. Россия, с которой мы столько времени разлучены, Россия, куда так мучительно рвались...

К крылечку подъехало десятка полтора саней с впряженными в них маленькими, мохнатыми лошадаками. Мы стали попарно рассаживаться, чтобы переехать через залив. Я вдруг вспомнила, что в чемодане у меня лежит маленький красный платочек с вышитым серебром на уголке названием швейцарской деревни «Champrey». Я достала его, привязала к взятой у мужа альпийской палке и сидела в санях, не сводя глаз с красного флага над вокзалом в Торнео и сжимая в руках свое самодельное знамя. В это время сани Владимира Ильича объезжали наши, чтобы стать впереди процессии. Владимир Ильич, не глядя, протянул руку, я вложила в нее свой флаг. Все сани сразу тронулись. Владимир Ильич высоко поднял над головой красный флаг, и через несколько минут, со звоном бубенчиков, с поднятым над головой Ленина маленьким флажком, мы въехали в Торнео.

На перроне каждого из нас окружила толпа рабочих, солдат, матросов, посыпались вопросы, ответы, разъяснения. С первой минуты и начался горячий, живой разговор. «Смотрите, дорвались!» — сказала мне Надежда Константиновна, кивая на несколько наших особенно горячих агитаторов, казалось забывших о том, что надо ехать дальше, отдаваясь счастьем общения с революционной массой.

Дальше мы ехали как в счастливом сне. В Белоострове рабочие прямо из вагона вынесли на руках Владимира Ильича к импровизированной трибуне. Митинг продол-

жался и в вагоне, где народ толпился около каждого из нас.

В Петроград мы приехали поздно ночью. На перроне был выстроен почетный караул матросов. Это ошеломило. Этого мы себе как-то не представляли. Ведь впервые войска организовано перешли на сторону народа: этого мы еще не видели никогда. Не помню, кто проводил Владимира Ильича и нас вслед за ним в царские комнаты Финляндского вокзала. Но там он, словно на неожиданную помеху, натолкнулся на пришедшего скрепя сердце встречать его одного из лидеров меньшевиков Чхеидзе¹, который тотчас начал свою «приветственную речь», сводившуюся, в сущности, к кисло-сладким комплиментам и назиданиям о том, что не должно нарушать «единство революционной нации», «омрачать ликование бескровной революции», и прочее в этом роде. Ильич не только не отвечал на это, он даже и не дослушал, кинувшись к группе рабочих, стоявших где-то позади Чхеидзе. Мгновение спустя толпа уже вынесла его на броневик на площади, и под темным низким небом Петрограда зазвучала речь Ленина.

Прямо оттуда — во дворец Кшесинской, где, несмотря на то что было уже около трех часов ночи, собрались питерские рабочие-большевики. Толпа стояла и под окнами дворца. И снова выступление Ленина перед замершей в напряженном внимании толпой.

А выйдя утром на улицу, мы увидели и приветствие буржуазии: стены главных улиц Питера были оклеены плакатами: «Ленина и компанию — обратно в Германию». Но, как говорится, «сие от нее не зависело». Питерский пролетариат сказал свое слово достаточно громко и внушительно.

Несколько дней спустя почти все мы разъехались по разным городам России, неся в массы ленинские идеи, призывая превращать войну империалистическую в войну гражданскую, выбивать власть из рук захватившей ее буржуазии. Мы с Г. Усиевичем уехали в Москву, где и встретили Октябрьскую революцию.

Впоследствии, уже после гибели моего мужа от рук белогвардейцев, мне еще не раз случалось видеть

¹ Н. С. Чхеидзе был председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.— *Ред.*

Владимира Ильича — на площадях Москвы и у него на квартире. И при этих встречах мне бросался в глаза все тот же скромный до бедности образ жизни человека, которому страна с радостью дала бы все, что у нее было самого лучшего и что он упорно отвергал, пока голодали миллионы рабочих и крестьян. Обо всем этом лучше и больше могут рассказать другие, те, кто в то время стоял несравненно ближе к нему, лучше знал все это. Я старалась говорить лишь о том, чему уже почти не осталось в живых свидетелей, могущих рассказать об этом лучше.

*«Новое время», 1958, № 16, стр.
3—8.*

Приезд Ленина

Кто из товарищей, кому довелось встречать Ленина, может забыть апрельскую ночь, привокзальную площадь, заполненную то возбужденно шумящей, то внезапно затихающей толпой рабочих, солдат, матросов, освещенную багровым колеблющимся светом дымных факелов и порой рассекаемую голубовато-белым лучом прожектора?

Во всем этом было и что-то торжественно-праздничное, и суровое, боевое, — словно народ давал клятву своему вождю в готовности бороться до победного конца.

Со всех сторон к Финляндскому вокзалу стекались толпы народа с красными знаменами, приветственными лозунгами. И от нашего завода большая делегация отправилась встречать Ленина.

Я забежал за женой. Мы упросили соседку присмотреть за детьми и, принарядившись, как на праздник, двинулись в толпе наших заводских друзей к Финляндскому вокзалу. Да ведь это и был праздник — грозный, боевой праздник народа, готового к борьбе за лучшую жизнь под

водительством своего любимого вождя, к которому в едином порыве стремились сердца всех собравшихся в эту ночь на привокзальной площади! Когда мы пришли, вся площадь была заполнена народом. Люди принесли сюда с собой все лучшее, все самое заветное, что хранили, берегли в своих сердцах, — свои думы и мечты, свои стремления, надежды, свою веру в будущее. Поэтому так строги и взволнованны были у людей лица, так блестели их глаза.

Хотелось бы, конечно, во всех подробностях восстановить в памяти эту ночь, но я просто не в силах этого сделать. Бывает так, что, принимая участие в каком-либо большом событии, в котором участвует много народу, ты словно растворяешься в массе, сливаешься с ней, утрачиваешь способность к индивидуальному восприятию происходящего, и в памяти остается общее для всех ощущение чего-то большого, могучего, целиком поглотившего тебя. Так бывало со мной во время рабочих демонстраций, так бывало в бою, так было и в ту памятную ночь у Финляндского вокзала.

Вот помню сдержанный слитный гул толпы, похожий на шум моря, помню темный купол неба, пляску багряных пятен света, блеск штыков и огненно-красный цвет знамен, когда они попадали в луч прожектора. И еще помню лицо молодого паренька с нашего завода, так вот и стоит оно перед глазами!

Этот паренек — звали его Андреем Вихровым — месяца два-три назад приехал из далекой деревни в город и поступил учеником на наш завод. Он всех дичился, держался в стороне от наших задорных молодых ребят. И вот теперь он стоял рядом со мной, взволнованно и даже несколько испуганно осматриваясь по сторонам. Потом, когда Андрей увидел Ленина, лицо паренька, худое, некрасивое, словно преобразилось: оно выражало такую пламенную веру в Ленина, такую глубокую к нему любовь, что стало поистине прекрасным в эту минуту. Андрей схватил меня за руку, крепко сжал ее.

— Ленин... Ленин... — взволнованно шептал он.

Мы увидели Ленина издали: он показался на ступенях вокзальной лестницы. По площади прокатился гул, словно тысячи человеческих грудей одновременно вздохнули радостно и облегченно. И тотчас загремело, загрохотало, перекатываясь из края в край, могучее, многоголосое «ура».

Казалось, от этого крика затрепетали тяжелые складки знамен и ярче вспыхнули факелы...

Вот он, человек, который учил нас жизни, борьбе, чей светлый разум, чье великое сердце было отдано нам, простым людям — рабочим, крестьянам, солдатам. Он стоит на броневике, обнажив голову, в полосе яркого света, бросаемого прожектором. Он начинает говорить. И тотчас наступает такая тишина, что слышны далекие гудки паровоза, лязганье буферов где-то на путях...

— Да здравствует социалистическая революция! — так заканчивает Ленин свою речь, обращенную к родному народу...

В ту ночь я не мог заснуть. Все стояла перед глазами ярко освещенная фигура Ленина, красные флаги вокруг него, казавшиеся в луче прожектора языками пламени. В ушах звучал его голос.

Ленин сказал нам: «Да здравствует социалистическая революция!»

Эти слова осветили нам путь дальнейшей борьбы. Бороться за социалистическую революцию, бороться за то, чтобы взять полностью и бесповоротно власть в свои руки, — вот что мы должны делать теперь!

Стоя на броневике, обращаясь к народу, Ленин в то же время говорил с каждым из нас — с каждым рабочим, солдатом, матросом. Он говорил и со мной... Может быть, впервые там, на площади Финляндского вокзала, я до конца понял величие и правду дела, которому посвятил жизнь. И я давал в душе клятву, что отныне все свои силы целиком, без остатка отдам борьбе за социалистическую революцию, к которой нас призывал Ленин.

Речь Ленина у Финляндского вокзала и его Апрельские тезисы были новым этапом в росте моего классового сознания. Я стал относиться к себе с большей требовательностью, вдумчивей и серьезней подходил к решению тех вопросов, с которыми мне случалось сталкиваться в жизни и на работе.

П. Игнатов, Жизнь простого человека, издательство «Художественная литература», 1965, стр. 243—246. Для данного издания текст заново просмотрен автором.



Ленин

Броневой дивизион в своем составе имел много рабочих — слесарей, токарей. Они образовали большевистские ячейки. Большевики были и на Петроградской стороне в мастерских. Оттуда пришел броневик, который встретил Ленина около Финляндского вокзала.

Наша команда, команда школы шоферов, благодаря влиянию вольноопределяющихся, была оборонческая, команда гаража в Михайловском манеже колебалась.

Ленин приехал в Михайловский манеж (теперь тут Зимний стадион). Это огромное помещение, слабо освещенное дневным светом с двух сторон, через окна, доходящие до пола; окна были сильно запылены. В помещении стояли броневики — двухбашенные «остины», однобашенные «ланчестеры», тяжелые пушечные «гарфорды» и другие машины. Мы все машины получали из-за границы, и единства вооружения у нас не было.

Сюда приехал Ленин. Это было 15 апреля 1917 года.

Спустили борта на одном из броневиков. Броневик был окружен людьми, которые положили локти на платформу. Люди смотрели на Ленина снизу вверх.

Я увидел невысокого, очень широкогрудого человека. Ленин снял шапку. Оказалось, он рыжеват и высоколоб.

Люди, которые пришли с Лениным, сняли с него пальто и вместе с пальто сняли пиджак. Я увидел богатырскую грудь Ленина, крепкие руки физически очень сильного человека.

Ленин надел пиджак и начал говорить о задачах революции. Говорил спокойно, воодушевляясь. Казалось, большая птица летит по ветру, как будто управляя этим ветром. У нас обыкновенно изображают великих людей несчастливыми, страдающими, переживающими трагические противоречия, как будто величие — тяжелая болезнь. Ленина я видел два раза в больших выступлениях.

Я видел: этот человек счастлив. Он знал, чего хотел, знал, что будет. День революции, который так долго ожидался, пришел. Люди, которые делают революцию, находятся перед Лениным. Люди охвачены революцией. Это их дело. Она делается для них. Им надо объяснить их собственные интересы. Им надо рассказать о них самих, об их завтрашнем дне: это для Ленина было наслаждением. Он говорил связно, просто: одна и та же мысль кругами возвращалась, все более и более спокойная и очевидная. Это было выступление против мирового капитализма, разъяснение того, что рабочие должны организоваться. Здесь не было никаких тайн между человеком, который говорил, и людьми, которые слушают. Человек добивался одного: чтобы его поняли.

Он двигался по платформе, обращаясь в разные стороны. Голос у него был высокий, слегка картавый, дикция ясна до предела. Я не знаю, уместно ли это говорить, но, пожалуй, скажу: для меня, для студента, в Ленине был виден еще другой человек — профессор. Закончив выступление, он сел на грузовик, с ним заговорила женщина, он встал и начал разговаривать с женщиной стоя, этого не заметив. Потом он что-то писал в маленькой записной книжке, поворачиваясь спиной к аудитории, и не стеснялся этого. Он был человеком на работе, я повторяю — птицей в воздухе. Это был очень счастливый и далеко видящий человек. Он был счастлив не сегодняшним днем, а завтрашним тысячелетием.

*В. Шкловский, Жили-были,
«Советский писатель», М. 1964,
стр. 116—117.*

Я слушаю Ленина

Я хочу закончить свои воспоминания рассказом о своей работе в большевистской печати в первые годы Октябрьской революции. Эта работа и связанные с нею незабываемые встречи озарили последний этап моего жизненного пути.

Много лет я была дружна с революционным студенчеством Горного института; у меня на квартире не однажды происходили студенческие собрания; я прятала прокламации; целый год у меня скрывался сподвижник лейтенанта Шмидта — матрос Фесенко.

Когда к вечеру 9 января возмущенные рабочие стали строить баррикады на Васильевском острове, я всем существом потянулась к ним — я была на баррикадах.

В конце 1905 года у меня на квартире составлялся первый номер большевистской газеты «Молодая Россия»; помню, что ближайшее участие принимали тогда М. Горький, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский. Номер газеты оказался единственным и конфискованным. Тем не менее я, к сожалению, прямого деятельного участия в революционном движении не принимала.

В 1917 году один знакомый студент-горняк Глеб Иванович Бокий предложил мне пойти послушать выступление Ленина на митинге в Морском корпусе.

Этот день определил мою дальнейшую дорогу.

Помню, как сейчас, все моменты знаменательного для меня вечера.

Люди тянутся гуськом по набережной Васильевского острова, возле старого здания Морского корпуса. Несколько месяцев назад сюда входили только чистенькие кадеты, лощеные гардемарины и элегантные морские офицеры: чтобы учиться в Морском корпусе, надо было быть непременно дворянином. Теперь сюда свободно шли рабочие, навсегда выставив дворянчиков из пожелтевшего здания.

Тщательная проверка пропусков. Кто? Зачем? От кого получили пропуск?

В огромном конференц-зале так тесно, что трудно шевельнуться. Воздух скоро делается тяжелым, густым: слабо светят в тумане человеческого дыхания огоньки люстр.

Я оглядываюсь; мне кажется, что я одна женщина-интеллигентка в массе рабочих... Я стараюсь освоиться, но вот внимание привлекает шум; толпа расступается; к трибуне идут два человека: один невысокий, плотный, коренастый, в кепке; у него маленькая рыжеватая бородка и слегка прищуренные глаза. Я успела рассмотреть, что глаза — зоркие и словно смеются, — Ленин. Другой — выше, с продолговатым лицом, блондин; говорит сильно на «о» — Н. И. Подвойский.

Ленин быстро, почти стремительно поднимается на трибуну. Гром аплодисментов.

Как ясно, как просто и убедительно говорит он, говорит о войне, о братании на фронте, и я ловлю себя на мысли: «Как же все люди не видят гнусных целей империалистической войны?» Перерыв. Ленину неистово аплодируют.

Вносят на руках обрубок человека — безногого солдата. Он протягивает георгиевский крест, единственную ценность, которую он может пожертвовать на фронтовую газету «Солдатская правда».

Сбор идет по всему залу. Вокруг инвалида группа, расспрашивающая его о фронте. По рукам ходят свежотпечатанные экземпляры «Солдатской правды». Гул веселый, бодрый гул. Около Подвойского толпа: он

разъясняет ленинский доклад, голос его раскатывается своим округлым «о».

Снова движение в толпе, и снова на трибуне Ленин — такой ясный и уже такой близкий человек.

Он заканчивает речь среди шумных оваций, которые сливаются с торжественными звуками «Интернационала». В первый раз я слышала, как рабочие поют «Интернационал». До сих пор помню впечатление, какое произвело на меня это мощное пение: оно подхватило меня, вовлекло в рабочую массу, смущение мое мгновенно прошло. Я пела со всеми и чувствовала неразрывную связь с этой массой, чувствовала веру в человека, которого только что, в первый раз в жизни, услышала и которому светло и радостно — я видела это — верили рабочие.

Толпа выплеснула меня из зала на улицу. Мы шли и пели. Все пели, и это пение чудно объединяло...

А. л. Алтаев, Памятные встречи, Гослитиздат, М. 1957, стр. 374—376.

У Ленина

... **В** военку¹ нужно было заехать поутру лишь на минутку, чтобы, как было условлено, встретиться здесь со Смилгой и направиться вместе на Крестьянский съезд. И хотя день был голубым и прохладным, постоянно текучая толпа разношерстного митинга по-прежнему сузилась перед молочно-глянцевым особняком Кшесинской.

Сапоги фронтовиков гулко ляцкали по мраморным ступеням вестибюля, волоча за собою тючки отвозимых в окопы газет. В коридорах по-прежнему деловито сновали вереницы агитаторов — солдат и рабочих. Сизая пыль крутилась из-под ног косыми дымными столбами. Подвойского не было, но не было и Смилги. Застенчивый верзила — солдат Тобиас, казначей нашей военки, передал мне, что Смилга где-то занят и поручает мне одному охлопотать наши мандаты в канцелярии Крестьянского съезда. Однако он тут же прибавил, что с Крестьянским

¹ Военная организация при ЦК РСДРП (б).

съездом успеется, а меня дожидается уже заготовленный все тем же неутомимым Подвойским делегатский мандат на открывающийся сегодня Всероссийский съезд офицерских депутатов, на котором мне поручено во что бы то ни стало присутствовать, так как на этом будто бы настаивает Ленин.

Мысль, что это — поручение Ленина, меня и взволновала и окрылила. С восторгом я принял мандат, но неясность задания смутила меня. Почему бы не обратиться за указаниями к самому товарищу Ленину? Мне тут же сказали, что его отыщу я на Мойке, в редакции «Правды».

Светло-серый высокий дом на углу, у закованной в камень Канавки. В бельэтаже — гостиница «Бристоль», населенная кокотками и офицерами, а этажом выше — дверь с дощечкою «Сельский вестник» под императорским двуглавым орлом. В полутемной прихожей, заворачивающейся как-то углом, я столкнулся с двумя рабочими завода «Вулкан». Они приносили сюда заметки о своих неполадках с администрацией и оживленно толковали об этом со скромно одетой, немного сутулою женщиной с круглым лбом и широким, чуть вздернутым носиком, делавшим весь ее облик каким-то ласковым и деловитым. Внимательно наклонив гладко зачесанную голову набок, она смотрела на своих собеседников бодрым приветливым взглядом быстрых и черных маленьких глаз. Потом уже только узнал я, что это родная сестра товарища Ленина, Мария Ильинична Ульянова, неутомимый, бессменный секретарь нашей боевой большевистской центральной газеты. Мой офицерский облик, должно быть, смутил сейчас и ее, и она осторожно осведомилась, кто я и кого мне здесь нужно. Получив мой ответ и взглянув на протянутый мною мандат, она деловито кивнула и ушла в дверь направо, оставив ее полуоткрытой.

Видневшаяся через дверь небольшая тусклая комнатка с одиноким окном, выходящим к серой стене, должно быть, служила здесь редакторским кабинетом, и отсюда торопливо вышел Ленин. Он посмотрел на меня быстрым взглядом и, возможно, признал меня по прошлой случайной беседе в Таврическом, потому что радушно кивнул мне и пытливо спросил:

— Ну, как, товарищ, в чем дело?

Я объяснил, что еду сейчас с мандатом нашей военки на съезд офицеров и хотел было осведомиться, как там

себя вести, каковы там наши задачи. Ведь съезд-то не особо нам близкий.

— Если вы точно знаете, что состав его сплошь контрреволюционный, то, пожалуй, незачем туда и ходить, — улыбнулся Ленин благодушно, и от его карих глазок разбежались шутливые лучики. — Разве что только с целью информации... Но, — прищурился он, зашипнув коротенький клинышек русой бородки, — если вы увидите там, что есть элементы, особенно из офицеров военного времени, которые настроены хотя бы пацифистски и способны в определенный момент встать на сторону солдатских масс, на сторону крестьян и рабочих, то следовало бы выступить перед ними и доказать невозможность других выходов из войны, кроме как революционного. Словом, поступайте, как подскажет вам обстановка. Ну, а где вообще-то сейчас вы работаете? — спросил вдруг Ленин, и мне показалось, что это он так спросил, чтобы скорей и учтивей отделаться от меня. Я поэтому бегло пробормотал о моих ораниенбаумских незадачах.

— Владимир Ильич! — нетерпеливо позвали его из кабинета, и мне стало совестно, что я отвлек его такими пустяками. Но он словно не слышал призыва.

— Вот это важно, это существенно важно! — аж весь вспыхнул Владимир Ильич, внимательно выслушав мою бормотню. — Будьте упорны и во что бы то ни стало сделайте свой гарнизон большевистским. Если на этом пути у вас возникнут какие-нибудь организационные недоумения, наведывайтесь сюда лично ко мне, я всегда буду рад вам помочь... И вообще держите меня в курсе вашей работы... И о вашем съезде тоже расскажете... — Он крепко пожал мою руку, приветливо улыбнувшись, и так же торопливо ушел в редакторский кабинет.

Должно быть, чрезвычайно блаженная и вместе с тем смущенная улыбка плавала у меня на лице, когда я спустился по каменной лестнице и вышел на Мойку, так как встречные с любопытством оглядывались на меня.

Золотистый облик Владимира Ильича, немного приземистого, но удивительно проворного и такого приветливого, сиял передо мной мириадами солнечных лучиков своих шутливо прищуренных глаз. Он произвел на меня неизгладимое впечатление.

В самом деле: какое трогательное деловое внимание, казалось бы, к таким мелочам! Какое сердечное участие и товарищеская заботливость к заурядным пустякам рядового работника партии!.. И какая искренность этого участливого увлечения!

Но как я нетактичен! Разве мне неизвестно, как Ленин перегружен ответственной работой? Зачем же я сунулся к нему за разрешением мелкого вопроса, осмыслить который я должен был бы и без помощи Ленина? Ведь по сути: все, что сказал мне Владимир Ильич, было удивительно верно и вместе с тем удивительно просто, тогда как я ожидал, очевидно, каких-то особенных откровений. Мне, как и в первую встречу с ним, вновь сделалось стыдно за свою несмышленость. И ласковый образ вождя, столь бешено преследуемого кругом неистовой ненавистью и клеветой наших врагов, загорелся сейчас передо мной, как гигантский маяк, новым, боевым ослепительным светом.

Солдатская баллада

В массах все больше росло недовольство политикой буржуазного Временного правительства. Солдаты стремились домой, тосковали по родным и близким, каждый хотел засеять свою полоску в надежде снять урожай собственными руками.

Как-то, лежа на нарах в казармах, я написал стихотворение под названием «За честь России-матушки». Потом прочитал его на одном из полковых митингов. Солдатам понравилось.

Спустя некоторое время ко мне подошли двое товарищей.

— Где твоя солдатская баллада? — спросил один из них.

— Вот здесь, в кармане, — ответил я.

— Ну, тогда пошли!

— Куда?

— Прямым рейсом в редакцию «Правды».

Мы пришли в самый разгар редакционной работы. Вокруг секретаря толпилось много людей — кто с письмом,

кто с заметкой. Дошла очередь и до меня. Я показал свой листок. Мельком взглянув на него, секретарь кивнул на дверь:

— Пройдите, там покажете...

Он что-то хотел добавить, но его прервали нетерпеливые рабкоры, солдаты с фронта и заводские ребята.

Я вошел в кабинет. За письменным столом, заваленным бумагами, сидел человек и что-то писал, склонив набок голову.

— Что у вас? — приветливо спросил он.

— Стихи... Солдатская баллада, — робко сказал я, положив на стол листок.

— Садитесь, пожалуйста! — Товарищ указал на кресло и стал внимательно читать мои стихи. Потом встал из-за стола. — Это мы напечатаем! А скажите, как у вас дела в полку?

Я начал рассказывать.

— Как называется ваш полк?

— Павловский.

— Ну и какое у солдат настроение?

Когда я сказал, что солдаты против войны, он заговорил, быстро шагая по комнате:

— Войну надо кончать, и как можно скорей! Армия смертельно устала, ей противна эта бойня... Вы на фронте были? — спросил он, положив руку на мое плечо.

— Да! — ответил я. — На фронте предают солдат. Нет снарядов, продовольствия.

— Вот-вот! Об этом говорится и в ваших стихах. — Он снова заглянул в мой листок. — Нет! Война нам не нужна... Армия может и должна обратить оружие против своих угнетателей — помещиков и капиталистов! Павловский полк и теперь, как и в февральские дни, должен быть в первых рядах наших революционных войск.

Я вышел, глубоко потрясенный словами этого человека, который очень задушевно, с большим дружеским участием говорил о наших заветных солдатских делах.

Секретарь, увидев меня, спросил:

— Ну, как ваши стихи?

— Да вот товарищ одобрил, обещал, что будут напечатаны.

Секретарь улыбнулся:

— Если Владимир Ильич сказал, значит, стихи пойдут.

— Ленин?! — с радостным волнением воскликнул я.
— Он самый!

На улице меня с нетерпением ждали друзья. Я торопливо поведал обо всем, что со мной произошло в редакции.

Солдаты начали меня упрекать:

— Ах ты, чудак! Надо было побольше рассказать о нашей солдатской жизни. Он все должен знать!

— Он и так хорошо знает все! — заметил я.

А через три дня мое стихотворение появилось в «Правде».

Это было 16 июня 1917 года.

*«Октябрь», 1962, № 5, стр. 6.
Для данного издания текст заново просмотрен автором.*

Во дворце Кшесинской

Однажды полковой комитет получил приглашение: выслать делегатов на дачу бывшего царского министра Дурново, где состоится совещание представителей фабрик и заводов, а также воинских частей Петрограда.

На это совещание у нас была выделена делегация из трех человек — я и еще два солдата.

Когда мы пришли на дачу Дурново, в большом зале было много рабочих, солдат и матросов.

Один за другим выступали ораторы с лозунгами: «Долой войну!», «Хлеба и мира!»

Председатель собрания обратился к нашей делегации:

— Павловцы желают получить слово?

Мы ответили согласием и стали держать совет, кто выступит. Мои товарищи решили, что выступить должен я. Говорил я недолго, сообщил о том, что Керенский искал опору для своей гнусной политики у солдат Павловского полка. С этой целью он провел смотр полка на Марсовом поле.

В конце собрания было принято решение: выбрать революционный комитет в составе пятнадцати рабочих, солдат и матросов.

Закрывая собрание, председатель сказал, что революционный комитет должен немедленно наметить план действий.

Секретарем революционного комитета выбрали меня. Я вел протокол заседания, на котором обсуждался один важный вопрос: о немедленном свержении Временного правительства и передаче всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Я предложил на повестку дня поставить еще один вопрос: немедленно послать делегацию к Ленину во дворец Кшесинской.

Мое предложение было принято. Делегация была выбрана из пяти: двух рабочих, двух солдат и одного матроса.

Солнце близилось к закату, когда мы вышли на улицу и направились ко дворцу Кшесинской.

По дороге мы встретили автомобиль. Взяв друг друга за руки, мы стали посередине дороги и крикнули шоферу:

— Стой!

В автомобиле сидел человек с портфелем. На его побледневшем лице виден был нескрываемый ужас.

— Кто едет? — спросил я.

— Чиновник особых поручений князя Львова! — пролепетал человек с портфелем.

— Вылезай!

Он покорно, не говоря ни слова, вылез из машины и стал посередине улицы.

Шофер, не шевелясь, вопросительно смотрел на нас.

— Во дворец Кшесинской! Давай быстро! — скомандовал матрос.

Шофер молча нажал рычаг, автомобиль быстро помчался по улице.

Я взглянул назад и увидел, что чиновник с портфелем по-прежнему неподвижно стоит на улице, как будто его ноги привинчены к мостовой.

Делегация наша приехала ко дворцу Кшесинской в хорошем и веселом настроении, но меня втайне тревожила мысль: что скажет Ленин, когда мы ему доложим о характере совещания на даче Дурново?

Мы вышли из автомобиля и подошли к воротам, где стоял на посту солдат броневого дивизиона, охранявшего штаб ЦК партии большевиков. Узнав, кто мы такие, часовой подозвал другого солдата и сказал:

— Делегация к Ленину!

Солдат ушел, быстро вернулся и повел нас в здание. Мы поднялись на второй этаж, вошли в большой зал, где у окна стояли Ленин и Свердлов.

Ленин с улыбкой встретил нас и спросил о цели нашего прихода.

Мы молчали, никто не решился говорить первым. Матрос толкнул меня в бок и тихо шепнул:

— Говори...

— Мы делегация...— Я вдруг запнулся и неловко замолчал.

— Какая делегация? — спросил Ленин.

— Делегация революционного комитета! — громко сказал я, но тут же холодок прошел у меня по спине, когда Ленин недоверчиво развел руками и сказал:

— Революционного комитета? — Он погладил бородку и с улыбкой посмотрел на Свердлова. — Яков Михайлович! Как вам это нравится?

Я сразу понял, что наша делегация попала впросак. Матрос толкнул меня в бок:

— Скажи... По существу!

Стоявший рядом со мной рабочий так же тихо сказал:

— По правде, как было... Не робей!

Немного помедлив, я стал говорить о собрании на даче Дурново и о том, что после собрания был выбран революционный комитет, который заседал и вынес решение...

— Какое решение? — спросил Ленин.

— О немедленном свержении Временного правительства! — выпалил я.

— Да? — негромко засмеялся Ленин.

На лбу его легла складка, прищулив глаза, он посмотрел на нас, прошелся по комнате и с каким-то дружеским упреком сказал:

— Нет, товарищи, так нельзя! Партия наша этого вопроса еще не решала.

Я почувствовал, что мои ноги вдруг так же оказались привинченными к полу, как у чиновника князя Львова. Тем не менее я еще сказал, как бы в оправдание нашего прихода, что на собрании были представители от фабрик и заводов, а также от воинских частей.

— Голос масс, товарищ Ленин! — сказал рабочий.

— Да! Мы это понимаем! — быстро подошел к нему Ленин. — Но время еще не пришло.

Я увидел, что наша делегация действительно попала в неловкое положение, в особенности после того, как Ленин вдруг недовольно произнес:

— На даче Дурново бывают анархисты. Они тянут в свою сторону. Вы не слушайте их, дорогие товарищи.

— Мы не анархисты! — сказал я с легкой обидой.

— Нет! Не анархисты! — громко проговорил матрос.

— Очень хорошо! Я прошу вас, товарищи, когда вы возвратитесь на заводы и в свои воинские части, разъясните рабочим, солдатам и матросам, что, когда придет время, мы прогоним министров-капиталистов.

— Это так, Владимир Ильич! А вот позвольте мне сказать слово! — произнес рабочий.

— Прошу вас!

— Вот вы сказали — рано... Это верно! Партия еще не решила взять в руки власть. Правильно! А что же получается? Созвать хотели Учредительное собрание... А где оно? Нет его! И когда его созовут — никто не знает.

— Да, вы правы! — с живостью заговорил Ленин. — Еще недавно нам говорили, что Учредительное собрание может быть созвано не ранее окончания войны, что на пути к созыву его стоят громадные, непреодолимые трудности. Но все это, конечно, неверно! Мы заставим буржуазных министров раскаться.

Ленин быстро зашагал по залу, заложив пальцы рук за проемы жилета.

— Дорогие товарищи! — сказал он, остановившись перед нами. — Жизнь не даст отсрочки министрам-капиталистам. Да! А нашим требованием остается: вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов... И пусть поскорее уйдут министры-капиталисты. Это единственная услуга, которую они еще могут оказать нашей стране. А власть мы возьмем в свои руки! В этом не может быть никакого сомнения. Верно, Яков Михайлович?

— Верно, Владимир Ильич, — улыбнулся Свердлов, поправляя пенсне.

Ленин посмотрел на часы:

— Вы извините нас, товарищи! Мы должны сейчас ехать на заседание Петроградского Совета, где с докладом выступит военный министр Керенский.

Мы переглянулись друг с другом, и, видимо, у нас на лицах было выражено желание послушать «главноуговал-

ривающего». Ленин уловил нашу мысль и с улыбкой сказал:

— Если товарищи пожелают, они могут поехать с нами в Морской корпус, где скоро начнется заседание Петроградского Совета.

В это время вошел солдат:

— Машина готова, Владимир Ильич!

— Еще машину товарищам делегатам.

— Есть машину! — сказал солдат и быстро вышел.

— Спасибо, Владимир Ильич, — матрос наклонил голову, — машина у нас есть...

— Откуда она у вас?

— Мы взяли ее у князя Львова.

— То есть как это взяли? Я не понимаю!

— Чиновника особых поручений из машины... А мы в машину.

Ленин пошел к двери, а за ним Свердлов.

— Как вам это нравится? — засмеялся Ленин. — Если они взяли машину у князя Львова, то они могут у него и власть взять!

Выйдя из дворца на улицу, мы не увидели своего автомобиля.

— Князь Львов угнал вашу машину! — с добродушным смехом сказал Ленин. — Садитесь в нашу машину, она вас ждет.

Ленин и Свердлов сели в автомобиль стального цвета, а мы — в другой, который нам дали солдаты броневого дивизиона.

По дороге в Морской корпус мы долго молчали. Первым заговорил вяло и неохотно матрос:

— Вот тебе, братишечки, революционный комитет! Что же это получилось?

Ему никто из нас не ответил, каждый думал свое, и всем было ясно: Владимир Ильич прав, час для выступления еще не пробил. Он впереди. Наступит время, и большевистская партия назовет его нам, поведет боевую сплоченную армию пролетариев, крестьян и солдат на социалистическую революцию.

Июльские дни

Третьего июля ранним утром я вышел на улицу. Со всех сторон на грузовиках, пешком собирались рабочие к своим районам. Они пели, смеялись. Проходили матросы, загорелые, в белых бескозырках и синих, немного выцветших воротниках. Шли девушки, женщины, заразительно веселые.

Балтийский ветер шумел в дворцовых садах, вскипая на Неве широкими и порывистыми волнами.

«Вся власть Советам!» — читал я большевистские лозунги.

«Долой десять министров-капиталистов!»

Толпа все увеличивалась. Она выстраивалась в ряды, выкрикивала лозунги и напоминала штормовые океанские волны, поднятые первым ветром нарастающей бури.

Люди шли все вперед и вперед. Вал за валом, гребень за гребнем, заливая мосты, площади, улицы и переулки.

Утром на заводы «Новый Лесснер» и «Старый Парвайнен» пришли солдаты 1-го пулеметного полка и присили грузовики для оружия.

Они становились в цехах среди машин на черные за-масленные табуреты и призывали рабочих поддержать вооруженное восстание.

На Выборгской стороне заревели гудки. По заводам начинались общие собрания.

У машин, в цехах, собирались крепкие вооруженные люди. Другие бежали по улицам с винтовками и за винтовками, третьи строились в колонны, боевые, безмолвные колонны. Я привел свой отряд рабочей милиции, построил его на фоне фабричных труб, жалких деревянных домишек, улиц, поросших травой, потом двинул вместе со всеми к Невскому.

Мною в этот июльский день, как и многими другими, владело простое и глубокое чувство чистой радости людей, впервые осознавших возможность победы.

Я шел впереди колонны, как все большевики, хотя партия и отказалась от вооруженного выступления в этот день...

Было написано и послано в «Правду» воззвание, чтобы по выходе газеты в свет удержать рабочих и солдат от выступления, остановить не вовремя начавшееся вооруженное восстание.

Но разве можно остановить разыгравшийся ураган?

И, несмотря на то что партия разослала во все районы, по всем заводам и фабрикам агитаторов и пропагандистов, движение с каждым часом росло.

Четвертого июля с утра площадь у дворца Кшесинской была залита темно-синим морем матросских воротников. Алели знамена рабочих организаций.

По рядам пронеслось магическое слово: «Ленин». Ленин вышел на балкон, спокойный, как всегда. В простых и теплых словах Ленин передал революционный привет морякам, съехавшимся из Ораниенбаума, Кронштадта, Петергофа. Он выразил уверенность, что лозунг, провозглашенный большевиками: «Вся власть Советам», — победит. Ленин призывал моряков к стойкости, к выдержке, к бдительности.

Разноречивый, многоголосый гул выростал.

Во дворах, запертых наглухо, около которых стояли молчаливые дворники, я, проходя вместе с демонстрацией к Литейному проспекту, заметил спешенных казаков.

Вдруг вся улица заполнилась ими.

Я обратил внимание на фигуру казачьего командира. Его лицо было искажено, и с ненавистью он бросал в толпу слова:

— Дождались — свобода...

На улице запели. Сначала раздался высокий женский голос, затем второй, а первый, контральто, все больше и больше звал его вперед — вся улица подхватила песню и понесла ее, как знамя. Казаки дрогнули и остановили коней. А песня росла и росла.

К демонстрации присоединилась новая рабочая колонна.

С Литейного и Садовой раздались первые выстрелы.

Казаки услышали сигнал, которого с таким нетерпением ждали. Выскакивая из дворов, они на ходу садились на лошадей и мчались навстречу демонстрации, все еще поющей свои песни. Снова раздались выстрелы, и, как бы в раздумье, постояв на месте, покачнулась юная, красивая девушка, шедшая рядом со мною.

Матрос поднял девушку. Из рта ее лилась кровь.

У всех, кто это видел, поднималась безудержная ярость, но сделать мы ничего не могли, так как уже со всех сторон били пулеметы. Люди, расстроив колонны, пригибаясь к земле, бежали к подъездам, к воротам, где их встречали пулями и саблями юнкера и казаки.

Когда я пробегал мимо того места, где раздались первые выстрелы, я увидел девушку на мостовой с открытыми глазами и окровавленным ртом. Я остановился, долго всматривался в ее лицо. И вдруг сердце сжалось у меня от боли: я узнал Шуру Кривцову, с которой я в шестнадцатом году работал в Москве, в студенческом подпольном паспортном бюро.

Шура лежала на мостовой, раскинув руки, а рядом с нею, под ударами казацких эскадронов, падали новые и новые мои товарищи, и по их живым телам мчались казацкие кони.

Демонстрация отступила, не приняв боя.

*«Октябрь», Гослитиздат, М. 1957,
стр. 29—31.*

Третье поручение

Приближалась ночь с 26 на 27 октября. В дни восстания спать почти не приходилось. И вот я снова около М. С. Ольминского. Беседуем об искусстве восстания.

— Из какого теста лепятся оппортунисты? — спрашиваю я. Мне хочется социально осмыслить явление. — Кто они, предатели по природе или жертвы неправильной теории?

В самый разгар горячей беседы подходит Емельян Ярославский. Строгий, суровый, выдержанный. В его усах прядется улыбка.

— Надо поехать в Петроград, — говорит он мне.

Я вспыхиваю. Захватило дыхание. Такое поручение, о котором и не мечталось!

— Нет связи, — поясняет Емельян Ярославский. — Есть телефон, по которому можно говорить с Москвой, а Смольный этого не знает. И надо информировать петроградцев о московских делах.

«Смольный!» — как молния пронесется в голове.

Софья Николаевна Смидович вручает мне железнодорожный билет и мандат от Московского Военно-революционного комитета. Улыбается. Она рада, как и я, что мы в гуще событий, вместе с другими товарищами участвуем в общем революционном деле. Но радость радостью, а дело делом.

— В Петрограде восстание началось. Но чем кончилось, неизвестно. Будьте осторожны. Подъезжая к вокзалу, смотрите, кто на перроне. Если матросы, — наша взяла! Из левого кармана вынимайте мандат Военно-революционного комитета. Если юнкера — вытаскивайте билет железнодорожника.

Все ясно. Остальное в моих руках, в моей выдержке и находчивости. Молча жму руку. Ухожу.

Вокзал Николаевской (теперь Октябрьской) железной дороги. Бывший царский павильон. Восьмого октября здесь происходила общегородская конференция Союза молодежи, раздавались страстные революционные речи. Как мало прошло времени, как много произошло событий! Тут теперь штаб Военно-революционного комитета Николаевской железной дороги. Вооруженная молодежь...

Поезд отрывается от платформы и медленно двигается, оставляя позади пригороды Москвы. В моем вагоне ни души. В соседних вагонах по два, по три человека. И в Москве и в Петрограде неспокойно.

Петроград для меня — это размах революционной деятельности, это беззаветная страсть революционной молодежи, демонстрации на Невском проспекте, у Аничкова дворца, на Литейном, на Знаменской площади, сходки, тайные собрания, прокламации, «Правда». Волнующие воспоминания.

Ведь в Петрограде (Петербурге) прошли лучшие годы моей юности. Тут развернулась моя партийная работа.

Вспоминается более далекое прошлое. Камышин, Саратовской губернии. Реальное училище. Живу в доме у вдовы Татьяны Семеновны Нагорновой. Невзрачная улица. Дворы тянутся около оврага. В 1904 году сын Нагорновой, Александр Тихонович, вступает в партию. У Нагорнова — штаб-квартира большевиков. В небольшом городке, как и всюду, формировались высокоидейные и глубоко убежденные борцы за свободу. Приходит революция

1905 года. Нагорнов во главе организации. Лучшая молодежь города высоко ценит его. Если кому-нибудь из молодых революционеров говорят: «Ты прямо как Нагорнов», — он сияет. Это высшая похвала. Из его речей, из бесед в нелегальных кружках я узнал о Марксе, познакомился с учением Ленина. Нагорнов создает нелегальный кружок, где идет подготовка партийных организаторов и пропагандистов. Я вхожу в этот кружок и вскоре получаю от Нагорнова первые партийные поручения. В октябре 1906 года здесь я вступаю в партию.

...Поезд осторожно входил под вокзальные своды. Выхожу на площадку, отворяю дверь. На перроне — кронштадтские моряки. Молниеносно растекаются по перрону, сосредоточиваются у дверей, встречая пассажиров.

Мандат мой производит сильное впечатление. Меня расспрашивают о Москве. Наперебой сообщают:

— Мы победили!

Непередаваемое волнение охватило меня, когда на Знаменской площади на заборе я увидел объявление о новом правительстве, именуемом «Совет Народных Комиссаров». Читал, перечитывал: председатель Владимир Ульянов-(Ленин).

Рядом наклеено воззвание кадетов с кричащим заголовком: «Не подчиняйтесь узурпаторам!»

Слово «узурпатор» не было понятно балтийцам, с которыми я шел. Я объяснил им.

Хочется пройтись по Невскому, вспомнить демонстрации, схватки с полицией. Но Невский проспект длинный, времени мало, каждая минута дорога. Скорее в Смольный!

Подымаюсь по лестницам. На третьем этаже около какой-то двери остановка. Проводники у меня уже другие.

— Входите, — приглашает меня балтиец.

Вхожу. За круглым столом у карты Петрограда сгрудились руководители восстания. Некоторые стоят.

— Товарищи, оставим все, выслушаем товарища из Москвы, — порывисто вставая из-за стола, говорит один из присутствующих. Воля, энергия в его словах и движениях.

Сразу понял: это не кто иной — он, Ленин. Как ни думалось, что может быть такая встреча, — все же она была неожиданной и воспламенила сердце.

Дружеским жестом Ленин показал на стул.

Не очень складно я начал говорить о Москве. Но, заметив глубокий интерес Ленина к этой информации, ободренный его простотой и теплотой в обращении, я почувствовал себя хорошо и незаметно увлекся рассказом о московских событиях. В памяти навсегда запечатлелась порывистость Ленина, быстрая смена в выражении лица, глаз: то промелькнет усмешка, то загорятся, то потемнеют глаза — в зависимости от услышанного.

Я бросил взгляд на окружающих. Заметил Николая Ильича Подвойского — с ним я встречался в 1915 году в Петрограде по поводу намечавшегося издания журнала «Просвещение». Запомнил лица. Потом догадался по портретам, что это Свердлов, Дзержинский, Бубнов. А мысль рвалась к Ленину. Так вот он какой! Простой и ясный, и речь простая и увлекающая! Невольно оглянулся на него, встретил смеющиеся глаза.

— Все сказали? Может быть, еще что-нибудь необходимо сообщить?

Глаза пытливые, понимающие, большой лоб, поза выжидающая.

— Мало у нас в Москве командиров, офицеров... — смущенно сказал я.

— Рабочие и солдаты с нами! Это решает все!

Глаза Ленина, сосредоточенные, серьезно поблескивали, это придавало словам силу и вес.

— Немедленно надо ехать в Москву. Дадим вам декреты о земле и мире. Печатайте их, размножайте, распространяйте по всей стране. В них наша сила.

Владимир Ильич быстро вынимает часы, смотрит на циферблат. Потом дает распоряжение балтийцу об отправке меня в Москву с декретами Советского правительства и, наклонившись, что-то еще говорит.

Вспыхиваю от слов «желаю успеха», от протянутой руки и крепкого пожатия.

И вот я мчусь по коридору за балтийцем, стараясь не потеряться среди неугомонного людского движения. Вдруг: «Стоп!» Налетает на меня какой-то представитель петроградской прессы.

— Это вы, товарищ, из Москвы?

— Я.

Замечаю небольшой стол, чернильницу, ручку, листы бумаги.

— Напишите о событиях в Москве. Оставьте здесь. На обратном пути захвачу, — кидает он, ныряя в поток людей, льющийся в разные стороны.

Балтиец смеется: «Некогда заниматься писаниной. Пошли!»

Смольный словно многоэтажный город. Все торопятся, все обеспокоены.

Взглядываю на балтийца: куда он меня ведет?

— Владимир Ильич сказал, чтоб вас накормить. А потом на вокзал.

*«Юность», 1957, № 10, стр. 46—47.
Для настоящего издания текст
заново просмотрен автором.*

По прямому проводу

Когда это было — точно не помню. Во всяком случае, через два-три дня после Октябрьского переворота. Я только что вернулся с митинга на Путиловском заводе и метался по длинным коридорам Смольного, чтобы быть в курсе революционного положения и снова двинуться в районы. Движение в коридорах было отчаянное. Народу — масса, не протолкнешься. Прошел Владимир Ильич и скрылся в одной из комнат. Я двинулся по направлению к этой комнате. Там организовалось первое заседание Совета Народных Комиссаров. Вскоре опять появился Владимир Ильич и, обменявшись со мной несколькими фразами о положении в районах: «Отправляйтесь на Свирский канал — хлеб к Петрограду подталкивать». Согласившись, что я мало подходящ к этому делу, быстро скрылся, озабоченный и сумрачный. Через несколько минут вылетел тов. Луначарский.

— А, Полянский!.. Сохраните вот этот исторический документ: сейчас его передал мне товарищ Ленин... Пусть он будет цел. А вы сумеете сохранить.

И я его сохранил, перепрятывая в тревожные дни то в одно, то в другое место.

Документ этот представляет ряд бланков для телеграмм, и на них наклеена телеграфная лента прямого провода¹.

**РАЗГОВОР С ГЕЛЬСИНГФОРСОМ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
27 ОКТЯБРЯ (9 НОЯБРЯ) 1917 г.**

1

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИСПОЛКОМА ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АРМИИ, ФЛОТА И РАБОЧИХ ФИНЛЯНДИИ
А. Л. ШЕЙНМАНОМ

— Можете ли вы говорить от имени областного комитета армии и флота?

— Конечно, могу.

— Можете ли вы немедленно двинуть к Петрограду возможно большее число миноносцев и других вооруженных судов?

— Сейчас позовем председателя Центробалта, так как дело чисто морского характера.— Что у вас нового в Петрограде?

— Есть известия, что войска Керенского подошли и взяли Гатчину, и так как часть петроградских войск утомлена, то настоятельно необходимо самое быстрое и сильное подкрепление.

— И еще что?

— Вместо вопроса «еще что» я ожидал заявления о готовности двинуться и сражаться.

— Да это, кажется, повторять не надо; мы заявили о своем решении, следовательно, все будет сделано на деле.

— Имеются ли у вас запасы винтовок и пулеметы и в каком количестве?

— Здесь председатель военного отдела областного комитета Михайлов. Он вам скажет об армии Финляндии.

¹ Текст документа печатается по Полному собранию сочинений В. И. Ленина, т. 35, стр. 32—35.

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВОЕННОГО ОТДЕЛА ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА АРМИИ, ФЛОТА И РАБОЧИХ ФИНЛЯНДИИ
МИХАЙЛОВЫМ

— Сколько вам нужно штыков?

— Нам нужно максимум штыков, но только с людьми верными и готовыми решиться сражаться. Сколько у вас таких людей?

— До пяти тысяч. Можно выслать экстренно, которые будут сражаться.

— Через сколько часов можно ручаться, что они будут в Питере при наибольшей скорости отправки?

— Максимум двадцать четыре часа с данного времени.

— Сухим путем?

— Железной дорогой.

— А можете ли вы обеспечить их доставкой продовольствия?

— Да. Продовольствия много. Есть также пулеметов до 35; с прислужкой можем выслать без ущерба для здешнего положения и небольшое число полевой артиллерии.

— Я настоятельно прошу от имени правительства Республики немедленно приступить к такой отправке и прошу вас также ответить, знаете ли вы об образовании нового правительства, и как оно встречено Советами у вас?

— Пока только о правительстве из газет. Власть, перешедшая в руки Советов, встречена у нас с энтузиазмом.

— Так, значит, сухопутные войска будут немедленно двинуты, и для них обеспечен подвоз продовольствия?

— Да. Сейчас же примемся за отправку и снабдим продовольствием. Здесь у аппарата товарищ председателя Центробалта, так как Дыбенко выехал в Петроград сегодня в 10 час. вечера.

3

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРОБАЛТА
Н. Ф. ИЗМАЙЛОВЫМ

— Сколько можете вы послать миноносцев и других вооруженных судов?

— Можно послать линейный корабль «Республику»¹ и два миноносца.

¹ Фактически был послан не линейный корабль «Республика», а крейсер «Олег». — *Ред.*

— Будут ли они точно так же обеспечены продовольствием от вас?

— Во флоте продовольствие у нас есть, и они будут снабжены продовольствием. Все посланные миноносцы и линейный корабль «Республика» — с уверенностью скажу, что выполняют свое дело защиты революции. В посылке вооруженной силы не сомневайтесь. Будет выполнено беспрекословно.

— Через сколько часов?

— Максимум 18 часов. Встречается ли необходимость сейчас послать?

— Да. Правительство абсолютно убеждено в необходимости послать немедленно с тем, чтобы линейный корабль вошел в Морской канал как можно ближе к берегу.

— Так как линейный корабль представляет из себя крупное судно с двенадцатидюймовой артиллерией, то поэтому оно встать около берега не может: так оно может быть захвачено просто голыми руками. А для выполнения этого служат миноносцы с мелкой артиллерией и пулеметами; что же касается линейного корабля, то он должен стоять, приблизительно, на рейде или рядом с крейсером «Аврора», так как его артиллерия стреляет на 25 верст,— в общем, это дело выполняют матросы с командным составом.

— Миноносцы должны войти в Неву около села Рыбацкого, чтобы защищать Николаевскую дорогу и все подступы к ней.

— Хорошо, будет все это выполнено. Что еще скажете?

— Есть ли радиотелеграф на «Республике», и может ли он сношаться с Питером во время пути?

— Не только на «Республике», но и на миноносцах, которые сносятся с Эйфелевой башней. В общем, заверяем, что будет все выполнено хорошо.

— Итак, мы можем рассчитывать, что все названные суда двинутся немедленно?

— Да, можете. Сейчас будем отдавать срочные распоряжения, чтобы названным судам быть в срок в Петрограде.

— Есть ли у вас запасы винтовок с патронами? Посылайте как можно больше.

— Есть, но небольшое количество на судах,— что есть, вышлем.

- До свидания. Привет.
- До свидания. Вы ли говорили? Скажите имя?
- Ленин.
- До свидания. Приступаем к исполнению.

Вряд ли нужно вдаваться в оценку и характеристику этого документа. Хотелось бы вкратце отметить лишь два-три штриха, характерные для Владимира Ильича.

Свой разговор он не начинал с крепких требований от имени рабоче-крестьянского правительства, а сначала осведомился о настроении и положении в Гельсингфорсе, чтобы иметь возможность повести разговор соответственно обстоятельствам. И весь разговор носит не характер приказа Председателя Совета Народных Комиссаров, а характер выяснения положения товарищем, спасающим революцию. Тонкий политик и хороший товарищ сказался в нем. Не случайно и то, что он сам взялся за этот разговор.

Как всегда, тов. Ленин не ограничился простым распоряжением, он вошел во все подробности, навел справки о продовольствии, о винтовках и т. д. И тут сказался его практический, деловой ум. В такое тревожное время, которое требует скорых решений, он вошел во все мелочи и детали, внимательно выслушал людей, знающих дело. Таким был Ленин всегда.

*«Советский флот», 1960, № 44,
21 февраля.*

Встречи с Лениным

С Владимиром Ильичем мне приходилось много раз встречаться в Смольном после переворота — до образования Совнаркома и после, на заседаниях СНК.

В то время члены коллегий наркоматов допускались на заседания Совнаркома довольно свободно.

Вскоре после переворота, встретив меня в коридоре Смольного, товарищ Ленин намеревался отправить меня подгонять к Петрограду хлеб. После не раз расспрашивал, как идут дела в Наркомпросе и как дела с писателями в связи с организацией литературно-художественного от-

дела Наркомпроса по декрету о Государственном издательстве¹ и национализацией наследия классиков русской литературы.

Особенно врезалась в память одна встреча. После какого-то заседания Владимир Ильич, Надежда Константиновна и я ходили по двору Смольного.

Была холодная звездная ночь. Полыхали и трещали костры, гудели автомобили, слышались выстрелы. Владимир Ильич был очень добродушен, посмеивался, глядел на пулеметы в окнах верхнего этажа Смольного, жадно вдыхал морозный воздух. На разные мои вопросы по делам Наркомпроса, улыбаясь, повторял:

— Я тут ничего не понимаю, ничего не знаю, вот она меня просвещает,— и указывал на Надежду Константиновну.

Сквозь улыбку и добродушие сквозила тревога, несколько раз он порывался вернуться в Смольный, но Надежда Константиновна, держа его за рукав, уговаривала:

— Володя, подожди еще, отдохни!

Чтобы не тревожить их, я уехал с запоздалым трамваем к себе на Петроградскую сторону.

Очень живо припоминаю встречу с Владимиром Ильичем во время открытия заседания Учредительного собрания. Когда говорил речь Чернов и происходил инцидент с Дыбенко, Ильич хмуро сидел на приступочках около трибуны, где собралось много большевиков. Был очень сосредоточен, молчалив, на вопросы товарищей отвечал сухо, кратко. Кто-то подошел (кто — никак не вспомню) и говорит:

— Может, хватит, поговорили достаточно?

Ильич, сдержанно усмехнувшись, проговорил:

— Уснеем, посмотрим, нельзя нервничать! — и опять начал сосредоточенно слушать. Что-то писал в блокноте или записной книжке.

Вскоре я должен был ехать в Петропавловскую крепость и дальше Владимира Ильича наблюдать не мог.

Однажды с Владимиром Ильичем и Бонч-Бруевичем мы осматривали ту часть Смольного, в которой находились Совнарком и столовая. Ильич подробно допрашивал, где какая охрана, как она организована, кто стоит на

¹ «Декрет о Государственном издательстве» был принят Центральным Исполнительным Комитетом 29 декабря 1917 г.— *Ред.*

страже, как с пропусками. В одну из тревожных ночей, когда ждали немецких аэропланов, Ильич расспрашивал меня, как дела в районах...

Зная, что я хорошо знаком с А. А. Богдановым, не раз спрашивал, где он, что делает, с большевиками или нет. Сильно ругал его за брошюру «Вопросы социализма»...

Помню также, как Ильич с балкона дворца Кшесинской выступал перед матросами в июльские дни. Тут же был товарищ Луначарский.

Боюсь воспроизводить речь, как бы не напутать, но помню хорошо: Ильич говорил с особенной силой и восхищался матросами.

Последние шли как-то особенно стройно и гордо. Как будто говорили: скоро сумеем взять власть в свои руки!..

«Новый мир», 1958, № 11, стр.
166—167.

Рассказ о потерянном дне¹

Как заунывный осенний дождь, льются в зал потоки скучных речей. Уже давно зажглись незаметно скрытые за карнизом стеклянного потолка яркие электрические лампы. Зал освещен приятным матовым светом. Все больше редеют покойные мягкие кресла широкого амфитеатра; члены Учредительного собрания прогуливаются по гладкому, скользкому, ярко начищенному паркету роскошного Екатерининского зала с круглыми мраморными колоннами, пьют чай и курят в буфете, отводят душу в беседах.

Нас приглашают на заседание фракции. По предложению Ленина мы решили покинуть Учредительное собрание, ввиду того что оно отвергло Декларацию прав трудящегося и обездоленного народа.

Оглашение заявления о нашем уходе поручается Ломову и мне. Кое-кто хочет вернуться в зал заседаний. Владимир Ильич удерживает.

¹ Из книги «Рассказы мичмана Ильина». — *Ред.*

— Неужели вы не понимаете,— говорит он,— что если мы вернемся и после Декларации покинем зал заседаний, то наэлектризованные караульные матросы тут же, на месте, перестреляют оставшихся? Этого нельзя делать ни под каким видом,— категорически заявляет Владимир Ильич.

После фракционного совещания меня и других членов правительства приглашают в Министерский павильон на заседание Совнаркома. Я состоял тогда заместителем народного комиссара по морским делам («Замком по морде» сокращенно прозвали мою должность испытанные остряки).

Заседание Совнаркома началось, как всегда, под председательством Ленина, сидевшего у окна за письменным столом, уютно озаренным настольной электрической лампой под круглым зеленым абажуром.

На повестке стоял только один вопрос: что делать с Учредительным собранием после ухода из него нашей фракции?

Владимир Ильич предложил не разгонять собрание, дать ему ночью выболтаться до конца и с утра уже никого не пускать в Таврический дворец. Предложение Ленина принимается Совнаркомом. Мне и Ломову пора идти в зал заседаний.

— Ну ступайте, ступайте,— напутствует нас Владимир Ильич.

С напечатанным на машинке текстом мы вдвоем спешим в зал заседаний. Все остальные большевики направляются в кулуары. С согласия Ломова я беру на себя оглашение Декларации.

Войдя в зал заседаний, мы проходим в ложу правительства, расположенную рядом с трибуной оратора.

Плохо очиненным карандашом я пишу на вырванном из блокнота клочке бумаги:

«По поручению фракции большевиков прошу слова для внеочередного заявления. Раскольников».

Поднявшись на цыпочки, протягиваю листок уже переставшему улыбаться Чернову, сидящему в кресле на высокой эстраде с величавой суровостью египетского жреца во время торжественного обряда. По окончании речи очередного оратора Виктор Чернов объявляет:

— Слово имеет член Учредительного собрания Раскольников.

Я поднимаюсь на трибуну и во весь голос, без ложного пафоса, но по мере возможности четко и выразительно читаю наше заявление, подчеркивая наиболее важные места. В сознании серьезности оглашаемого документа весь зал насторожился.

Пустые скамьи левого сектора, где еще недавно сидели большевики, зияют, как черный провал. В матросской фуражке, лихо сдвинутой набекрень, с ухарски выбивающимся из-под нее густым клоком черных смолистых волос, стоит у дверей веселый и жизнерадостный, весь опоясанный пулеметными лентами начальник караула Железняков. Рядом с ним теснятся в дверях несколько депутатов-большевиков, напряженно следящих за тем, что делается в зале.

Среди мертвой тишины я открыто называю эсеров врагами народа, отказавшимися признать для себя обязательной волю громадного большинства трудящихся. Весь зал словно застыл в безмолвии.

Несмотря на резкий язык нашего заявления, никто не перебивает меня. Объяснив, что нам не по пути с Учредительным собранием, отражающим вчерашний день революции, я заявляю о нашем уходе и спускаюсь с высокой трибуны. Публика неистовствует на хорах, дружно и оглушительно бьет в ладоши, от восторга топает ногами и кричит не то «браво», не то «ура».

Кто-то из караула берет винтовку на изготовку и прицеливается в лысого Минора, сидящего на правых скамьях. Другой караульный матрос с гневом хватает его за винтовку и говорит:

— Бр-о-о-ось, дурной!

Владимир Ильич, уже одетый, отдает в Министерском павильоне последние указания.

— Я сейчас уезжаю, а вы присмотрите за вашими матросами, — улыбаясь, говорит мне товарищ Ленин.

На прощание Владимир Ильич крепко пожимает мою руку, держась за стенку, надевает галоши и через занесенный снегом подъезд Министерского павильона выходит на улицу.

Морозная свежесть врывается в полуоткрытую дверь, обитую войлоком и клеенкой. Мойсей Соломонович Урицкий, близоруко щуря глаза и поправляя свисающее

пенсне, мягко берет меня под руку и приглашает пить чай. Длинным коридором со стеклянными стенами, напоминающим оранжерею, мы обходим шелестящий многословными речами зал заседаний, пересекаем широчайший Екатерининский зал с белыми мраморными колоннами и не спеша удаляемся в просторную боковую комнату. Урицкий наливает чай, с мягкой, застенчивой улыбкой протягивает тарелку с тонко нарезанными кусками лимона, и, помешивая в стаканах ложечками, мы предаемся задушевному разговору.

Вдруг в нашу комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко с густыми черными волосами и небольшой, аккуратно подстриженной бородкой, в новенькой серой бекеше со сборками в талии. Давясь от хохота, он раскатистым басом рассказывает нам, что матрос Железняков только что подошел к председателскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему:

— Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.

Дрожащими руками Чернов поспешно сложил бумаги и объявил заседание закрытым.

Было 4 часа 40 минут утра. В незавешенные окна дворца глядела звездная, морозная ночь. Обрадованные депутаты шумно ринулись к вешалкам, где заспанные швейцары в потрепанных золоченых ливреях лениво натягивали на них пальто и шубы.

В Англии когда-то существовал Долгий парламент. Учредительное собрание РСФСР было самым коротким парламентом во всей мировой истории. Оно скончалось после 12 часов 40 минут бесславной и безрадостной жизни¹.

¹ 6 января 1918 г. декретом ВЦИК Учредительное собрание было распущено. В. И. Ленин назвал день 5 января потерянным днем. Политику партии и правительства по отношению к Учредительному собранию поддержал открывшийся 10 января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, к которому в полном составе присоединился проходивший в то время III Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Объединенный Всероссийский съезд Советов принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». — *Ред.*

Когда на другое утро Дыбенко и я рассказали Владимиру Ильичу о жалком конце Учредительного собрания, он, сощуриив карие глаза, сразу развеселился.

— Неужели Виктор Чернов беспрекословно подчинился требованию начальника караула и не сделал ни малейшей попытки сопротивления? — недоумевал Ильич и, глубоко откинувшись в кресле, долго и заразительно смеялся.

Ф. Раскольников, На боевых постах, Воениздат, М. 1964, стр. 252—255.

К покушению на Ленина

Это было шестого января, в крещение, в Петербурге, на Большой Болотной, в общежитии членов Учредительного собрания, вечером. Учредительное собрание только что было разогнано¹. Еще в пять часов утра, усталые, с чувством побитости, мы пешком возвращались из Таврического дворца на Болотную. Было морозно, пустынно. Город спал. Возвращались вразброд, счастливые сознанием, что остались целы. Никто, конечно, не гово-

¹ Автор очерка И. Е. Вольнов (И. Вольный) был избран членом Учредительного собрания от Малоархангельского уезда Орловской губернии. После роспуска Учредительного собрания писатель пережил глубокое разочарование в программе партии эсеров и навсегда порвал с ней. Осенью 1919 г. Вольнов побывал у В. И. Ленина в Кремле. Об этой встрече В. Д. Бонч-Бруевич писал:

«Владимир Ильич встал из-за стола своего кабинета, вышел к нам в Управление делами Совнаркома, которое было расположено тут же рядом, через зал заседания Совнаркома, и дружески встретился с Иваном Вольным, крепко пожал ему руку и увлек его к себе в кабинет. Более двух часов он беседовал с ним обо всем том, что он видел, что наблюдал своими глазами.

рил, что он счастлив. Внешне каждый старался показаться угнетеннее другого. Но выдавала поспешность, с которой бежали от страшного места, набитого матросами и красногвардейцами.

И всем было стыдно.

На Болотной, не раздеваясь, как больные, падали на казенные кровати,— там был военный госпиталь,— пытались уснуть. Жуткая ночь стерла хлесткие фразы, которыми дурачили избирателей.

Жизнь сдернула нарядные перья. Перед собственной совестью, как в бане, мы предстали голенькими уродцами, с болячками, вывихами, горбами, которые тщательно скрывали друг от друга.

Уснули пьяным сном.

Все знали: песня пропета,— фальшиво и стыдно. Как фальшиво и стыдно было слышать петушиный задор председателя Чернова, призывавшего в Таврическом дворце хоры к порядку (иначе он «будет вынужден прибегнуть к другим способам воздействия»), и ответный гогот матросов с винтовками и бомбами:

— Попробуй!..

Часов в двенадцать дня любопытные сбегали в Таврический, их прогнали матросы,— с обиженными лицами они ходили потом по комнатам общежития и жаловались на подлость большевиков.

Мы, орловцы, семеро, занимали узенькую комнату на третьем этаже. С нами Дьяконов, циник и пьяница, таин-

Тот спокойно, эпически рассказывал Владимиру Ильичу и хорошее и дурное, ничего не скрывая, ничего не прикрашивая.

— Вот она, не бумажная, а действительная жизнь...— сказал задумчиво Владимир Ильич.

В. И. Ленин заинтересовался планами писателя:

— А что вы теперь будете делать?

— Да вот хотел бы пошляться по России, заглянуть на Волгу и все примечательное описать.

— Это дело,— ответил Владимир Ильич.— ...Если вы действительно хотите походить, поездить по России, мы вам дадим охранную грамоту, обращенную ко всем властям, чтобы вам не чинили препятствий, а, наоборот, помогали. Вот вы будете собирать материалы, а там, смотришь, и напишете повесть из нашего революционного времени... Сообщайте нам о себе...

Иван Вольный очень оживился и благодарил Владимира Ильича за все».

Об отношении Ленина к И. Вольнову упоминает М. Горький в своих воспоминаниях о Ленине (см. стр. 333 настоящего сборника).— *Ред.*

ственно посвятивший нас, что он в эсеровской БО¹. Весь декабрь он исчезал туда и сюда. Говорят, ездил на фронт, был в Двинске, Пскове, в украинских воинских частях Северного фронта, в партизанском отряде полковника Глазенапа: возил партизанам подарок членов Учредительного собрания — несколько тысяч рублей. Партизаны покупали на эти деньги спирт, обещали умереть за Учредительное собрание. Стояли они в барском имении, в двенадцати верстах от станции Антонополь. Говорят, чаще он ездил в пригородные кабаки, где легко можно было достать коньяк и «девочек». Возвращался измученный, желтый, хриплый, пил клюквенный квас.

Часа в два пополудни позвонили к обеду, но никто не встал. Часа в четыре по коридору зашаркали туфли, сапоги. Вяло умывались. Вяло бродили из комнаты в комнату. Остановливались и осторожно шушукались: в десять вечера предполагалось закрытое заседание меньшевиков и эсеров в гимназии Гуревича — «на предмет выработки программы дальнейших действий». Дьяконов ушел из нашей комнаты.

Мужики, члены Учредительного собрания, грудились особо. Их набилось в нашу комнату человек пятнадцать. Растерянно глядели друг на друга, чадя махоркой. Растерянно спрашивали: как им теперь — ехать домой не опасно?

— Убьют, черти, не поверят. Скажут: выбирали, как хороших, а ты, сукин сын, против нас пошел?.. А хвалился умереть! — забубнил один, страдальчески гримасничая.

На него злобно зашипели. Мужик мял рваную шапку в руках и не унимался.

— А что — не правда, что ли?.. Матросишко схватил Чернова за шиворот, а мы — в дыры... Уж коли с «теми» бы, так с «теми». Коли — против, пускай убивали бы... А то аж стыдно до смерти: хуже заплеванных... Разве Учредительная собрания должна быть такая?..

В это время в комнату вошел солдат — высокий, в новенькой шинели без погон, в новой барашковой шапке. Он спросил Дьяконова. Мужики не знали Дьяконова и вопросительно уставились на нас.

— Его сейчас нет, — проговорил мой товарищ.

¹ Боевая Организация. (Прим. автора.)

Солдат вышел.

Снизу, из столовой, зазвонили к чаю. Мужики стали спускаться по лестнице. В комнате остались я и Плотников, брянец, рабочий.

Через час солдат опять вошел.

— Дьяконов не пришел еще? — спросил он.

— Нет. Присядьте, подождите, — ответил брянец. Он подвинул табуретку к постели Дьяконова.

Солдат срывно сел и опустил голову на руки. Мы переглянулись: пьяный?

Плотников вышел. Солдат кашлянул.

— Я вас видел, — проговорил он. — В Луге.

— Возможно.

— Я из Струг Белых, из тяжелого артиллерийского дивизиона. Две недели назад у нас был Дьяконов.

— Да? Он часто отлучается из Петербурга.

— Да, он был у нас. Я председатель дивизионного комитета.

— Разве?

— Да. Не знаете, скоро придет Дьяконов?

— Право, не знаю. Наверное, скоро. Ну, как там у вас, в дивизионе, не собираются по домам?

— Нет, наши не пойдут.

Солдат странно качнулся на табурете и испуганно поглядел на меня.

— Я сейчас из Смольного, — вдруг прошептал он.

Только теперь я заметил, что он странно бледен и дрожит.

«Определенно пьяный... Вероятно, собутыльник Дьяконова», — мелькнуло в голове.

Вошел брянец с чайником.

— Ну, давайте чайком баловаться. Вам налить, товарищ?

— Нет, спасибо. — Солдат отрицательно мотнул головой.

Мы молча пили чай, а солдат, сидя вполоборота, глядел в окно, в серую синь. Изредка мы переглядывались с брянцем. Вдруг солдат резко повернулся и стал рассматривать его.

— Вы старый эсер? Не мартовский? — спросил он каким-то захлебывающимся шепотом, подвигаясь к Плотникову.

Тот молча кивнул головой.

— Я, товарищи, только что из Смольного,— быстро, срывно, обжигая глазами, заговорил он.— Я так и условился. То есть у нас так решено... Это ничего, что я вам говорю все это? Предполагали так: предполагали, что Учредительное собрание не состоится, большевики его разгонят... И предполагали так: мы не должны это стерпеть... И виноват во всем Ленин. Это он затеял кашу. И как только не состоится Учредительное собрание, я, от имени массы, должен пойти. И как доберусь — одну из двух.

Солдат порывисто полез в карманы и положил на стол, возле кружек с чаем, две шершаво-круглых «японских» гранаты.

— Я только что оттуда, из Смольного,— шептал он.— Я предъявил документы. Я представитель тяжелого дивизиона, меня товарищи посылают в Петроград, в Смольный, к товарищу Ленину для разговоров: к кому нам присоединиться? И меня пропустили. И я разговаривал с Лениным. Мы сидели вот так: он по ту, а я по эту сторону стола, никого больше не было. У меня была рука в кармане, я держал в руке вот эту штуку. «Зачем вы, говорю, разогнали Учредительное собрание, мне надо это объяснить моим товарищам...» И он мне сказал: «Так нужно, товарищ»,— и говорил со мной больше часу, и очень сердился, когда кто-нибудь входил к нам. А я слушал и думал: «Сейчас стукнуть об стол или подождать?..» И говорил он очень просто... Если бы он хоть одно серьезное слово, я бы... мы бы оба взлетели... А говорил — вроде товарищ с товарищем... И я поверил ему всей душой, что разогнать Учредительное собрание необходимо. И не стал бить. И ушел с радостью в сердце... А вышел, прошел, подумал: а как же товарищи? Разве поверят, что он доказал мне? «Струсил, скажут, сволочь, только дело испортил»... А я теперь на всю жизнь думаю: не струсил и дела не испортил...

Почти моляще спросил:

— Товарищи, правильно я поступил или нет?

Это было неожиданно, и мы молчали.

Брянец стал ходить по комнате вихляющими шажками.

— А по-вашему, товарищ, правильно? — наконец спросил он, останавливаясь перед солдатом.

— По-моему, правильно! — быстро и страстно выкрикнул солдат.

— Значит, правильно,— ответил рабочий.

Солдат вспружинился.

— А вы, а вы,— тыкал он пальцем в нас обоих,— вы вправду верите, что это я не с испугу? Что это я поверил ему? Что у меня стало сомнение: нужно ли это? Вы этому верите? — хватая нас за руки, захлебывался он.— Ведь это же ничего, что я вам всю правду рассказываю?

— Да, это ничего, я вам верю,— бормотал рабочий.

В этот момент вошел Дьяконов. Пристально поглядел на солдата. Солдат бросился к нему, протягивая руки, бормоча, что он только что из Смольного, разговаривал с «дедом», никуда еще не заходил...

— Ну?

— Я говорил вот товарищам — я не могу, не мог, я верю ему...— говорил он.

— Г... собачье,— раздельно процедил Дьяконов, с ненавистью глядя в замученное лицо солдата.

Солдат горестно вскрикнул и выбежал из комнаты.

«Японки» остались на столе.

Солдат этот был из Струг Белых, из тяжелого артиллерийского дивизиона, по фамилии или по кличке Беленький. Где он теперь? Жив?..

«Нева», 1957, № 5, стр. 148—150.

Из очерка «Октябрь в Москве»

Январь 1918 года. В числе депутатов Московского Совета я был делегирован на III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Подавляющее большинство на этом съезде составляли члены партии большевиков. Еще не отзвучало эхо Октябрьских боев. Еще свежо дыхание Революции. На лицах участников великих событий еще видны следы переживаний. Рабочие, солдаты, матросы, интеллигенты. Зал переполнен. Но Ленина в президиуме не видно.

На трибуне съезда товарищ Свердлов. Своим зычным, металлическим голосом, держа в руках «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», он провозглашает первый ее пункт:

— Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит Советам...

Короткая пауза... Потом словно взрыв! Задрожали стены, люстры, воздух. Оглушительный крик: «Ура!..» Это был взрыв восторга победившего класса! Это был

вдох веков! Это был ураган чувств! Казалось, ему не будет конца...

И вдруг чей-то мощный голос, как звук трубы, прорвал этот шум:

— Да здравствует Ленин!

— Ленин! Ленин! Ленин! — дружно подхватили голоса.

Из задних рядов президиума незаметно вышел невысокий, коренастый человек с характерной головой и большим лбом. Необычайно просто, серьезно, без улыбки, держа руки в карманах, он неловко поклонился раз, другой и, мягко картавя, сказал, что выступит, когда до него дойдет очередь. Сказал и снова скрылся.

Кто хоть раз видел этого человека, тот навсегда запомнит его. Печать дела, дела Революции — первой в истории мира, — лежала на нем. Об этом говорили его глаза, его жесты, каждая морщинка на лице. Об этом говорил весь его облик.

Разумеется, это был Ленин.

В. Билль - Белоцерковский. Избранные произведения, т. 1, Гослитиздат, М. 1962, стр. 273—274.

Из предисловия к книге
Л. Войтоловского «По следам
войны»

... **П**рипоминаю случай с В. И. Лениным. Владимир Ильич как-то в 1918 году, беседуя со мной о настроении фронтовиков, полувопросительно сказал:

— Выдержат ли?.. Не охоч русский человек воевать.

— Не охоч! — сказал я и сослался на известные русские «плачи завоенные, рекрутские и солдатские», собранные в книге Е. В. Барсова «Причитания северного края».

И еще слушай же, родная моя матушка,
И как война когда ведь есть да сочиняется,
И на войну пойдем, солдатушки несчастные,
И мы горячими слезами обливаемся,
И говорим да мы несчастны таковы слова:
«Уж вы, ружья, уж вы пушки-то военные,
На двадцать частей, пушки, разорвитесь-то!»

Надо было видеть, как живо заинтересовался Владимир Ильич книгой Барсова. Взял ее у меня, долго он ее мне не возвращал. А потом, при встрече, сказал: «Это противовоенное, слезливое, неохочее настроение надо и

можно, я думаю, преодолеть. Старой песне противопоставить новую песню. В привычной своей, народной форме — новое содержание. Вам следует в своих агитационных обращениях постоянно, упорно, систематически, не боясь повторений, указывать на то, что вот прежде была, дескать, «распроклятая злодейка служба царская», а теперь служба рабоче-крестьянскому, советскому государству,— раньше из-под кнута, из-под палки, а теперь сознательно, выполняя революционно-народный долг,— прежде шли воевать за черт знает что, а теперь за свое, и т. д.».

Вот какую идейную базу имела моя фронтовая агитация...

«В. И. Ленин о литературе и искусстве», Гослитгиздат, М., 1960, стр. 678.

«Москва...»

...Владимир Ильич в часы отдыха не любил разговаривать, а я часто бывал с ним в часы отдыха и помню, что, очевидно, он просто любил думать что-нибудь свое в это время. С ним можно было проходить часа два и молчать. И он с благодарностью воспринимал, что ему помогали отдыхать.

Я лично не отрывал Владимира Ильича от отдыха, но однажды пристал к нему, пристал, как ярый питерец. Все мы, переехавшие тогда из Петрограда в Москву, как-то сначала остро ощущали разлуку с этим городом, остро и даже болезненно, и я насел на Владимира Ильича, как это мы покинули Петроград¹. А он мне на все мои вздохи и охи и на все аргументы, а аргументов я находил бесконечное количество, прищуривши так один глаз, говорил всего одно слово:

— Москва...

Я ему сейчас же, понимаете, снова!.. А он опять:

— Москва...

И он мне так раз десять говорил:

— Москва... Москва... Москва...

¹ В марте 1918 г. Советское правительство из Петрограда переехало в Москву.— *Ред.*

Но все с разными интонациями. И к концу речи я тоже начал ощущать, а ведь в самом деле *Москва!*..

Это было у меня первое ощущение Москвы. Теперь мы все, и я в частности, невероятные москвичи, потому что срослись с той Москвой, которая все вытерпела, все создала. Москва... Это мировой город, и вся символика в этом удивительном слове.

Сейчас надо сделать какие-то заявки для книги, в которой участвовать — это уже честь¹. И я все думал, что бы мне взять. И вспомнил Ленина — Москва... И вот я думаю, что, если мне удастся написать что-нибудь, я так и напишу:

— Москва...²

«Литературная газета», 1964,
№ 48, 21 апреля.

¹ Эпизод взят из выступления Д. Бедного в апреле 1936 г. на совещании по поводу пятилетки «Две пятилетки», инициатива создания которого принадлежала А. М. Горькому. — *Ред.*

² В день двадцатилетия Советской власти, 7 ноября 1937 г., Д. Бедный написал стихотворение «Столица — народ». — *Ред.*

Г. САННИКОВ

...И шурился: глаза слепила Россия завтрашнего дня

Первый раз я видел Ленина на IV Всероссийском
Чрезвычайном съезде Советов. Это было 14 марта
1918 года. Я слушал его выступление. Видел, как он
беседовал с делегатами, как, присев на край дивана,
он писал резолюцию, раскрыв на колене блокнот, как
взволнованно ходил по комнате президиума в накину-
той на плечи шубе. Все это видел я, находясь в ка-
рауле.

Охрана съезда, происходившего в Доме Союзов, была
поручена Московскому красно-студенческому батальону —
одному из отрядов Красной гвардии. Чтобы лучше слы-
шать Ленина и быть ближе к нему, я, как один из членов
штаба батальона, избрал пост в дверях Колонного зала

при выходе на трибуну. На этом посту мне был виден одновременно и Колонный зал и все, что происходило в примыкавшей к залу комнате членов президиума ВЦИКа.

Запомнилось появление Ленина на трибуне. После слов председательствующего Якова Михайловича Свердлова: «По центральному пункту повестки дня — ратификации мирного договора — слово предоставляется Владимиру Ильичу Ленину» — зал огласился дружными рукоплесканиями. Стремительный и энергичный Ленин уже стоял на трибуне. Заметно тяготясь нестихающими аплодисментами, он извлек из кармана жилетки часы, посмотрел на них и показал часы делегатам. Потом поднял руку, громко произнес: «Товарищи!» — и в установившейся тишине заговорил. Его речь была убедительна и ясна, все его доводы в пользу подписанного Советским правительством мирного договора были неопровержимыми. Ленин говорил четко и энергично, заряжая своей энергией слушателей и воодушевляя их на решение предстоящих задач по укреплению Советской власти и по экономическому подъему страны. Он то деловито обсуждал вопрос о старой царской армии, заболевшей разложением и деморализацией, то сурово обрушивался на сторонников «левой» фразы и горе-теоретиков «революционной войны». Он говорил о завоеванной передышке для мирного строительства и создания дисциплинированной, хорошо вооруженной и обученной Красной Армии. Глубочайшим убеждением были проникнуты воодушевившие всю аудиторию его слова о том, что международная рабочая революция не за горами, и восторженные слушатели овацией приветствовали Ленина.

Потом в перерыве, когда Владимир Ильич ходил по комнате президиума, я видел, как, приближаясь к проходу в Колонный зал, он щурился от яркого света люстр, и мне тогда показалось, что его взор проникает в будущее и он видит озаренную Россию, Россию завтрашнего дня. И позднее, когда я читал книгу «Россия во мгле», в которой Уэллс высказывает сомнения о возможности реализации ленинского плана электрификации России, я невольно вспоминал свою первую встречу с Лениным: ярко освещенный Колонный зал и ленинский прищур.

Эта первая встреча с Лениным, врезавшиеся в память особенности и детали помогли мне потом нарисовать образ Владимира Ильича в стихотворении «Ленин и Уэллс»:

Внимателен и откровенен,
В суждениях неопровержим,
Беседовал с Уэллсом Ленин,
Растерянным, но не чужим.
То замыкался на мгновенье,
То вдруг улыбчив, то суров,
Развеивал недоуменья
У автора «Борьбы миров».

И тот дивился, озаренный,
На собеседника в Кремле,
На то, как он над разоренной
Страной, простиершейся во мгле,
Волнуясь, зажигал светила
Высоковольтного огня
И шурился: глаза слепила
Россия завтрашнего дня.

Публикуется впервые.

Ленин на трибуне



Это было 29 апреля 1918 года. Заседание ВЦИК в помещении Политехнического музея. На повестке: «Очередные задачи Советской власти». Докладчик — Владимир Ильич Ленин.

Большая и хорошо освещенная аудитория быстро заполнялась делегатами. А балкон давно уже был переполнен публикой, среди которой преобладали серые солдатские гимнастерки и черные рабочие куртки. Но и в гимнастерках нетрудно было угадать рабочих, вернувшихся с фронта. Кое-где мелькали шляпки и белоснежные сорочки.

И внизу и на балконе сплошной гул.

Шляпки на балконе озираются и молчат. Гудят гимнастерки и куртки:

— Папаша сегодня!.. Слышь... папаша!

— Ильич?

— Ну да... а как же!

— Покажет соглашателям!

В проходах между рядами суетливо бегают делегаты. Наклоняются к сиденьям, жестикулируют.

Мой сосед, сибиряк, глядя в президиум, перечисляет мне нескольких лиц:

— Вот эта... смуглая, кутается в воротник... Спиридонова... А этот... в расстегнутой тужурке — Свердлов. А тот вон... беленький... юркий...

Сосед не успел окончить фразу: внизу неожиданно раздалась аплодисменты, сначала жидко, потом сильней и сильней.

Аплодисменты быстро перекинулись к нам на балкон, а через минуту аудитория снизу доверху дрожала от рукоплесканий.

В первый момент я не понял, в чем дело. Видел, что из боковой двери на кафедру быстро вошел человек: небольшого роста, в потертом демисезонном пальто, в приплюснутом картузе, не то с папкой, не то с портфелем в руках.

Аудитория бурно и несмолкаемо гремела аплодисментами. А вошедший, не обращая внимания на эту бурю аплодисментов, быстро снял с себя и бросил куда-то за стол картуз, пальто, портфель, в то же время шуточно о чем-то говоря со Свердловым.

Мой сосед пояснил:

— Ленину аплодируют, любят его...

Сотни восторженных, искрящихся глаз впились в одну точку в президиуме. Аплодировали долго, ожесточенно.

Я тоже впился глазами в фигуру Ленина. Я искал на сцене сказочного героя.

А там, около небольшой группы, стоял внешне самый обыкновенный человек со смеющимся лицом, маленький, коренастый, в поношенной пиджачной паре, в белой мягкой манишке, с темным галстучком. Движения головы и рук его были быстрые, часто меняющиеся.

Свердлов подошел к своему стулу в центре президиума, позвонил и, громко объявив об открытии заседания, прочел повестку.

Потом сказал:

— Слово предоставляется Председателю Совета Народных Комиссаров — товарищу Ленину.

Опять бурный взрыв аплодисментов.

Владимир Ильич, с бумажкой в руках, быстро обошел длинный стол президиума и стал сбоку, около кафедры.

Наступила тишина...

Много приходилось мне слышать докладов и многих общепризнанных ораторов. Но тут... все мои понятия о докладах и все представления об ораторских приемах перевернулись. Поражала необычайная простота оборотов

речи Ленина, глубина и меткость определений, которые гвоздями входили в сознание слушателя. Эти мысли долго сверлили мозг,— спустя месяцы и годы.

Поражало, что Владимир Ильич как будто не докладывал, а просто интимно беседовал с одними, журил других и бичевал третьих.

Ни одной партии он как будто не упоминал. Но чувствовалось, что подчеркивания отдельных мест доклада заставляли гореть восторгом глаза большевиков, пришибали интернационалистов и анархистов и уничтожающе действовали на меньшевиков и эсеров.

Обращала внимание и еще одна особенность речи Владимира Ильича, которой я не замечал ни у одного из известных мне ораторов ни до, ни после товарища Ленина: его речь была отточенной до мельчайших подробностей, несмотря на всю остроту и непосредственность тех чувств, которые вкладывал Владимир Ильич в доклад и подчеркивал интонацией своего голоса.

Этот голос вызывал напряженное деловое внимание аудитории.

Вот ленинский голос зазвучал тревогой и ненавистью к тем, кто разрушал и саботировал великое дело освобождения трудящихся.

И ненависть загоралась огнем во взглядах людей, одетых в серые гимнастерки и черные куртки.

Деловое напряжение слушателей сменялось ощущением огромной ответственности, которую взваливал на свои плечи пролетариат и его классовая власть.

Конец доклада был насыщен такой уничтожающей иронией к врагам рабочего класса, что тишина аудитории то и дело прерывалась взрывами заразительного смеха.

Казалось, что Ленин стер, уничтожил, похоронил своих противников до их выступлений.

Аудитория откликнулась долгими, оглушительными аплодисментами.

Ленин не только говорит и бросает в аудиторию свои пламенные мысли — нужные, государственные. Нет, он еще впитывает в себя и переводит на свой раскаленный язык то невидимое и неуловимое, что несетя к нему напряженным электрическим током от тысячной аудитории, что струится из глаз этой черно-серой громады внизу и на балконе.

Годы и перемежающиеся события стерли в моей па-

мяти многое из того, что говорил Ильич. Но навсегда врезалась в память огненная мысль, пронизывающая доклад:

Советской России придется пережить период гражданской войны и строительства социализма, прежде чем она приступит к коммунистическому переустройству общества.

Ленин знал глубочайшие тайники человеческой души и находил в ней отклик тому, что наболело у него, что веками копилось в измученных, истерзанных сердцах миллионов простых людей.

В его словах, в его голосе звучала неоспоримая большевистская правда.

Но вот затихла буря аплодисментов. Начались прения.

Крикливо и малоубедительно прозвучало выступление эсера Камкова.

Точно осенний шорох листьев прошуршал шипящий голос меньшевика Мартова.

Что-то прокричал седовласый и костлявый анархист Ге, размахивающий руками.

Владимир Ильич сидел около стола на углу, писал на листке бумаги и часто, поднимая одну бровь, смотрел на оппонентов. Иногда он улыбался и крутил головой, как бы говоря: «Ну и городит!» И тотчас же склонялся к листку бумаги и быстро, быстро записывал.

Когда говорил и размахивал длинными руками седовласый старик анархист, Владимир Ильич несколько раз откидывал назад голову и беззвучно смеялся.

Наконец кончились и речи.

Владимир Ильич снова впереди стола с бумажкой в руках.

Казалось, в этой огромной, переполненной людьми аудитории рассыпаются огненные искры, бороздят аудиторию воспламеняющие молнии.

И опять обращало внимание необычайное умение Ильича строить речь. Слушатель не утомлялся, а громко и добродушно хохотал, когда Ленин жестоко высмеивал левых эсеров и анархистов, а когда Ленин гневно бичевал меньшевиков и правых эсеров, а они отбивались репликами с мест, аудитория отвечала им криками, стуком ног и грозным ревом голосов. Особенно бушевал балкон. Он бушевал, как море в непогоду.

По временам казалось, что вся эта черно-серая громада людей сорвется с балкона, ухнет через барьер на голову своих врагов и разорвет их в клочья.

Но звонок и громкий властный голос товарища Свердлова вовремя останавливают гневно бушующую стихию.

А Владимир Ильич по-прежнему спокойно стоит с бумажкой в руках и как-то по-особому добродушно иронически улыбается. Глаза его весело искрятся, точно говорят: «Не сердитесь, товарищи рабочие! Пусть эсеры пошумят! Нам это не страшно...»

Но вот закончилось и заключительное слово Владимира Ильича.

Охваченный бурей неповторимых переживаний и ощущений от выступления Ильича, медленно спускался я с балкона и шел к выходу.

Помню густую тесную толпу, выносившую меня в стихийном потоке на улицу. Вокруг меня горели энтузиазмом глаза.

То там, то здесь звучали короткие фразы:

— Не выдал папаша!..

— Поддержал!..

— Долго не забудут меньшевики и эсеры...

— Еще бы!.. Ильич-то?! Он, брат, покажет!

— С ним все будет наше!..

— Все возьмем! Весь мир завоюем!

Толпа медленно растекалась по тротуарам.

Мне вспомнился еще случай.

На VIII съезде Советов, кажется в заключительном слове по докладу Совета Народных Комиссаров, Владимир Ильич бичевал международный капитал и, обращаясь к ломам иностранных представителей, ядовито их высмеивал.

Делегаты съезда хохотали и шумно аплодировали Ленину.

Взглянув на дипломатическую и журналистскую ложи, я был поражен.

Обнажив золотые зубы до ушей, иностранцы тоже долго и шумно аплодировали Ленину.

Ф. Березовский, Ленин на трибуне, Омское книжное издательство, 1962, стр. 5—10.

Делегация I съезда РКСМ у В. И. Ленина

29 октября 1918 года при бурной овации делегатов и гостей Владимир Ильич Ленин был единогласно избран почетным председателем I Всероссийского съезда союзов рабочих и крестьянской молодежи. В тот же день президиум съезда направил Ленину записку с просьбой принять делегацию съезда.

Ответ на эту записку пришел дня через три, часов в 11 вечера. Требовалось безотлагательно обменяться мнениями. Членов президиума, живших в городе, созвали через курьеров, а тех, которые в этот час уже блаженно спали на жестких койках делегатского общежития, подняли, как по военной тревоге.

Заседание президиума было непродолжительным, но очень напряженным. В первую очередь нужно было решить вопрос, кого же послать к Ленину. В ближайший день пленарного заседания не предвиделось (работали секции и комиссии), и выбрать делегацию на самом съезде было невозможно. А надо было явиться в Кремль на следующий день в десять часов утра. Что же делать?

Решили, что пойдет в Кремль президиум съезда.

После этого телеграфным стилем набросали список наиболее важных событий и мыслей, которые надо было сообщить Владимиру Ильичу. Здесь разногласий не было. Разногласия начались с вопроса о том, кому поручить выступление от имени делегации. Ряд товарищей внес предложение выделить докладчика. Другие настаивали на том, чтобы делегаты, выступая по очереди, были коллективным докладчиком. А уралец пустился в длинные рассуждения, из которых явствовало, что мы как коллективисты должны говорить все разом.

Уральца коллективно высмеяли, но вряд ли убедили.

Большинством голосов решили выделить докладчика и тут же приняли постановление: если докладчик начнет говорить не то, что надо, кто-нибудь из нас обязан наступить ему на ногу или дернуть за полу тужурки.

Мы уже хотели разойтись. Но этому помешал самый молодой член нашего президиума. Директивным тоном он заявил, что все мы не имеем права сидеть перед Лениным! Даже если он попросит сесть, мы обязаны стоять. Товарищи, видевшие и знавшие Владимира Ильича, попытались убедить юношу в нелепости его заявления:

— Как тебе не стыдно так думать о Ленине! Вождь мировой революции является образцом человеческой скромности и благородства. Вряд ли можно найти на свете человека, который так любит и уважает людей, как Ленин.

После длительного раздумья наш оппонент заявил:

— Вы действуйте, как хотите, а я оставляю за собой право решить вопрос по-своему...

В половине девятого утра все собрались в вестибюле общежития в Малом Харитоньевском переулке, наскоро просмотрели тезисы докладчика и отправились в Кремль. Идти надо было недалеко. Дорога могла отнять минут двадцать; ну, если очень уж медленно двигаться,— полчаса. Но «двигались» по-особому. На каждом перекрестке подолгу задерживались, ибо кому-нибудь приходила в голову «самая важная» мысль, которую необходимо сообщить Ленину, «самое гениальное» предложение, которое надо внести. Все останавливались, устраивали (стоя!) заседание, давали высказаться «за» и «против», принимали

или отвергали предложение и шли дальше — до следующего перекрестка. На углу Мясницкой улицы и Лубянской площади простояли не менее двадцати минут. Пропуска в Кремль выдавали тоже не очень быстро.

Словом, явилась делегация в приемную Совнаркома, опоздав на сорок минут...

Выйдя из кабинета Владимира Ильича Ленина, его секретарь, товарищ Фотиева, выразительно оглядела делегатов и строгим голосом произнесла:

— Молодые люди! Владимир Ильич очень любит молодежь и рад с нею разговаривать. Но он — не знаю, помните ли вы об этом, судя по вашему поведению, — является Председателем Совета Народных Комиссаров, и время у него в достаточной степени занято. Товарищ Ленин всегда повторяет, что опоздание на одну минуту к назначенному сроку уже является преступлением. Так как вы превысили эту норму ровно в сорок раз и так как время у Владимира Ильича сегодня особенно занято, он только что просил меня сообщить вам, что он вас сейчас не примет и просит пожаловать завтра, в десять часов утра.

«Молодые люди» потоптались в приемной, отметили пропуска и, не глядя друг на друга, а также не останавливаясь ни на одном перекрестке, в полном молчании добрались за четверть часа до Малого Харитоньевского переулка.

Так, еще не видя Ленина, делегаты получили от него урок, который сами запомнили на всю жизнь и который всей молодежи надо запомнить. Опоздание на одну минуту уже является преступлением. Берегите свое время! Берегите чужое время! Будьте точны и организованны, аккуратны и дисциплинированы. Наше время нам очень дорого...

На следующий день делегация пришла в приемную Ленина за полтора часа до назначенного срока. Ровно в 10 часов нас пригласили пройти в кабинет товарища Ленина.

Долгожданный час встречи настал.

Владимир Ильич встретил делегацию у самого порога и с каждым поздоровался за руку. Как будто зная, о чем говорилось позавчера, он весело повторял:

— Проходите, молодые товарищи! Рассаживайтесь! Обязательно рассаживайтесь! Берите стулья, придвигайтесь поближе. Ну, девушку мы, конечно, посадим в кресло. Тащите кресло сюда,— будьте хорошими кавалерами...

Этот маленький эпизод с креслом произвел на нас неизгладимое впечатление. В словах Владимира Ильича, хотя и произнесенных в шутливой форме, проявилась одна из органических черт его характера: уважение к женщине. Поняв это, все с таким усердием постарались оказаться хорошими кавалерами, что едва не повредили ковровую дорожку.

Усадив девушку, мы тоже стали рассаживаться — и только наш самый юный товарищ (не верящий, что Ленин человек скромный) застыл возле своего стула, как свеча...

Владимир Ильич легко двигался по комнате, ласково оглядывая растерявшихся посланцев молодежного съезда. Он сел на свое плетеное кресло у стола и попросил рассказать обо всем, что нам представляется необходимым.

Выступил выделенный нами докладчик... Немало с тех пор слышал я путаных речей, но то, что «загнул» наш товарищ, побивало все рекорды путаницы. Он начал с доисторических времен, говорил пышными фразами, оперировал высокопарными сравнениями, а во всем первом абзаце речи, продолжавшемся минимум три минуты, явно отсутствовали точки и запятые. Увидев, что это к добру не приведет, Владимир Ильич неожиданно задал ему какой-то вопрос. Докладчик немедленно сбился, я тут же наступил ему на ногу, выполняя принятое решение, но все обошлось благополучно, наш самый юный товарищ (убедившись в том, что Ленин человек скромный) решился наконец сесть, но сел он... мимо стула!

Последовал взрыв хохота — и через секунду от нашего смущения не осталось следа. Однако докладчику пришлось прекратить свое выступление. Владимир Ильич сам стал задавать нам вопросы и ввел беседу в русло практически-делового разговора о насущных делах юношеского движения в Советской стране. И как только кто-либо (не только докладчик) начинал говорить пышными фразами или пытался уйти в область пустопорожних рассуждений, Владимир Ильич очень деликатно и ласково, но неумолимо и властно возвращал разговор на главные рельсы. Не любил Ленин политической трескотни! Не любил он также

«обтекаемых» фраз, не любил и равнодушных ответов, в которых проявлялось чиновничье отношение к живому делу.

Многие вопросы, которые задавал Ленин, казались делегатам не очень существенными, особенно вопросы о быте молодежи. Но он настойчиво добивался точного и прямого ответа на них. Трудно нам было понять, что системой своих вопросов, касавшихся самых разнообразных сторон общественной и частной жизни молодежи, Владимир Ильич стремился выяснить, как живет и работает, о чем думает и чем дышит молодое поколение страны, от чего следует его предостеречь, чем надо ему помочь. Владимира Ильича интересовали факты жизни, отношение молодежи к ним, ее способность преодолевать препятствия, думать, загадывать, мечтать.

Вот о чем спрашивал Ленин:

— Сколько на съезде рабочих? Крестьян? Интеллигентов? Каковы их политические убеждения? Как обстоят дела с продовольственным пайком для рабочей молодежи? Есть ли керосин в избах-читальнях? Каковы у молодежи взаимоотношения с родителями? Учимся ли мы стрелять? Как помогаем ликвидации неграмотности? Как помогаем семьям красноармейцев? Как учится молодежь в школах и дома? Ходит ли она в библиотеки? Какими людьми прошлого мы восхищены, кому хотели бы подражать? Каковы взаимоотношения союзов рабочей молодежи «III Интернационал» с городскими и деревенскими «культурно-просветительными кружками», где иногда верховодят враждебные Советской власти интеллигенты? Каково питание у городской молодежи? У деревенской? Слушаем ли мы лекции? Есть ли инструменты для самодеятельных оркестров? Как молодежь отдыхает? Как веселится? В какие песни она влюблена? Переписываемся ли мы с товарищами, ушедшими на фронт? Как прошла на съезде выработка программы и устава? Как участвует фабричная молодежь в поднятии производительности труда? Совершает ли она экскурсии в лес? Катается ли на лодках? Любит ли играть в городки? В шахматы? Кто пишет в наших газетах и журналах? Любим ли мы трудиться? Выпускаем ли листовки? Помогаем ли чекистам? Как деремся с меньшевиками, эсерами и анархистами? Как проводим демонстрации? О чем дискутируем? Есть ли у нас валенки и варежки?

Большинство ответов товарищ Ленин тут же комментировал, и тогда «сами собой» возникали мысли, заключавшие в себе политический анализ того или иного явления, и предложения, дававшие теоретический и практический ориентир для грядущей работы. Иной раз маленькие житейские факты (например, поездки добровольных отрядов рабочей молодежи Владимирской губернии в выходные дни в деревню для починки сельскохозяйственного инвентаря семей бедноты и красноармейцев) он ярко освещал светом марксистской теории; а другой раз высокий идеал и программное устремление Коммунистической партии (например, превращение России в индустриальную державу) раскрывал на примерах практической деятельности партии и Советского государства. Каждое слово Ленина было и руководящим указанием политического деятеля, и советом друга, и наставлением старшего товарища. Одобрять все виды участия молодежи в политической жизни страны, Владимир Ильич вместе с тем настойчиво направлял внимание на те шаги, которые РКСМ должен предпринять, чтобы наша молодежь была не только политически грамотной и образованной, но и бодрой, жизнерадостной, всегда инициативной. Юноши и девушки Советской страны должны жить красиво и полнокровно как в общественной, так и в личной жизни. Борьба, работа, ученье, спорт, веселье, песня, мечта — вот области, в которых молодежь должна проявить себя во весь размах.

Все яснее становилось, почему В. И. Ленин с таким пристрастием и так подробно расспрашивает обо всем, что касается быта и настроений рабочей и деревенской молодежи. Он хотел видеть ее сильной духом и телом, радостной и смелой.

Нельзя было не обратить внимания на то, что любое сообщение о каком-либо недостатке или вредном явлении воспринимается В. И. Лениным только с одной точки зрения: а что сделано для искоренения этого недостатка или зла? Каждое препятствие вызывало в нем немедленную реакцию — действовать! Не хватает керосина в избе-читальне? Добудьте! Кто-то не выполняет советских законов? Сообщите, разоблачите, добейтесь снятия, ареста, наказания! Обнаружен враг? Скажите чекистам! Иные родители недопонимают значения Союза молодежи? Соберите их или пойдите к ним, докажите, вовлеките в

общественную деятельность! Нет лодок? Найдите старые, почините, оборудуйте! Нужна помощь Совета депутатов? Идите в Совет! Нужна помощь партии? Идите в партийный комитет! Но действуйте, помогайте, информируйте, разоблачайте, советуйте, изобретайте, искореняйте, доводите все до конца!

Владимир Ильич долго расспрашивал о взаимоотношениях местных партийных организаций с союзами молодежи и обещал активную повседневную помощь партии ячейкам и комитетам РКСМ.

Он порадовался трудовому энтузиазму рабочей молодежи, выдвигая на первый план задачу увеличения производительности труда. О любви к труду Ленин говорил просто, но с искренним волнением и страстью.

Владимир Ильич спросил: есть ли среди делегатов религиозные люди? Когда все хором ответили «Нет!», Ленин весело и одобрительно кивнул головой. Затем он встал, заложил руки за спину и, шагая по кабинету, стал говорить о том, что задача освобождения молодежи от вредоносного влияния любой религии трудна и длительна, но почетна и обязательна. РКСМ никогда не должен забывать об этой задаче, никогда не прекращать антирелигиозной пропаганды. Административными мерами ничего не добьешься. Нужно распространить знания, нужна агитация, основанная на данных науки, длительное разоблачение классовой сущности религии; нужно, наконец, хорошо творить земные чудеса, посрамив выдуманные чудеса небесные.

— Ну, как вы думаете, сделаем мы это?

— Сделаем! — грянули все хором.

— Не сомневаюсь, — ответил Ленин.

Когда зашла речь о городских и деревенских «культурно-просветительных кружках», подпавших под влияние враждебных элементов, сильно «досталось» от Владимира Ильича тем товарищам, которые отрицали необходимость и целесообразность работы в этих кружках. Непременнo, сказал Ленин, надо идти туда, вести разъяснительную работу и увести оттуда всю молодежь, которая может и должна идти с нами. Разогнать такие кружки легко, но этим делу не поможешь. Надо уметь пускать в ход не только силу, но и убеждение, разъяснение, совет. Не топчитесь принимать самые легкие решения...

Не обошлось дело и без комических происшествий.

— Сколько девушек на съезде? — спросил Владимир Ильич, естественно обращаясь к единственной девушке среди нас, Жене Герр.

Тут словно кто-то дернул меня за язык.

— Девять штук! — выпалил я.

Все засмеялись, Владимир Ильич громче всех, и только я один не знал, куда деваться от смущения...

Наступила некоторая пауза. Здесь-то и захотел отыгаться наш докладчик. Он встал, торжественно выставил ногу вперед и гордо произнес:

— Владимир Ильич! Сообщаем вам, что наш съезд подавляющим большинством голосов постановил, чтобы Союз молодежи именовался коммунистическим.

Владимир Ильич слегка прищурился и спокойно сказал:

— Дело не в названии...

— Но мы оправдаем это название! — вырвалось у кого-то.

Ленин улыбнулся, слегка задумался и медленно промолвил:

— Вот тогда будет хорошо...

Владимир Ильич достал из шкафа номер журнала «Югенд Интернационале» («Интернационал молодежи») и спросил:

— Известно ли вам что-либо о международном коммунистическом движении молодежи?

Ему ответили, что многое известно.

Ленин сказал, что РКСМ должен быть верным задачам международного коммунистического движения. Братство трудящихся всех стран и наций; дружба народов — один из основных законов для подлинного коммуниста. Не забывайте об этом и тогда, когда будете намечать кандидатов в Центральный Комитет РКСМ.

— Кстати говоря, — вдруг спросил Ленин, — а как у вас дела с финансами?

Ему ответили, что все богатства мира находятся в наших руках, но денег у нас ни копейки нет...

Владимир Ильич взял лист бумаги и написал записку председателю ЦИК Якову Михайловичу Свердлову. В этой записке предлагалось выдать десять тысяч рублей будущему Центральному Комитету РКСМ, так как «надо помочь молодежи от партии». И все делегаты твердо

запомнили, что слова «надо помочь» были подчеркнуты один раз, а слова «от партии» — три раза.

— Хорошо работайте,— сказал Ленин, передавая записку,— это главное. Особенно опасайтесь завести у себя в комитетах людей равнодушных, чиновников. Они очень вредны, в том числе и коммунистические чиновники. Работайте — дело у вас пойдет. Не сомневаюсь, что в вашей организации будут миллионы молодых людей. Да, да, миллионы!

Слова Ленина стали пророческими...

...Вошла Лидия Александровна Фотиева и что-то шепнула Ленину на ухо. Он кивнул головой и сказал:

— Да, да, передайте ему, что через пять минут я его приму.

Стало ясно (особенно после вчерашнего урока), что больше, чем пять минут, задерживать Владимира Ильича нельзя. Все стали подыматься.

Делегаты стояли перед Лениным, еще ощущая тепло его руки. Наступило то мгновение, когда каждый переживал в целом всю встречу. Все были очень взволнованы.

Ленин несколько секунд молча глядел на нас и просто произнес незабываемые слова:

— До свидания, молодые товарищи. Передайте мой привет съезду и скажите всей молодежи от имени Коммунистической партии: мы помним о вас, мы верим в вас!

А. Безыменский, Партбилет № 224332, «Молодая гвардия», М. 1963, стр. 93—104.

Записка Ленина

1918 год. В кабинете В. И. Ленина делегация I съезда РКСМ.

Идет разговор о взаимоотношениях между партийными организациями и ячейками РКСМ, о формах руководства союзами молодежи и формах помощи им. И вдруг...

Вдруг Владимир Ильич откинулся на спинку своего плетеного кресла, окинул нас лукавым взглядом и спросил:

— А что, товарищи! Кушать хотите?

Мы растерялись. Чего-чего, а этого мы не ожидали. Надо ответить, но как? Солгать — совестно. Сказать правду — тоже совестно. Как по команде, все комсомольцы устремили взгляд на своего «докладчика». Свириное выражение его лица и резкое движение головы подсказали нам, что делать.

И мы хором стали уверять товарища Ленина, что сыты по горло.

Владимир Ильич засмеялся — и этого мы тоже не ожидали. Он смеялся весело, громко и, как нам показалось, невероятно долго. Временами он пытался вымолвить слово, но смех снова его одолевал. Этот смех явно не был для нас обидным, но, не понимая, в чем дело, и чувствуя свою вину, мы не знали, куда деваться от смущения...

Перестав наконец смеяться, товарищ Ленин ласково произнес:

— Я, товарищи, старше вас. К тому же я давний подпольщик, что снабдило меня некоторой долей наблюдательности. Если бы вы были так сыты, как вы уверяете, думаю, что сидящая среди вас товарищ девушка не вынимала бы тайком из кармана кусочек сухаря и не грызла бы его, думая, что я этого не вижу. А я вижу! А я вижу! Понимаете? Прошу вас не сопротивляться. Вот вам вторая записка к товарищу Свердлову. По ней вы получите девять обедов в нашей совнаркомовской столовой. Сопротивляться вам не имеет смысла еще и потому, что, по моим сведениям, сегодня в этой столовой хороший обед.

Владимир Ильич с таинственным видом поднял палец и, понизив голос, добавил:

— Кажется, есть даже пшено...

Он протянул нам записку — и мы взяли этот драгоценный дар великой ленинской любви к людям...

Делясь впечатлениями от только что закончившейся беседы с Владимиром Ильичем, мы двинулись к товарищу Свердлову. Завязался длинный разговор об организационном построении комсомола, его ЦК, губкомов и райкомов. Великий знаток организационных дел, Яков Михайлович дал нам множество советов, точных указаний, вместе с нами планировал развитие многообразных областей работы РКСМ, вместе с нами помечтал, кое за что нас пожурил, кое за что поругал.

Когда наша беседа явно приблизилась к концу, наш «докладчик» показал Якову Михайловичу записку Владимира Ильича о девяти обедах. Товарищ Свердлов весело улыбнулся, позвал какого-то товарища, попросил его принести девять талонов на обед и, спрятав записку Ленина в ящик стола, отдал нам талоны.

Попрощавшись с нами, Яков Михайлович заметил, что мы не уходим, переглядываемся, топчемся на месте.

— Признайтесь, товарищи! Вы еще что-то хотите мне сказать?

Тут вышел вперед один из нас:

— Да, Яков Михайлович. У нас к вам огромная просьба, и нам кажется, что отказать в ней невозможно.

У говорившего дрогнул голос, но он нашел силы справиться с охватившим его волнением.

— Яков Михайлович! Отдайте нам записку Ленина. Десяткам поколений советской молодежи эта записка расскажет о Ленине больше и лучше, чем сотни статей. Мы сохраним ее, как реликвию Революции, мы поместим ее на самом видном месте в будущем нашем Центральном Комитете, мы позовем молодежь и скажем ей: «Глядите! Поймите! Учитесь тому, как надо любить людей...»

То, что вслед за этим случилось, показалось нам невероятным. Лицо Якова Михайловича стало суровым, даже грозным. Он неторопливо снял пенсне, протер его, надел, потом снова снял, еще раз протер, опять надел и железным голосом проговорил:

— Неужели вы полагаете, что я могу выдать девять обедов без оправдательных документов? Что ж вы думаете? Если я председатель ЦИК, президент страны, то имею право разбазаривать достояние Республики?

Мы перепугались. Достоянием Республики, о котором шла речь, были девять мизерных порций воблы и пшена, но и на такое достояние обязан, конечно, иметь документ советский работник, какой бы пост он ни занимал.

— Не надо, Яков Михайлович! Не надо! — закричали мы наперебой. — Раз нельзя, значит, нельзя. Пусть будет так...

И мы ушли.

А через два месяца Яков Михайлович, встретив товарища, излагавшего нашу просьбу, остановил его и со смущенным видом сказал:

— Понимаете ли, какое дело? Произошла большая ошибка, а кто виновен в ней — и сам не пойму. Дело в том, что при разговоре с вами я забыл, что сам имею право писать записки на получение обедов. Я мог дать письменное распоряжение, выдать талоны и вернуть вам записку Владимира Ильича. Так вполне могло быть. Но я вам талоны уже выдал — и в ту минуту я думал не о своих правах, а о своих обязанностях. Нужен оправдательный документ, он получен, отдавать его нельзя. Поглощенный этой мыслью, я о своем праве и не вспомнил.

Яков Михайлович обещал разыскать записку Ленина, но, как видно, сделать этого не успел.

Такова история этой записки Владимира Ильича, содержащая пример великой заботы Ленина о людях, а также пример того, как должны ленинцы относиться к каждой крохе народного добра...

*А. Безыменский, Партбилет
№ 224332, «Молодая гвардия», М.
1963, стр. 105—108.*

Говорит Ильич

Снег шел густой, мокрый, медленно падали крупные хлопья, покрывая нашу одежду, лошадей. Дороги впереди почти не видно. Лишь на трети сутки добрались мы до станции.

В поезде тесно, душно. Много ехало людей в Москву.

Поезд подолгу задерживался на остановках, особенно по ночам. Прибыли в Москву на шестые сутки. Одетые в солдатские шинели, мы с мешками хлеба темной снежной ночью с Казанского вокзала направились в Третий Дом Советов на Садово-Кудринскую. Там было общежитие для делегатов.

На следующий день в гостинице «Метрополь» нам выдали делегатские билеты. Во второй половине дня 6 ноября 1918 года в Большом театре открытие VI Всероссийского чрезвычайного съезда Советов.

Решив занять места поближе к сцене, мы пришли задолго до открытия съезда, но оказалось, что многие пришли еще раньше. Мы забрались на четвертый ярус. И то хорошо. Сцена видна. Пока она закрыта огромным тяжелым занавесом.

Гул в зале, в ложах и на всех ярусах. Мы с интересом осматриваем и золоченые барьеры ярусов, окаймленные малиновым бархатом, и сетки перед барьерами, и высокий расписной потолок, откуда спускается гигантская люстра; плакаты, лозунги, написанные саженными буквами на красных полотнищах.

Чем ближе открытие съезда, тем все больше и больше народа в зале. Чувствуешь себя песчинкой в этом огромном море людей. Сюда съехались делегаты со всей Советской России: рабочие, крестьяне, интеллигенция, красноармейцы. Здесь молодежь, старики, женщины. Нам предстоит решать судьбу молодой Советской родины, находящейся в окружении врагов.

Раздался первый продолжительный звонок, затем второй, и народ еще гуще повалил в зал, заполняя все ярусы. Невольно я подумал: видел ли когда-нибудь этот блистающий золотом, в малиновой оправе зал столько такого народа?

— Смотри,— говорил мой товарищ,— царская ложа. Они оттуда спектакли разглядывали. Удобно было. Против сцены.

Раздался третий звонок. Вдруг наступила тишина. Взоры всех устремились туда, к огромному занавесу.

И, словно под влиянием могучей силы устремленных взоров, тяжелый занавес медленно распался и поплыл в стороны. И две волны его скрылись, и казалось, так и плыли они дальше, уже не видимые нами.

И нам представилась сияюще убранная сцена в цветах и зелени, а позади стола президиума, кресел и стульев свисали гигантские пунцовые флаги и тяжелые с золотыми кистями знамена.

Какой-то момент сцена была пуста. Одновременно с двух сторон под гул голосов, под гром аплодисментов сцену начали заполнять люди. Человек в сверкающем пенсне, с черными крупными глазами, со строгим лицом хозяйски осмотрел зал, высоко поднял колокольчик и резко позвонил.

Зал медленно стал стихать. И когда заглохли все звуки и шепоты, человек в пенсне, опершись обеими руками о стол, начал говорить. Удивительно было — откуда брался у этого тощего на вид человека четкий, звучный, слышимый всей многотысячной массе голос. Было в этом голосе нечто металлическое и столь сильное, что слышалось

не только полностью каждое слово, но и каждая буква в отдельности.

— Свердлов, Свердлов! — раздалось сзади нас.

Так вот каков он, Яков Михайлович Свердлов. Вот каков он, председатель нашего ВЦИКа!

Объявив VI Всероссийский чрезвычайный съезд Советов открытым, Свердлов говорит:

— Теперь мы можем сказать с полной уверенностью, что по всему лицу земли России Советская власть стоит твердо и незыблемо.

Мы жадно смотрели на сцену, рассматривали каждого, кто был в президиуме: мы искали Ленина, но его не было.

Свердлов говорил недолго. Вот он, оторвав руки от стола, ярко блеснув стеклами пенсне, высоко поднял голову и сказал четко и отдельно:

— Позвольте, товарищи, еще раз объявить VI съезд открытым.

Почтив память погибших в борьбе за социалистическую революцию, приняв регламент и порядок дня, съезд приступает к работе. Яков Михайлович, быстро оглянувшись, громко объявил:

— Слово предоставляется... Владимиру Ильичу... Ленину!

Напряженная секунда тишины... И вдруг весь зал, все ярусы от пола и до потолка, все ложи огласились таким грохотом, что казалось, рухнут и потолок и стены театра.

Я не уловил, откуда вышел Ленин, ибо этот бурный взрыв радости наполнил зал не только голосами, восклицаниями, слившимися в один могучий громоподобный раскат, но казалось, что зал наполнился ливнем. В глазах моих стоял туман.

И вот я вижу его. Вижу, как он торопливо перебирает бумажки, и кажется, что никак не может найти нужную, что он весь занят поисками... Нет, он ждет. Ждет, когда смолкнет ликование... А оно только началось.

Зал могуче потрясают голоса солдат-фронтовиков, голоса рабочих, людей земли, женские голоса. Все встали. И сквозь непрерывный гул, то в одном, то в другом конце, раздаются восклицания:

— Товарищу Ленину-у-у — ура-ра-а! — И снова и снова грохот рукоплесканий.

Экстаз охватил не только людей, но, казалось, и эти гигантские стены Большого театра, которые никогда не

видели такого. Чувствовалось, как дрожит все твоё тело, каждый твой мускул, каждый нерв. И нет сил преодолеть священный порыв.

Видимо, конца не будет этому водопаду оваций, но Ленин уже стоит у края стола. Чуть улыбаясь, нетерпеливо поглядывает то в одну, то в другую сторону. Наконец высоко поднимает руку, держа в ней часы, и указывает на них. Но и это не помогает. Тогда он обращается к Свердлову, кивает на зал и, вероятно, просит помощи. Слегка улыбнувшись, Свердлов берет колокольчик, требовательно звонит. Наступает тишина. И в этой тишине, нарушаемой лишь шумным дыханием, раздаётся тихое, первое слово Ленина:

— Товарищи!

Переждав, он шагнул немного вперед и, вскинув голову, посмотрев куда-то ввысь, на самый дальний ярус, начал свою речь.

Чтобы не упустить ни одного его слова, я, как и многие, торопливо начал записывать.

Нет, не успеть. Пока записываю, не сумею как следует слушать, а главное — видеть его.

И, отложив тетрадь в сторону, я слушал, стараясь вникнуть в каждое слово. Но чувство радости, что я вижу Ленина, мешало сосредоточиться. Я всматривался в него, следил за каждым его шагом: как он ходит по сцене, как быстры и порывисты его движения, как смотрит в зал, как подчеркивает свои слова, улыбаясь или прищуривая левый глаз...

Вот, заложив большой палец правой руки за жилетку и слегка выпятив грудь, он повернулся к залу вполоборота и, глянув опять на самые верхние ярусы, говорит как бы туда:

— ...мы пришли к тому, что в деревне выделились пролетарские и полупролетарские элементы, выделились те, которые особенно трудятся, те, которых эксплуатируют, поднялись на строительство новой жизни; наиболее угнетенная часть деревни вступила в борьбу до конца с буржуазией, в том числе со своей деревенской кулацкой буржуазией.

Эти слова нам особенно понятны! Ленин говорит о решающей схватке бедноты с богачами, о битве за хлеб, который кулаки попрятали в ямы, не желая дать его стране. Потом Ленин говорит о силе рабочего класса,

который от контроля над промышленностью перешел уже к управлению ею. Он с негодованием клеймит саботаж буржуазной интеллигенции.

— Эти люди,— указывает Ленин,— ставили задачей использовать науку для того, чтобы бросать камни под колеса, мешать рабочим, наименее подготовленным к этому делу, которые брались за дело управления, и мы можем сказать, что основная помеха сломлена. Это было необычайно трудно. Саботаж всех тяготеющих к буржуазии элементов сломлен. Несмотря на громадные препятствия, рабочим удалось сделать этот основной шаг, который подвел фундамент социализму.

С особой теплотой и гордостью говорит Ленин о создании Красной Армии, которой всего девять месяцев. Требовалось отдохнуть усталой от четырехлетней войны массе, требовалось еще внушить ей, что начинается новая война.

— Мы открыто сказали рабочей массе всю правду. Мы разоблачили тайные империалистические договоры той политики, которая служит величайшим орудием обмана, которая...

Повысив голос и указывая рукою вдаль, как бы прорезая пространство и далекие моря, Ленин продолжает:

— ...теперь в Америке, самой передовой демократической республике буржуазного империализма, обманывает массы как никогда, водит за нос массы.

Ильич говорит о Брестском договоре, о тяжело обрушившейся на нас лавине германских полчищ, о том переломе, когда в массах пробилось ясное сознание, что они идут на битву действительно за свое дело, за социалистическую республику.

Как бы перелистывая великие страницы первого года Октябрьской революции, Ленин восклицает:

— Мы говорим: мы растем, Советская республика растет! Дело пролетарской революции растет скорее, чем приближаются силы империалистов. Мы полны надежды и уверенности, что мы защищаем интересы не только русской социалистической революции, но мы ведем войну, защищая всемирную социалистическую революцию.

Гигантский зал снова взрывается рукоплесканиями. Ленин проходит к столу, наливает в стакан воды и медленно пьет.

Последний пункт — международное положение. И Ленин поясняет, как буржуазия сначала считала нашу революцию курьезом, потом социалистическим экспериментом, а когда создалась Красная Армия, империалисты увидели, что Советская республика — очаг всемирной социалистической революции. И капиталисты Англии и Франции решили объединиться со своим врагом Вильгельмом против Советской республики.

— Товарищи, — устремляет Ленин свой быстрый взгляд в зал, — чтобы показать вам, как сгущаются тучи против нашей Советской республики и какие опасности нам грозят, позвольте прочесть вам полный текст ноты, которую сообщило нам через свое консульство германское правительство...

Торопливо шагает Ильич к столу, берет пачку листов и снова проходит на край сцены. Он начинает читать ноту германского правительства. И по мере чтения ее в зале все громче слышатся негодующие восклицания, нарастает напряжение, и вот-вот готово оно взорваться проклятиями.

В длинной, злой ноте правительство Вильгельма обвиняет наше посольство в том, что оно ведет в Берлине революционную пропаганду. Германское правительство грозит порвать с нами дипломатические сношения.

Не глядя, бросает Ленин листки на стол. Несколько из них падают на пол. Кто-то их поднимает. Ленин теперь говорит с насмешливой улыбкой, с сарказмом:

— Германское правительство потеряло голову, и, когда горит вся Германия, оно думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские кишки на один дом.

В зале раздается грозный гул и хохот.

— Это только смешно, — подтверждает Ленин. — Если германское правительство собирается объявить разрыв дипломатических сношений, то мы скажем, что это мы знали, что оно всеми силами стремится к союзу с англо-французскими империалистами.

Я вижу в президиуме Дзержинского. Он улыбается. Смотрю на Ленина. Он быстро проводит ладонью по голове, затем закладывает большой палец за жилетку. И по тому, как он повысил голос, то и дело поднимаясь на носках, чувствовалось, что речь его подходит к концу. Какая могучая притягательная сила в его голосе, в его крепкой фигуре, в родном облике. Вновь тысячную массу

охватил боевой порыв, готовность прямо отсюда ринуться в смертельную схватку с врагом. Чувствовалось, что каждый здесь всем своим существом дал торжественную клятву быть верным до конца великому и святому делу молодой Советской России.

А Ленин, вскинув руку ввысь, продолжал:

— Они полны дикой ненависти, и поэтому мы говорим себе: будь, что будет, а каждый рабочий и крестьянин России исполнит свой долг и пойдет умирать, если это требуется в интересах защиты революции.

Зал, и все ярусы, и всё, что есть, вновь затряслось от гула рукоплесканий.

Резко шагнув вперед, как бы наступая, Ильич воскликнул:

— Мы говорим: будь, что будет, но какие бы бедствия ни накликали еще империалисты, они этим себя не спасут.

Вновь грохот аплодисментов потряс этот золотой, весь украшенный флагами и знаменами, огромный театр. И, словно бросая пламенные слова в мировое пространство, Ленин вынес решительный, всеокрушающий приговор старому миру:

— Империализм погибнет, а международная социалистическая революция, несмотря ни на что, победит!

Остро рассек воздух рукой и отступил в глубь сцены. И все в зале поднялись, и сквозь аплодисменты с ближайших и дальних рядов, с нижних и верхних ярусов понеслись возгласы:

— Да здравствует мировая революция!

— Красной Армии — ура!

И где-то наверху сначала тихо, затем все громче и слышнее запели... И вот уже по всему залу стройно разлилось море голосов.

Это люди всех национальностей, собравшиеся сюда со всех концов России, пели великий гимн великой партии коммунистов.

И Ленин пел вместе со всеми...

Первая годовщина



Седьмого ноября, в четверг, Москва проснулась рано, разбуженная пением проходящих под окнами демонстрантов.

В десять часов утра Советская площадь заполнилась воинскими частями, демонстрациями из районов, оркестрами и красными знаменами. Каждое слово с трибуны колонны Свободы слышно в самых отдаленных уголках площади. Открывая памятник Свободы, представители Московского Совдепа говорят о наших успехах на фронтах и о международном положении. С Советской площади все процессии, соединившись сомкнутыми колоннами, направляются на Красную площадь.

Красная площадь для свободного прохода колонн перед мемориальной доской очищена от публики, которая оттеснена до Торговых рядов. Возле задернутой красным атласом доски — высокая, со многими ступенями, красная трибуна, вокруг которой на возвышении уже выстроилась депутация со знаменами от Московской организации Коммунистической партии, российского Пролеткульта,

Красной печати и др. Нет пока только делегатов VI съезда Советов с Лениным. Их ожидают с минуты на минуту. Они уже вышли из Большого театра, но задержались на открытии памятников Марксу и Энгельсу.

Проходит несколько томительных минут ожидания.

— Идут, идут!

Впереди делегатов — Ленин.

Подхваченная человеческой волной, я оказываюсь возле самой трибуны и поспешно достаю блокнот. В тесноте немислимо было записать речь Ленина дословно, но главное мне удалось зафиксировать.

Вы жертвою пали в борьбе роковой...—

звучит над площадью, разом склонившей знамена.

Ленин срезает печать, и красная завеса падает к его ногам, открыв доску-барельеф белокрылой фигуры с пальмовой ветвью. Вверху доски, работы скульптора Коненкова, надпись: «Октябрьская революция», а внизу: «Павшим в борьбе за мир и братство».

— Товарищи! Мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 1917 года,— отчетливо говорит Владимир Ильич.— Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобождение народов от империализма, за прекращение войн между народами, за свержение господства капитала, за социализм.

Товарищи! История России за целый ряд десятилетий нового времени показывает нам длинный мартиролог революционеров. Тысячи и тысячи гибли в борьбе с царизмом. Их гибель будила новых борцов, поднимала на борьбу все более и более широкие массы.

На долю павших в Октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почеть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием: эта почеть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу.

Теперь во всех странах кипит и бурлит возмущение рабочих. В целом ряде стран поднимается рабочая социалистическая революция. Капиталисты всего мира в ужасе и озлоблении спешат соединиться для подавления

восстания. И особенную ненависть внушает им Социалистическая Советская Республика России. На нас готовится поход объединенных империалистов всех стран, на нас обрушиваются новые битвы, нас ждут новые жертвы.

Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — «победа или смерть».

— Победа или смерть! Победа или смерть! — как клятву повторяют слова Ленина тысячи голосов на площади.

Ленин сходит с трибуны и присоединяется к другим товарищам.

А площадь долго еще не может успокоиться, и то тут, то там, как эхо, разносятся возгласы:

— Победа или смерть!

Начинается церемония прохождения колонн мимо доски. Солнце ярко освещает волнующиеся пурпурные знамена и привлекающие общее внимание художественные плакаты профессиональных союзов. Над головами демонстрантов плывут вырезанные и разрисованные изображения химиков в белых халатах, грузчиков, согнувшихся под тяжестью ноши, печатников за станком. Взрыв восторга вызывает союз пиццевиков, плакаты которого изображают продавца, бычью голову и румяные калачи. Своеобразную красоту придают процессии футуристические плакаты, от пестроты и разнообразия которых разбегаются глаза. Проходят комитеты бедноты, представители Орловской, Тамбовской и Тульской губерний, общественные организации, рабочие всех районов, Народный суд, Пролеткульт, учащиеся различных учебных заведений. Пресненский район вызывает общий восторг аллегорическим шествием: на телегах едут крестьянки и солдаты в цепях, а за ними стоит Свобода с порванными цепями.

— Красной Пресне привет! — громко говорит Ленин.

Стройными колоннами, в полном порядке проходят школы инструкторов, пулеметчики, красноармейцы, конница и тяжелая артиллерия.

— Будущим красным офицерам — ура! — приветствует инструкторов Ленин.

На площади появляется автомобиль «Международного союза артистов цирка» с огромным глобусом и останавливается против доски. Украинский хор исполняет

«Интернационал». Медленно движутся автомобили, превращенные в цветочные клумбы, из которых глядят улыбающиеся детские лица.

— Детям революции привет!

Шествие колонн продолжается несколько часов. Над площадью все время летают аэропланы, разбрасывая прокламации, которые кружатся, как голуби. Без усталости работают фотографы кинематографических фирм и журналов. До поздней ночи на улицах Москвы продолжается иллюминация и шумное веселье. Особенно людно и весело на Трубной площади, в Охотном ряду, у цирка, на Садовой-Триумфальной, где на специально устроенных эстрадах выступают артисты цирков.

*«Вчера и сегодня», Гослитиздат,
М. 1960, стр. 28—30.*

Ленин на трибуне

Я видел море, я измерил
Очами жадными его,
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

А. Полежаев

Портрет Ленина во весь рост будет нарисован, когда нас уже не будет.

На нас, современниках его, лежит великая ответственность точно, по возможности фотографически точно, закрепить всякую деталь жизни великого человека, написать все, что знаем, что слышали, что думаем о нем, чтобы дать материал будущим историкам, мыслителям и поэтам.

Поэтому я так рад возможности исполнить свой долг: рассказать, как я его видел, какие мысли, какие чувства возбуждал он во мне и окружающих.

Четыре раза видел я его, и все четыре раза изменялся, усложнялся, вырастал в моем сознании образ этого человека.

Седьмое ноября 1918 года. Красная площадь. Празднование первой годовщины Октября. Ясный осенний день. Косые, холодные лучи солнца как-то особенно резко, особенно отчетливо освещают еще непривычное зрелище: торжественное шествие победивших рабочих, их строгие,

серые, сосредоточенные лица, их блистающие победой лохмотья, колыхающиеся над их головами красные знамена, сверкающие золотыми и серебряными словами.

Я стою у самой трибуны. Сейчас на ней должен стоять и говорить необыкновенный человек, человек, который прогнал с этой площади прежних ее господ: жандармов, попов, генералов, царей, все гнилое, старое, все, что еще так недавно, по какому-то недоразумению, распоряжалось, господствовало здесь.

Что это за человек? Я уже оставил процессию, я уже смотрю, как на некое зрелище, на пустую красную трибуну.

И все-таки я не заметил, как даже не появился, а каким-то образом очутился на трибуне Ленин.

Еще хлопали, еще кричали, а он уже стоял с открытым ртом, с поднятой правой рукой, он уже говорил. Так вот — говорящим, жестикулирующим,двигающимся и остался он навсегда в моей памяти.

Наружность его была обыкновенна и скромна, но как-то блистательно обыкновенна и скромна, говорил он без всяких внешних признаков пафоса, просто, немного крикливо, звонко и отчетливо, как будто спешил, как будто волновался. Он не старался говорить красиво. Он говорил так, как течет река. Она ведь мало беспокоится о том, красив ли блеск ее волн на солнце, мелодичен ли ее шум. Ей нужно течь. Ему нужно говорить, говорить о самых, по его мнению, обыкновенных вещах: о европейской, о мировой революции. Только одно различие с рекой: река не спешит, в ее беге нет нетерпения, а он весь нетерпение, огонь, пожар. Ему как будто мало того, что он сделал, ему нужно сейчас же, непременно сейчас, перевернуть, перекувырнуть всю землю, чтобы разгорелась она огнем коммунизма, который сжигает его. Оттого он так и бегаёт по трибуне, оттого он так и машет и правой и левой рукой. И вот еще что поразило меня: он весь в движении, он весь нетерпение, и в то же время на этой красной пустой трибуне он выглядит каким-то памятником, монументом: как будто новый род искусства создал — двигающийся монумент.

Итак, еще раз: в его речи нет признаков пафоса, но этот пафос сжигает его, этот пафос насквозь прожигает окружающих, в его наружности нет ничего величавого,

она очень скромна, даже сера, эта наружность, но эта сестра блещет блеском прокаленной стали, эта скромность озарена огнем и кровью величайшей из революций. Когда он ушел с трибуны, я ничего не видел и ничего не хотел больше видеть.

Еще о наружности Ленина: я не знаю, имеет ли какое значение, что у него был огромный выпуклый лоб и большая лысина. Что он был плотный, сутуловатый, короткошей, среднего роста, что лицо у него было сероватое, в широких и глубоких морщинах, что он очень часто и очень искренне усмехался, что он неправильно выговаривал букву Р, что поношенный костюм как бы прирос к нему, казался неотделимым.

Второй раз я видел Ленина в редкой и неожиданной для меня обстановке: на концерте, устроенном московским Пролеткультом; концерт был как концерт, и не только Ленина, даже меня не очень интересовал. Публика же была наша, пролеткультовская. Ленин пришел с женой и совершенно неожиданно для всех. Сели они, не помню в каком ряду, но где-то посредине зала и недалеко от меня. Если бы не знали, что это Ленин, никто бы не подумал, что тут сидят люди, дело которых перейдет в века. Всякий сказал бы, что это очень скромная, очень милая, пожилая чета: вероятно, он учитель, вероятно, оба идеалисты-народники этак семидесятых или восьмидесятых годов.

Пока Ленин сидел, я заметил, что он, как это ни странно, не привык, чтобы на него смотрели, не мог сидеть спокойно и в смущении как-то нетерпеливо двигался, насколько позволяли обстоятельства. Когда номер кончился, Ленин раньше всех, торопливо захлопал, приподняв руки выше, чем это нужно.

И опять я не заметил, как он очутился на трибуне...

Всякий бы другой на его месте... при такой обстановке, сказал бы несколько слов об искусстве, о его значении, или что-либо подходящее к моменту, чтобы потом перейти на главное. Ленин же сразу без всяких предисловий заговорил о том, что нужно ему, что поглощает его: о близости мировой революции, о Красной Армии, о том, что рабочая молодежь должна идти в командный состав, должна идти в деревню добывать хлеб для Красной Армии, о том, что мы победим, не можем не победить.

Небольшими, нервными короткими руками он словно уже держал эту мировую революцию, вертел ее в них, в ней не было уже никакого сомнения. И весь зал, все молодые возбужденные лица как-то побледнели, все съежились перед этой небольшой, скромной, немного мешковатой фигурой.

Третий раз. Железнодорожная конференция. Белые наступают, уже где-то близко. Настроение подавленное, усталое. Говорит Красин. Красивая, благородная фигура этого пожилого, серьезного человека благотворно и успокаивающе действует на аудиторию, но чего-то недостает, чего-то освежающего, близкого.

И опять волнуется, спешит, говорит Ленин. Совершенно не помню, о чем он говорил, но — словно окно открыли в душной комнате больного, словно сын у матери выздоровел, словно коммунизм уже наступил и разгорелся, разблестался в угрюмом каменном здании. Все чувствуют, что никогда, ни за что, ни под каким видом никакие Деникины, никакие Ллойд-Джорджи, ну никто никогда не свалит, не победит этого человека в коротком пиджаке.

Последний раз я видел Ленина у нас на Брянском вокзале. Это было в самое голодное время. Мы отправляли рабочих в южные губернии для того, чтобы они там в бывших помещичьих имениях заводили свои советские хозяйства. Был мягкий весенний вечер. Около сотни железнодорожников столпились у открытой воинской платформы и терпеливо, хлюпая в лужах худыми ботинками, ждали Ленина.

На платформе сидели на своих корзинах, сундучках, узлах отправляемые: их было вагона на четыре, на пять, с женами, с ребятами. Бледные, голодные, измученные, встревоженные внезапной переменой всех своих жизненных привычек, они тоже ждали Ленина. И он явился. Я никогда еще не видел его таким. На этот раз он был как-то тих, строг, сосредоточен и даже как будто спокоен. Он не подделывался к голодным людям, которым грозила неизвестность. Без всякой рисовки, без всякой напускной жалости, сурово и просто он говорил этим людям, что город голодает, что в городе делать нечего, о том, что деревня, Россия, нуждаются в работниках, нуждаются в культуре, что им предстоит там на новом месте трудная ответственная работа, и потом опять о ней, о единствен-

ной, о мировой революции, о том, что мы победим, что мы не можем не победить.

И в мягком ласкающем свете вечерней весенней зари я видел блистание слез на серых измученных лицах рабочих и понял, что эти люди пойдут всюду, куда их пошлет этот сутулый, невысокий, крепкий, как скала, человек в кепке, потому что посылает он их в неизвестность не для себя, а для светозарного коммунистического будущего, о котором человечество грезит целые века и к которому он приблизил его — как никто.

Больше я не видел Ленина, но и того, что я видел, хватит на всю мою жизнь.

*«Рабочий журнал», № 1, ГИЗ,
1924, стр. 81—85.*

«Кремлевское дело»

В моей библиотеке есть том рассказов А. И. Куприна со следующей надписью автора: «Глубокоуважаемому Олегу Леонидову 25 декабря н. ст. 1918 г. — с искренним желанием, чтобы в «Кремлевском деле» он оказался Олегом Вещим»...

Надпись связана с именем В. И. Ленина, и потому теперь мне хочется рассказать об этом мало кому известном «Кремлевском деле».

Зимой 1918 года Куприн приехал из Гатчины в Москву с твердым решением работать «с большевиками» — писать, издавать, пропагандировать. Его увлекла идея просвещения масс, главным образом крестьянских, — своеобразное народничество в революционный период.

Мы много говорили с ним на эту тему, и как-то подсознательно, не выговорив и даже не найдя этого слова, решили, что надо городу «смыкаться» с деревней, осуществив «смычку» через газету специально для крестьян. Оба коренные горожане, с деревней мы были знакомы по книжке или по газете, но это не останавливало нас

от идеи издавать «культуртрегерскую» крестьянскую газету.

— Куда пойти? С кем переговорить на эту тему? С Лениным?

— Примет ли?

— Попробуем.

Звоню: «Кремль, секретаря товарища Ленина».

— Такой-то и такой-то хотят говорить с Владимиром Ильичем.

— Подождите.

Несколько минут волнения у трубки, неожиданно радостный ответ.

— Завтра в три часа в Кремле.

После этого разговора и была сделана надпись о «Кремлевском деле».

Волновались оба до крайности. Боялись опоздать. И все уславливались, кто будет говорить.

Куприн заявил, что из его слов Ленин ничего не поймет, что должен говорить я. Я тоже отказывался, боясь напутать. Согласились написать и прочесть по бумажке. Не смогли сделать и этого, так как выходило длинно, запутанно и невразумительно.

До кабинета Владимира Ильича, пока получали пропуск за пропуском, перетрусили окончательно и уговариваться перестали.

Когда вошли и я начал лепетать что-то бессвязное, а Ленин приветливо заулыбался одними глазами и морщинами вокруг них, стало ясно, что все страхи и репетиции были излишни: Владимир Ильич понял нас с полслова и потом уже стал говорить сам.

Ему понравилась наша идея. Но он сразу от общих расплывчатых мест перевел нас на практические рельсы.

Для деревни надо писать о том, как строить баню, в деревне надо пропагандировать мыло. «Помыться давно пора», — запомнились мне слова Владимира Ильича. Не забыть и об уборных. И о вшах и т. д. и т. д. И всякие статьи по сельскому хозяйству — тоже не в форме абстрактных выводов, а просто, практично — применительно к данным условиям.

— Такую газету издавать стоит.

Владимир Ильич обещал переговорить об этом с Л. Б. Каменевым и направил нас к нему.

В кабинете было тихо, тепло и уютно — большим, со-
держательным деловым уютом.

Ленин почти не сидел. Весь в движении, в привет, в
улыбке, в творческой мысли, он заморозил нас, и мы
забыли уже о газете, а только слушали его, смотрели на
него, стараясь запечатлеть этот исключительный един-
ственный облик.

Ушли обласканные, ушли радостные, бодрые, готовые
действовать: не только писать о банях, а бани строить.

Газета эта, по целому ряду причин, так и не родилась...

*«Ленин». Однодневная литера-
турная газета, посвященная па-
мяти Владимира Ильича Ленина
(Ульянова), 1924.*

И. ЖИГА

Ленинская правда

Это было весной 1919 года. Питер умирал от голода. Мы получали по фунту овса на неделю. Этот овес рубили в мясорубках, прибавляли картофельной шелухи, кофейной гущи, горсть отрубей и пекли лепешки: горькие, колкие, не просунешь в горло. Жмыхи — это было богатое кушанье. По два-три дня приходилось ничего не есть. По неделе ничего не выдавали, даже не было и овса. И в это время мы «грабили» Питер. Все, что было живое, здоровое, посылали на фронт. Но, конечно, и в самом Питере от этого становилось не легче. Лучшая часть работников уходила на фронт, передовые рабочие отправлялись в Сибирь, на Украину, на Дон, с семьями и со всем своим скарбом. Питер опустошался, и в Питере начинались забастовки. Меньшевики и эсеры тогда пользовались случаем, притворялись защитниками рабочих и затирали бузу. На что Путиловский завод, и тот не выдержал,

забастовал. И вот в такой «веселый» момент приезжает к нам Ленин¹.

Помню Дворец Урицкого. Собрались мы, представители заводских и красноармейских организаций, — три-четыре тысячи человек. Зал был набит до отказа. Я стоял у самой трибуны внизу, так, что Ленин был аршина на два выше моей головы, и я отчетливо видел его, видел плотно сложенного человека, в костюме темного цвета, клетками, в немецкой рубашке, с галстуком.

Когда он появился на трибуне, мы все захлопали в ладоши, а он, не обращая внимания, деловито и быстро разделся, пальто положил на спинку стула, сел, оперся руками на колени, внимательно, как-то озабоченно смотрел на нас, на рабочих, работниц и красноармейцев. Мне казалось тогда, что ему хочется увидеть и понять, что мы чувствуем, что переживаем, что осталось в нас революционного, кроме этих хлопучек по его адресу. И когда зал успокоился, когда председатель объявил, что слово предоставляется тов. Ленину, он так же быстро встал и, словно приступая к работе, прошел на трибуну. Зал снова разразился аплодисментами, и он не протестовал против них. Он как будто доволен был этим. По его быстрым взглядам можно было понять, что ему хочется не самому начинать, а побольше, поглубже почувствовать нас. Ведь давно он не был среди петроградских рабочих. Знал он, что мы голодаем, и те три — пять минут аплодисментов нужны ему были для того, чтобы охватить эту массу целиком, определить ее настоящее настроение; а не аплодисментное, а по этой лучшей части петроградских рабочих — составить себе мнение о всем Петрограде. А ведь никто так, должно быть, не любил петроградских рабочих, как он. По Питеру он определял настроение всего

¹ 12—13 марта 1919 г. В. И. Ленин пробыл в Петрограде, приехав на похороны М. Т. Елизарова. Автор воспоминаний Иван Федорович Жига описывает митинг рабочих, матросов и красноармейцев Петрограда 13 марта 1919 г., на котором Ленин выступил дважды: сначала в оперном зале Дворца Урицкого, а затем, в связи с тем, что всех участников десяти тысячного митинга зал вместить не мог, Ленин выступил вторично в фойе. В апреле 1919 г. Ленин объединил речь на митинге с докладом о внешней и внутренней политике Совета Народных Комиссаров, сделанным 12 марта на заседании Петроградского Совета, для издания отдельной брошюрой под заголовком «Успехи и трудности Советской власти» (Сочинения, 5-е изд., т. 38, стр. 40—73).

рабочего класса, по Питеру он судил о подъеме и усталости масс. Питер для него был барометр, по которому он определял движение революционной атмосферы. И это был великолепный барометр. Если, скажем, в Питере рабочие устали, то где же еще будут бодрь?

И помню, когда он начал говорить, когда зазвучал в зале его сдержанно-страстный глуховатый голос, когда на наши головы полетели немножко картавые, как неотесанные камни, слова, — эти слова не были митинговой агитацией — красивого в них ничего не было, не было и зажигающего пафоса. Была только страшная неприкрытая правда. Помню, начал он свою речь с того, что «страна переживает неслыханный голод». Он не говорил, что вы, мол, питерцы, переживаете голод, он не жалел нас. Он как будто говорил не нам, питерцам, которые пришли сюда с желудками, в которых вместо хлеба — вода. Он говорил «страна переживает голод». И это казавшееся на первый раз обидное для нас, питерцев, сразу же толкало на мысль:

— А разве только мы голодаем?

И помню, когда он нарисовал нам голод страны, когда без всякой утайки рассказал, что у нас ничего нет, что правительство вынуждено было приостановить пассажирское движение, чтобы освободить паровозы для подвозки хлеба, что нам грозит ужасная голодная катастрофа, мне тогда становилось страшно. Слова эти звучали дико, нагоняли жуть. Казалось... об этом можно было говорить только в тесном партийном, надежном кругу. А он, не скрывая, не утаивая нашего отчаянного положения, говорил с ужающей прямоотой, и помню, по коже драл мороз от таких слов, как, например, «если мы не сумеем отвоевать хлеб у белогвардейцев, — мы погибнем». Но он тут же спрашивал у собрания:

— Кто виноват в этом голоде?

И отвечал:

— Помещики и капиталисты всех стран, которым ненавистна наша Советская страна, которые нас хотят задушить во что бы то ни стало. Наша революция таким образом подвергается самым серьезным испытаниям на деле в борьбе, в огне. И если ты угнетен (помню, это слово Ленин сказал как-то по-особенному, так что сердце всколыхнулось), если ты угнетен и думаешь о том, чтобы скинуть власть угнетателя, если ты решился довести дело до конца, то должен знать, что тебе придется выдержать

натиск угнетателей всего мира. И если ты готов этому натиску дать отпор, если готов пойти на новые жертвы, чтобы устоять в борьбе, тогда ты революционер, а если ты не сумеешь пойти на новые жертвы, если ты не сумеешь выдержать, тебя раздавят и скажут: «Революция рабочему ничего не дала». Вот как историей поставлен вопрос.

И Ленин продолжал:

— Но есть ведь такие мерзавцы, которые после года советской работы, после того, как Советская власть отдала крестьянам все, что она имела, есть мерзавцы, которые все же кричат: «Крестьяне, вас грабит Советская власть».

Это в то время, как рабочие надрываются в городах и нигде нет такого мучительного голода, как в городах, тогда как крестьяне взяли все помещичьи земли и взяли себе хлеб, в то время как крестьяне в массе — мы это знаем — впервые работали на себя, а не на барина, на купца, — в это время находятся люди, переодетые в меньшевистские и эсеровские шутовские наряды, и смеют твердить: «Вас грабят». Это агенты капитализма, и никак иначе, как с агентами капитализма, с ними мы обращаться не будем и не должны.

Помню, кто-то в это время выкрикнул:

— А где свобода?

Ленин встрепенулся, как от удара, и со всей силой обрушился на крикуна:

— «Свобода» — хорошее слово, на каждом шагу «свобода». Свобода торговать, продавать, продаваться. И находятся меньшевики и эсеры, жулики, которые это прекрасное слово «свобода» склоняют и спрягают в каждой газете, в каждой речи; но все это сплошь обманщики, проститутки капитализма, которые тащат народ назад.

Как сейчас помню, стоит он надо мной, крепко схватившись руками за край трибуны, говорит быстро, без передышки, страстно. Лысая голова его полукругом охвачена волосами, белый высокий лоб, скуластое, упругое, разгоряченное лицо и глубокие лучистые глаза.

Я видел, как у многих рабочих так же горели глаза, горели желанием раздавить этих жуликов, которые мешают нам победить врага и вырваться из этого кошмарного сегодня, чтобы начать жить в новой жизни, которая вот тут, совсем близко, перед нами, только надо еще раз сделать усилие, чтобы ее схватить.

А он, как будто зная наше настроение, говорил:

— Мы послали на Украину наши лучшие советские силы. И уже получили сообщение: «Запасы хлеба громадные, но всего сразу вывезти нельзя, нет аппарата». Немцы разорили Украину. Там полный хаос. Вопль несется от посланных товарищей, что нет людей, что некому строить Советскую власть, что нет никакого аппарата, нет такого пролетарского центра, как Питер или Москва. А украинские пролетарские центры в руках неприятеля. Киев — не пролетарский центр. Донецкий бассейн, измученный голодом, не освобожден от казаков. Мы говорим поэтому от лица украинских товарищей питерским рабочим: «Дайте еще, напрягите еще ваши усилия!» Мы можем теперь и мы должны помочь украинским товарищам, потому что им приходится строить аппарат Советской власти на месте, опустошенном страданиями так, как нигде не терпели и не страдали. И мы говорим себе: «При всех трудностях, при всех невероятных условиях мы все-таки рассчитываем на сознательность честных рабочих, и они будут за нас, они придут к нам, и они нам помогут».

Дворец Урицкого превратился после этого в бурлящий котел, готовый лопнуть от напряжения человеческой воли, подъема, решимости. Это был результат ленинской правды. Пафос его — правда и ясность, и эта ясность словно открывает перед тобой запертые врагом двери, и ты видишь там другую жизнь, более счастливую, более радостную, и не можешь не броситься в эту дверь, в эту жизнь с сознанием: пусть хотя бы ты и погиб, но другие через тебя прорвутся, раздавят врага и завоюют эту жизнь.

И когда он кончил говорить, когда вся речь его от начала и до конца слилась, в сущности, к двум словам — «победить или умереть», — рабочие, питерские рабочие, голодные, с овсом и кофейной гущей в желудках, старые, худые от голода рабочие, с бледными, опухшими лицами, — эти рабочие, за несколько часов перед тем, может быть, ругавшие Советскую власть, эти рабочие выходили теперь из Дворца Урицкого, крепче подтягивали ремнями животы и с песнями шли по улице, с песнями решили выдержатъ, налечь еще на себя, решили победить или умереть.

«Литературная газета», 1931, № 5,
24 января.

Твердой поступью

...**В**тысяча девятьсот девятнадцатом году мы из Саратова на VIII съезд партии ехали восемнадцать дней: то не хватало топлива для паровоза, то вдруг машинисты уходили в деревню и гуляли там день-два, то вдруг начинали гореть буксы. Наша делегация поместилась в отдельном вагоне, заняв одно купе буханками черного хлеба, другое — мясом, целой коровьей тушей. Через несколько дней у нашего вагона загорелись буксы — не было масла, нечем было их смазывать. Железнодорожное начальство предложило другой вагон, переполненный пассажирами. Мы отказались. Но буксы выли, как самые громкие сирены, тревожили, беспокоили, не давали спать. У нас был мешок со стеариновыми свечами. Стали тискать свечи в коробки буксов. Вагон трогался. Проходило десять, пятнадцать минут, и буксы снова начинали выть. Тревожила и другая опасность — в Тамбовии «гуляла» банда Антонова.

Разруха, разгильдяйство, мешочники, и со всех сторон на страну наседали колчаки, юденичи, деникины.

Но вот и Москва.

Выйдя из вагона, на всякий случай захватив с собой по буханке хлеба, мы облегченно вздохнули: наконец-то прибыли в столицу! Сейчас трамвай довезет нас на Садово-Каретную в Третий Дом Советов, там передохнем — и утром в Кремль, на съезд...

Выходим на площадь. Она не очищена от снега, вся в кочках и ямах. В воздухе вонючая гарь. Трамваи не ходят. Изредка только проносится одинокий вагон с отбитыми подножками — это чтобы не садились в него, — переполненный дровами и бочками.

Мы постояли, посмотрели на площадь, и руководитель нам сказал:

— Видно, пешком придется.

И мы от Павелецкого вокзала отправились на Садово-Каретную.

Москва!

Иззябшая, голодная Москва...

Улицы не чищены, редко горит электрический свет, в домах холодно, магазины пусты и закрыты, извозчики на клячах.

Грустная Москва, нищая Москва, промерзшая Москва...

Но такая же разрушенная, истерзанная империалистической войной и вся полуголодная страна.

На что мы надеемся?

В самом деле — не фанатики ли мы?

Вот эти гнетущие мысли овладели нами, когда мы шагали по кочкастым, грязным, провонявшим какой-то гарью улицам Москвы.

...Кремль.

На его башнях еще красуются золотые орлы.

Мы входим в зал. До открытия съезда еще около часа. По мандатам выдают книги. Жадно забираем все, что можно. Затем через узкое окно смотрим на кремлевскую площадь и ждем — скоро придет Владимир Ильич Ленин.

Увидеть Владимира Ильича собственными глазами — какая это радость!

Ведь мы, молодые большевики, до сих пор не видели его, хотя жадно читали, изучали его статьи, а книги «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Государство и революция» являлись нашими путеводителями в сложной, еще неведомой практической деятельности становления нового государства.

И вдруг кто-то до крика шепчет:

— Ильич!

И все, кто был в зале, хлынули к окнам.

Легко, накинув на плечи пальто, площадь пересекает Владимир Ильич Ленин. Он что-то говорит своему соседу, то и дело взмахивая рукой. Сосед слушает его, шагая в ногу, и через очки смотрит ему в лицо.

Ленин!

Какой он могучий!

Смотришь на него отсюда, из окон Колонного зала, — и кажется: больше Ильича ростом на земле человека нет. У него огромная, с большим лбом голова, широкие, могучие плечи, крупный, уверенный и твердый шаг.

Да, такой вождь сломит любого врага.

Но что ему говорит идущий рядом с ним человек? Возможно, он высказал наши тревожные мысли:

— Не фанатики ли мы, товарищ Ленин? Чем и как будем бить врага? И вот этого, внутреннего: железнодорожный транспорт почти не работает, водный закован во льды, магазины закрыты, в Москве не достать и осьмушки хлеба, не говоря уже о масле, мясе, сахаре. Фабрики и заводы почти не работают. Жутко становится на душе, товарищ Ленин.

Возможно, это и сказал идущий рядом с Ильичем человек. И Владимир Ильич, резко взмахивая левой рукой, видимо, возражает ему.

...Зал переполнен.

На небольшой сцене видны руководители партии.

Все — и делегаты в зале, и люди на сцене — в напряженной тишине ждут Ленина.

Из-за кулис стремительно к трибуне подходит Ильич.

Да нет, он даже ниже среднего роста. У него только такая огромная голова, со светящимся, как солнце, лбом, небольшая бородка и острые, всевидящие глаза. По всему видно — он очень занят государственными делами, каждая минута и даже секунда у него на счету. А мы бурей аплодисментов встретили его и не умолкаем. Он чуточку поморщился, махнул рукой в нашу сторону, как бы говоря: «Хватит, товарищи, не тратьте время попусту». И мы на какой-то миг оборвали аплодисменты. Ильич одобрительно улыбнулся, и делегаты, помимо своей воли, послушались его, бурей аплодисментов потрясли зал.

Нет, нет!

Я не смогу сидеть где-то в задних рядах. Нагнувшись, перебегаю вперед, легонько толкаю в плечо делегата, сидящего с краю в первом ряду. Он любезно потеснился, и я на расстоянии пяти-шести метров вижу за трибуной Ильича.

Он опять передо мной, могучий и мощный. Светится лоб, большие глаза чуть вприщур, но они пронизывают меня и всех нас. Они родные, близкие, как будто всегда и постоянно видимые нами. Говорит он без всяких выкрутасов, чуть картавя, глухим, басовитым голосом.

Я внимательно слушаю Владимира Ильича, и мне кажется, что он высказывает мои мысли. Да, да, вот так думал и я. Но тут же опровергаю себя: да нет. У меня, конечно, было что-то смутное. Но почему же мне кажется: что-то подобное я где-то говорил?

Во время перерыва я расспрашивал делегатов, какое у них впечатление от выступления Ильича.

Все в один голос утверждали:

— Наши думы высказал! — в чем и были глубоко уверены, но вскоре выяснилось, что мы, практические создатели Советской власти, приблизительно и довольно туманно думали о том же самом, что высказал Ленин.

Так он народен, наш Владимир Ильич.

А он говорит, косо вскидывая правую руку:

— Крестьянину, который не только у нас, а во всем мире, является практиком и реалистом, мы должны дать конкретные примеры в доказательство того, что «коммуния» лучше всего.

— Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию» (то есть за коммунизм).

Мы знаем хозяйственное, политическое и военное положение нашей страны: поля почти не засеваются, рабочие выпускают зажигалки — в виде танков, пушек, снарядов и так далее. Транспорт? Восемнадцать дней ехали из Саратова до Москвы — это вместо полутора суток...

Ильич, конечно, все это знает лучше нас, и, однако, вон он о чем:

— Если деревне дать сто тысяч тракторов!

Признаться, мы не видели трактора. Что это за штука такая? Хоть бы посмотреть! А Ленин — сто тысяч. Раз они произведут такой переворот в умах крестьян, то

рабочий класс, безусловно, эту «фантазию» превратит в быль. Не теперь — так завтра, не завтра — так через год-два, но тракторы поползут по крестьянским полям.

Они преобразуют эту старую, материально нищую Русь, где землю все еще ковыряют сохой и редко самой «крупной машиной» — двухлемешным плугом.

Временами хочется крикнуть:

«Трудно ведь, Ильич! Страна оголена!»

А он свое:

Бодрость! Больше бодрости: силы народа неиссякаемы. Народ пробудился только ныне. Умейте находить эти силы и направляйте их на использование неисчерпаемых богатств природы.

Владимир Ильич говорит, временами хмурия солнечный лоб, сердится, и мы хмурим лбы, сердимся. А вот он захохотал над наивным заключением противника. И как хочется! Громко. Раскатисто. Убийственно.

Я, содрогаясь, думаю:

«Ох! Если он так захохочет надо мной... Умру!»

Но Ленин хохочет не над нами, а над такими, как Карл Каутский. Как он его отстегал в своей книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский»!

Нам же Ильич — все свое внимание, все свои думы, мысли, мечты.

— Действуйте, товарищи: история за нас.

Владимир Ильич тогда нас так вдохновил, что мы забыли промерзшую Москву — перед нами предстала вся наша необъятная страна с ее неисчерпаемыми богатствами природы и исполинскими народными силами.

Вернувшись со съезда партии, мы, вдохновленные Ильичем, засучив рукава принялись восстанавливать хозяйство, или, как говорили тогда, «по-революционному бить разруху».

Мы все, особенно молодые большевики, были уверены — вот-вот заживем при коммунизме. В нас жила неугасимая вера в светлое будущее, вселенная в нас гениальным Владимиром Ильичем Лениным, — и мы шли в бой против колчаковцев, насмерть стояли за Советскую власть...

*«Советский моряк», 1959, № 7,
стр. 2—3.*



Глядя на фотографию

Когда я смотрю на старый снимок, вспоминаю свою давно отцветшую юность, невольно меня вновь охватывает то волнение, с каким я стоял в день Первого мая 1919 года у Кремлевской стены.

Не могу припомнить: то ли в награду за стихи о рабочем Мае, которые я тогда написал, то ли за общественную активность, но только московский Пролеткульт послал меня на первомайскую демонстрацию как одного из представителей его литературной студии, вручив мне специальный пропуск на Красную площадь.

Я устремился туда спозаранку — задолго до начала первомайского торжества. Этим, по-видимому, и объясняется, почему мне удалось очутиться в рядах людей, столпившихся неподалеку от Ленина. Пора была суровая: гражданская война, полчища интервентов, разруха, холод, голод. Но, взглядываясь в лица проходивших колоннами демонстрантов, я понимал: ничто не могло поколебать их боевую решимость отстаивать свое социалистическое Отечество. Тем более что Октябрьская буря

ширилась. Победа рабочего класса Венгрии, провозглашение в ней власти Советов укрепляли нашу веру в силу международного пролетариата. Мы, молодежь, со своей революционной романтикой горели особым нетерпением. Казалось: утром проснешься и как на ладони увидишь мировую революцию.

И вот я с восторгом смотрю на великого Ленина, открывшего человечеству новый, социалистический мир. И как же он не похож на того абстрактного вождя, которого мы, поэты-пролеткультовцы, с таким жаром воспевали в своих первых стихотворных строчках!

«Самый человечный человек», наш вождь с живым вниманием следил, как шагают массы людей, восторженными выкриками, сияющими глазами выражавшие благодарную любовь к нему, самому родному из людей. И какая была при этом естественность в выражении его лица, во всем его облике! Глядя на Ленина, так было неловко за космическую риторику, в которую некоторые наши поэты облакали образ его.

А меня Ленин удивил и растрогал еще, может быть, и потому, что на нем было обыкновенное пальто со скромными бархотками на воротнике, такое же, как у моего дяди, простого человека, портного по профессии.

Кажется, это первое впечатление от встречи с Лениным повлияло впоследствии на один эпизод в моей жизни.

23 апреля 1920 года московский Пролеткульт, хотя к этому времени наша группа писателей из него вышла, послал меня и поэта Василия Александровского в Московский комитет РКП(б) выступить на торжественном вечере, посвященном пятидесятилетию Ленина. Собрался там актив московской партийной организации, старые большевики, хорошо знавшие В. И. Ленина задолго до Октября. Не знаю, как другие, а мы с Александровским дивились: уже выступило с приветственными речами немало товарищей, а самого юбиляра все еще не было.

Приехал он к концу заседания и, встреченный бурей аплодисментов, произнес речь, в которой прозвучало все его неповторимое своеобразие, скромность, великая партийно-государственная мудрость и заботливость, человечность.

Первыми же словами внес он в юбилейную торжественность живую непринужденность и вместе с нею глубоко серьезную деловитость.

«Товарищи! — сказал он. — Я прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей».

Говоря далее о блестящих успехах и победах партии, он предостерегал большевиков от зазнайства — положения «глупого, позорного и смешного», призывал их никоим образом не поставить «нашу партию в положение зазнавшейся партии».

Мое первое впечатление, отложившееся тем первомайским утром 1919 года, весь человеческий облик Ленина, его неожиданная для юбилейного вечера речь — все это заронило в меня какую-то еще неосознанную тревогу насчет моего стихотворения. Как ни велика была честь такого выступления, моя настроенность прочесть перед Лениным мои стихи — поколебалась. В них Ленин выглядел каким-то сказочным исполином, совсем несхожим с реальным, только что говорившим с нами человеком.

Я почувствовал вдруг какую-то неодолимую неловкость. Несколько раз принимался шептать про себя начальные строки и, несмотря на искренность чувства, буквально испугался их велеречивого пафоса:

В чьем сердце не биенье — бой,
Чье сердце — красное живое знамя,
О, буревестник мировой,
Бушующий миллионными руками!

А когда я увидел А. М. Горького, нашего великого реалиста, то совсем струхнул и постарался, чтобы организаторы собрания меня среди присутствующих не сыскали.

Потом поступок свой я объяснил в Пролеткульте плохим самочувствием. На меня посмотрели косо: по-видимому, тут было не без привходящих обстоятельств.

Дело в том, что В. И. Ленин был крайне недоволен, что руководство Пролеткульта в своих часто чуждых марксизму установках пыталось утвердить Пролеткульт как обособленную организацию, как организацию, якобы призванную создавать пролетарскую культуру на голом

месте — без учета и использования достижений культуры, унаследованной от предшествующих эпох.

Но саму идею и само дело пролетарской культуры, ее одаренных энтузиастов, приходивших в Пролеткульт из бедняцких низов, из рабочих масс, Ленин безусловно поддерживал.

Помимо естественного стремления отдать Владимиру Ильичу дань великого уважения, руководство Пролеткульта послало нас с Александровским на торжественный вечер, может быть, не без расчета: показать, что Пролеткульт не бесплоден, а главное, что его воспитанники действительно творчески работают на Октябрь, на партию. Уклонившись от выступления, я пролеткультовских руководителей, думается, подвел.

Впрочем, с ними мы были не в ладу давно. Заявив о своем уходе из Пролеткульта письмом в «Правду», группа писателей обосновалась при литературном отделе Наркомпроса под непосредственным руководством самого Луначарского. Анатолий Васильевич, по чьей рекомендации был издан мой первый стихотворный сборник «Рабочий май», не раз и как-то особенно тепло рассказывал нам о Ленине. Не сомневаюсь, что Луначарскому обязан я своей большой радостью: в личной кремлевской библиотеке Владимира Ильича оказался и мой «Рабочий май».

Выпавшее мне великое счастье видеть Ленина так близко, слышать о нем так много, не могло, конечно, пройти без следа в моем творчестве. Спустя много лет я написал стихотворение «Снимок» и лирическую поэму «Великий почин», где в меру своих сил и способностей старался рассказать о Ленине, показать его живой образ.

Полностью публикуется впервые.

Е. ДРАБКИНА

Раздумье

В тот год долго стояли ясные, солнечные дни. Холода наступили сразу. Накануне годовщины Октября вдруг подул ледяной ветер, а на второй день праздника разыгралась вьюга, снег мокрыми хлопьями залепил окна. Мы с мамой колебались, идти ли на концерт в Большой зал Консерватории, куда у нас были билеты. Какое счастье, что мы все же решили пойти!

На улице мело. Лампочки иллюминации слабо светились сквозь снежную мглу. У Дома Союзов стояла деревянная статуя красноармейца. Символизируя победы, одержанные за последние недели над Деникиным и Юденичем, на его штык были нанизаны генералы, помещики, фабриканты.

Взявшись за руки, мы с мамой шагали навстречу ветру, который рвал знамена и раскачивал провода. К подъезду Консерватории вела дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работал. Стряхнув с себя снег, мы поднялись наверх.

Когда мы вошли, зал был почти полон. Служители вносили пюпитры и раскладывали ноты. Билеты наши были в партер в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно. Кресло рядом с этим свободным местом занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Он поднял воротник пальто и сидел, опустив плечи и сжавшись, — то ли устал, то ли старался согреться.

Появились оркестранты — в шубах и шапках. Пианистка не сняла шерстяных перчаток. Вяло звучали настраиваемые инструменты, словно и звуки застывали в этом мертвящем холоде. Наконец вышел дирижер — Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого крахмального пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер. Кусевицкий быстро поклонился, подышал на руки и поднял палочку. Концерт начался...

Я запахнула поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама осторожно дотронулась до меня. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от нас. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприменно, боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичем. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но все еще звучал приглушенно, и только замерзший ударник, когда ему приходило время вступать, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

— Как застоявшаяся лошадь бьет, — негромко пошутил кто-то сзади.

Но вот прогремел финал, раздались аплодисменты. Владимир Ильич слегка пошевелился. По его движению я поняла, что он старается устроить поудобнее левое плечо, из которого еще не были извлечены эсеровские пули.

Это движение напомнило мне, как работники Совнаркома и даже Секретариата Центрального Комитета пар-

тии, помещавшегося вне стен Кремля, в первые дни после ранения Владимира Ильича невольно ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, а потом он стал выздоравливать, и какое это было счастье для нас, когда мы приходили на обед в кремлевскую столовую и видели через окно, как он гуляет по двору.

Новый взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменял позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу.

Мне вспомнился день Первого мая девятнадцатого года. Праздник международного пролетариата проводился тогда иначе, чем теперь. Вся революционная Москва стройными колоннами приходила на Красную площадь, слушала выступления ораторов, проходила мимо Ленина, пела, произносила клятву верности социалистической революции и, проведя здесь, на Красной площади, несколько часов, расходилась по своим районам, чтобы там закончить празднование Дня международной солидарности трудящихся всего мира.

И Красная площадь тоже была совсем не такой, как теперь. Вдоль Кремлевской стены голо и неприютно, обложенные дерном, тянулись могилы жертв революции. Площадь была вымощена брусчаткой. По ней проходили две трамвайные линии. Трамваи со звоном и скрежетом одолевали подъем у Исторического музея, а потом с грохотом спускались к коротенькому, перекинутому с берега на берег, Москворецкому мосту. Сразу за храмом Василия Блаженного шел ряд невзрачных домов — и площадь от этого была меньше и теснее, чем в наши дни.

В тот день, Первого мая девятнадцатого года, она выглядела более празднично, чем всегда. На здании Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ) были повешены огромные алые полотнища; на одном из них был нарисован рабочий, на другом — крестьянин. На каждом зубчике Кремлевской стены трепетал красный флажок, и даже Минину и Пожарскому сунули в руки по красному флагу. На Лобном месте белое покрывало окутывало фигуру

Стеньки Разина — памятник должен был быть открыт сегодня. Свежая могила Якова Михайловича Свердлова утопала в цветах.

Ярко светило солнце. Деревья были усыпаны почками и зеленоватым кружевом вырисовывались на фоне ясного неба. Настроение у всех было радостное. С фронтов приходили вести о победах Красной Армии. В толпе слышались песни, знакомые громко приветствовали друг друга еще только входившими в обычай словами: «С Первым мая, товарищи!» Молодежь хором декламировала строки из последнего стихотворения Демьяна Бедного:

О Шейдеман, лихая тварь,
Как буду я судьбой утешен,
Когда увижу тот фонарь,
На коем будешь ты повешен!

Около полудня на площади появился Владимир Ильич Ленин, бурно приветствуемый собравшимися. Он обратился к ним с приподнятой речью, которую закончил словами: «Да здравствует коммунизм!» Потом он спустился, чтоб перейти на следующую трибуну (их было установлено несколько, в разных концах площади — так, чтоб все, кто пришел, могли услышать Ленина и других большевистских деятелей). Но Владимира Ильича остановили и протянули ему лопату.

Дело в том, что в тот год день Первого мая был объявлен днем древонасаждения. Окруженная со всех сторон врагами, Советская республика решила высадить молодые деревья.

Владимир Ильич, лукаво усмехаясь, потер ладони, взял лопату и принялся копать землю у Кремлевской стены.

Когда ямка была вырыта, подъехала подвода с саженцами, Владимиру Ильичу вручили тоненькую липку. Он бережно поставил ее на предназначенное место, засыпал землей, полил водой — и только когда работа кругом была закончена, прошел вперед и поднялся на другую трибуну.

В первой своей речи в этот день он подводил итоги прошлого, теперь его мысль была обращена к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию. Он видел это будущее и в детях, слушавших его, стоя у под-

ножия трибуны, и в молодых деревьях, которые были только что посажены.

Опираясь на лопаты, собравшиеся вслушивались в слова Владимира Ильича.

— Внуки наши,— говорил он, протянув перед собой почерневшую от земли руку,— как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

Он посмотрел на детей и, немного помедлив, сказал:

— Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности...

Шум аплодисментов возвестил об окончании первого отделения концерта. Все поднялись с мест, притопывая, похлопывая себя, чтоб согреться. Встал и Владимир Ильич.

Он надел шапку, постучал кулаком о кулак, потом обернулся и увидел нас с мамой.

— А, Елизавет-Воробей,— окликнул он меня тем прозвищем, которое мне дали, когда я была девочкой. Он поздоровался с мамой, потом со мной своим крепким, быстрым рукопожатием...

Да, все это было...

И когда сегодня вспоминаешь об этом, тебя охватывает желание быть лучше, благороднее, быть всегда достойным высокого звания коммуниста!

*Е. Драбкина, Черные сухари,
«Советский писатель», М. 1963,
стр. 371—376.*

Вечер в Кремле

Мы пришли в Кремль часу в десятом вечера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна были у себя. Одежды они были по-домашнему: он — в стареньком пиджаке из альпага, она — в ситцевом платье в горошек.

Разговор отца с Владимиром Ильичем был сугубо секретный, и они ушли в другую комнату. Мы с Надеждой Константиновной остались на кухне. Она что-то чинила, я рассказывала, как жила все то время, что мы не виделись.

Потом Владимир Ильич и отец вернулись. «Ну и ну», — сказал Владимир Ильич в дверях, оборотясь к отцу, и встряхнул головой, как бы желая что-то от себя отогнать.

Он не сразу сел к столу, а прошелся по кухне, затем решительным движением повернул стул, уселся на него верхом и, положив руки на спинку, принялся расспрашивать отца о военных делах.

Разговор шел в быстром темпе. Владимир Ильич задавал односложные вопросы: кто? где? как? когда? сколько? Выслушивая ответы, часто поругивался, любимыми ругательными словечками его были: «болван полосатый», «рохля», «безрукий растяпа».

Сначала речь шла о положении на Южном фронте, которое внушало обоим собеседникам чрезвычайную тревогу. Потом заговорили о только что назначенном Главнокомандующим вооруженными силами республики Сергее Сергеевиче Каменеве.

— Он производит очень хорошее впечатление, — сказал Владимир Ильич. — Когда был у меня, развивал мысль, что в гражданской войне военные действия являются первым средством политики и политика с оружием в руках прокладывает себе дорогу. Интересное применение положения Клаузевица о войне, как продолжении политики, к условиям гражданской войны.

Владимир Ильич сделал паузу и добавил:

— Вот только имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная окопной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает...

Потом заговорили о новых военачальниках и полководцах, выросших в ходе гражданской войны, — Блюхере, Азине, Чевереве, Буденном.

Владимира Ильича живо интересовали народный ум и творческая импровизация, которые вкладывали эти военачальники в свое полководческое искусство.

Отец с увлечением рассказывал ему о том, как Буденный, конница которого тогда только что была создана, вошел по степным просторам свои полки. Как он описывал круги и восьмерки и держал своих людей и коней накормленными и напоенными, а преследовавшего его противника — голодным и без воды. Как сам делал переходы ночью, по холодку, а противника принуждал двигаться днем, по солнцепеку.

Много рассказывал отец Владимиру Ильичу о рано погибшем Александре Михайловиче Чевереве, которого близко знал.

Рабочий-деревообделочник, член партии с 1908 года, Чеверев во время наших тяжелых поражений на Восточном фронте в 1918 году сумел пробиться из Уфы со своим отрядом через расположение противника и соединиться с нашими войсками.

Примечательной чертой Чеверева было то, что на небольшом опыте командования двухтысячным отрядом он почувствовал своим пролетарским инстинктом ахиллесову пятую партизанщины и понял, что без знаний командовать нельзя. Он неоднократно приходил в штаб 2-й армии и беседовал с членами Реввоенсовета армии Шориным и Гусевым.

— Главная беда, — частенько повторял он, — что не знаем, как командовать. Во фланг? А как ударить во фланг — этого-то и не знаем. Эх, если б подучиться немного, всю бы эту сволочь живо расколотили! Учиться, учиться надо!

Он внимательно прислушивался к каждому указанию, и в ближайших же боях обнаружилось, каким способным учеником он был. Полк Чеверева оказался самым стойким из всех, наступавших на Ижевск. После окончания Ижевско-Воткинской операции он добился посылки в Академию генерального штаба, но, не проучившись и двух месяцев, сбежал от царившей там мертвящей схоластики преподавания.

— Артиллерию начинают с персидской и греческой катапульта, — жаловался он Гусеву. — На черта мне эта катапульта, ежели гражданская война разгорается с каждым днем? Дьявол их заberi вместе с их катапультой!

Потом разговор перешел на новые формы борьбы, созданные благодаря особым качествам нового, революционного солдата и нового командира в условиях новой армии, ведущей гражданскую войну.

Поговорить тут было о чем! Народ, создающий свою армию, вложил в это дело все свое золотое умение. Это он породил знаменитую пулеметную тачанку. Это он, когда не хватало оборудованных бронепоездов, устанавливал на товарные платформы орудия и пулеметы, заменял броню мешками с песком и, дав такому составу звучное имя: «Ленинец», «Молния», «Борец», «Смерть белым», превращал его в бронепоезд, способный к бою.

Отец рассказывал Владимиру Ильичу, как во время наступления на Уфу наши части вышли на берег реки Белой. Никаких технических средств для переправы не было. Реку пришлось форсировать на лодках, кавалерия переправлялась вплавь. Темп операции сильно замедлился. В это время к командованию явился рядовой красноармеец, сказал, что он плотник и берется навести переправу с помощью пустых бочек и досок, почти без гвоздей. Несмотря на быстрое течение реки и огонь противника, переправа была наведена и оставшиеся части и обозы перебросены на другой берег.

Так, за разговорами, прошел вечер. Пора уже было уходить. Но тут Владимир Ильич, лукаво посмотрев на Надежду Константиновну (разрешит?.. не разрешит?..), сказал:

— А что, Сергей Иванович, если нам воспользоваться тем, что вы здесь и работать все равно уже не будете, и позвать сюда Красикова и немножко помузицировать?

Надежда Константиновна разрешила. Позвонили Красикову — это был один из деятельных участников женевской группы большевиков в эпоху II съезда партии. Жил он в Кремле и минут пять спустя пришел со своей скрипкой.

С его приходом все переменялось. Он вошел, напевая какую-то французскую песенку. Отец подхватил. Владимир Ильич и Надежда Константиновна переглянулись, расхохотались, — видимо, эта песенка напомнила им что-то смешное. И вдруг они все четверо наперебой заговорили о Женеве, о Мартове и Плеханове, о спорах и эмигрантской столовке на Рю Каруж, о времени страстной борьбы с меньшевиками после II съезда партии, изобиловавшей, как и всякая такая борьба, массой всяческих перипетий — и трагических и комических.

Из их разговора я поняла, пожалуй, только одну забавную историю, которая произошла с одним из русских социал-демократов в день его приезда из России в Женеву.

Отправляясь за границу, этот товарищ приобрел самоучитель французского языка. Перелистывая его, он узнал, что буква «е» на конце слов во французском языке не выговаривается. Потом он нашел личное местоимение «я» — по-французски «je», но не обратил внимания на то, что оно произносится «жэ», и решил, что его надо произносить «ж».

В Женеве он снял комнату в старой части города, в одном из тех узких высоких домов, каждый этаж которых состоит из одной комнаты и квартира представляет собой несколько этажей.

Оставив там вещи, он отправился на явку и весь день посвятил изучению внутрипартийных разногласий. Домой вернулся поздно, хозяева уже спали. Он постучал дверным молотком. Окно на верхнем этаже раскрылось, в нем появилась голова в ночном чепце и произнесла:

— Qui est ça? ¹

— Жжжжжжжж, — ответил он.

— Qui est ça? — снова послышалось сверху.

— Жжжжжжжж, — снова прозвучало в ответ.

Так он стоял и жужжал, пока окошко не захлопнулось. Ночевать ему пришлось на скамейке в городском саду.

Надежда Константиновна предложила перейти в ее комнату. Владимир Ильич сел на диван. Надежда Константиновна — рядом с ним.

¹ Кто это? (франц.)

Красиков поднял смычок и вопросительно посмотрел на отца. Тот утвердительно кивнул, и Красиков начал играть вступление к опере «Паяцы».

Владимир Ильич сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза левой рукой. Видно было, что он весь ушел в слух. Скрипка не могла, разумеется, передать многоголосое звучание оркестра. Но Красиков неплохо ею владел, а главное — все так изголодались по музыке, что не могли не испытывать наслаждения.

В том месте, где раздвигается занавес и на сцену выходит актер, исполняющий партию «Пролога», зазвучал голос моего отца.

Я уже не раз слышала и от мамы и от товарищей отца рассказы о его голосе — о том, как Фигнер предложил ему сделаться солистом Мариинского театра, как шумное пение отца во время II съезда партии послужило причиной переноса заседаний съезда из Брюсселя в Лондон. Рассказывали, что, когда отец был в ссылке в Березове, его пение было слышно с одного берега широкой Сотьвы на другом.

В тот вечер у Владимира Ильича он пел негромко, в четверть голоса. Теперь Владимир Ильич сцепил руки и сидел, слегка нагнувшись вперед. В открытое окно видно было звездное ночное небо. Голос отца то усиливался, то становился глуше.

Так он провел всю партию. Оставалась лишь одна фраза, последняя фраза. И тут отец не сдержался. Он вскочил, сделал шаг вперед, протянул к Владимиру Ильичу обе руки и взволнованно пропел в полную силу:

— Итак, мы начинаем!

Был в этом такой порыв, такая глубина чувства и мысли, что и для слушателей и для певца «Пролог» прозвучал не как пролог к рассказу о трагической судьбе семьи паяцев, а как совсем иной пролог к совсем иным событиям, которые переживала тогда великая русская революция.

*Е. Драбкина, Черные сухари,
«Советский писатель», М. 1963,
стр. 315—320.*

Воспоминания о В. И. Ленине

Вскоре после Февральской революции я был избран председателем Совета рабочих депутатов Должанского горного района, объединявшего в то время шесть-семь тысяч рабочих, и в мае 1917 года делегирован на 1-й Всероссийский съезд Советов в Петрограде. Присутствуя на съезде с мандатом «последователь Л. Н. Толстого», я часто посещал собрания фракции большевиков (другие партии, стоявшие за продолжение войны и поддержку правительства Керенского, меня не привлекали) и однажды имел примерно получасовую беседу с В. И. Лениным и Н. К. Крупской.

После одного собрания фракции большевиков, на котором я присутствовал, я подошел к В. И. Ленину и попросил его осветить мне некоторые вопросы. Владимир Ильич сказал: «У меня, товарищ, нет ни минуты времени, я должен уйти. Если хотите, идемте со мной и по дороге поговорим». Из помещения кадетского корпуса на Васильевском острове, где происходили заседания съезда,

я проводил Владимира Ильича и Н. К. Крупскую до Народного дома.

Я спросил В. И. Ленина, каковы перспективы революции в Германии. Революция в этой стране в тот момент мне представлялась наиболее желательным мировым событием, которое могло послужить на пользу нашей революции. Владимир Ильич сказал, что кайзер долго не продержится. В Германии прежде всего ощущается острый недостаток металла. Проезжая через Германию, В. И. Ленин видел, что на железных дорогах снимают рельсы с запасных путей, с тупиков, собирают малейший металлический лом.

Потом я упомянул о том, что газеты кадетов и октябристов так много размазывают клеветы в связи с тем, что В. И. Ленину пришлось по пути в Россию проехать через Германию. Владимир Ильич сказал: «Пусть наши враги пишут об этом, сколько им угодно, а мне необходимо было как можно скорее попасть в Петроград, к ожидавшим меня товарищам — рабочим. Другого пути у меня не было».

Я внимательно прислушивался к словам Ленина, так как за время пребывания на съезде убедился, что человек этот является истинным защитником интересов рабочих и крестьян, хотя в то время я еще почти ничего не знал о политической деятельности Ленина. Я только видел, что выступления Ленина на съезде выслушивались с огромным вниманием, несмотря на то что подавляющее большинство делегатов состояло из эсеров и меньшевиков, которые при выступлении делегатов-большевиков устраивали им настоящую обструкцию.

И Владимир Ильич и Надежда Константиновна произвели на меня глубокое впечатление, оставшееся на всю жизнь, своей сердечной простотой, своим теплым товарищеским отношением к человеку, своей истинной демократичностью.

В октябре 1919 года я приехал с Украины в Москву. Так как из Каменки я бежал в последний момент, когда соседнее село было уже занято денкинцами, все мое «имущество» было брошено в Каменке, и в Москву я приехал, можно сказать, совершенно раздетый и разутый. Дальний родственник приютил меня у себя, снабдил старыми, со своей ноги, сапогами и делил со мной свой скуд-

ный паек. По вечерам в его квартире я занимался переводами с английского: переводил Джека Лондона и Эдуарда Карпентера — английского писателя и поэта, друга Уолта Уитмена. Я перевел революционное стихотворение Эд. Карпентера и 6 ноября 1919 года принес его в редакцию «Правды». Секретарь редакции Мария Ильинична Ульянова направила меня к члену редколлегии Н. Л. Мещерякову. Н. Л. Мещеряков и член редколлегии А. Сольц предложили мне прочесть стихотворение вслух. Они похвалили меня за хорошее чтение, одобрили стихотворение, и Н. Л. Мещеряков позвонил в типографию, чтобы узнать, не поздно ли сдать в набор мой перевод для завтрашнего номера. Выпускающий ответил, что еще не поздно.

На другой день, 7 ноября 1919 года, стихотворение Эд. Карпентера в моем переводе появилось в «Правде».

Когда несколько дней спустя я пришел в редакцию за гонораром, Мария Ильинична сообщила мне, что Владимир Ильич заинтересовался неизвестным переводчиком, просил ее подробнее узнать обо мне. Я вкратце рассказал Марии Ильиничне о моем бегстве с юга, о том, в каком тяжелом положении я находился. Внимательно выслушав меня; Мария Ильинична просила зайти на другой день. Когда я явился в редакцию 12 ноября, она вручила мне записку Владимира Ильича следующего содержания:

«Тт. Енукидае, Л. Б. Каменеву и Е. Д. Стасовой.

Очень прошу устроить помощь, одежду, *квартиру, продовольствие*, подателю

тов. *Петру Охрименко.*

Если будут трудности того или иного рода при оказании помощи, очень прошу созвониться со мной.

В. Ульянов (Ленин)

12.XI.1919 г.».

С этой запиской я обратился во ВЦИК, к А. С. Енукидзе, и в Моссовет, и мне была оказана помощь, которую я сам свел до минимальных размеров, ни на минуту не забывая о том, что наша молодая Советская республика в то время переживала большие трудности во всем.

Летом 1920 года я работал переводчиком в отделе печати Коминтерна и имел счастье видеть и слышать В. И. Ленина в Кремле на II конгрессе Коминтерна.

С тех пор прошло несколько десятилетий, но воспоминания об этих счастливых днях настолько свежи в моей душе, как будто это было вчера. Сорок с лишним лет я работаю в области художественного перевода, но годы не в силах ослабить во мне чувства невыразимой благодарности великому вождю трудящихся, который при всей своей огромной занятости уделил столько трогательного внимания простому, незнакомому ему человеку, проявил поистине человеческую заботу о его судьбе.

Полностью публикуется впервые.

Мои встречи с Лениным

В начале революции, в 1918 году я заведовал литературным отделом Наркомпроса¹. В то время старая литература ушла, прежние литераторы ушли со сцены. А новая, пролетарско-революционная литература еще не организовалась. Один только Маяковский выдвигался как советский писатель. Нужно было собирать советски-революционно настроенных писателей. Это была трудная и сложная задача. Владимир Ильич Ленин в высшей степени внимательно относился к этому вопросу.

Однажды он вызвал меня в Совнарком, чтобы я дал отчет, что сделано по собиранию пролетарских писателей, по организации пролетарской литературы.

Прихожу в Кремль.

¹ Автор указывает ошибочную дату; он был назначен на эту должность распоряжением Наркомпроса № 49 от 25 января 1921 г.— *Ред.*

В громадном зале за длиннейшим столом сидит человек восемьдесят ответственных работников — наркомов, замнаркомов, заведующих управлениями, отделами, комитетами. Много приехавших из разных краев и областей.

Все расположились за столом и вдоль стен на стульях.

Тов[арищ] Ленин председательствовал. Он давал ораторам слово и строго следил, чтобы ораторы не переливали из пустого в порожнее, требовал сжатости и изложения по существу. И ораторы боялись расплываться в многословии. Заседание шло напряженно, сжато и быстро. Тов[арищ] Ленин употреблял многообразные приемы, чтобы сэкономить время.

Стали обсуждать вопрос о бумаге.

Мы совершенно сидим без бумаги. А она нужна и Красной Армии, и гражданским учреждениям, и для печатания литературы. Владимир Ильич взял папку, слегка приподнял ее и сказал:

— Вот проект, как упорядочить выработку бумаги, как заставить бумажные фабрики напряженнее работать. Ваше слово, товарищ... Впрочем, подождите минуточку, — обратился он к товарищу, подымавшемуся со своего места¹. (Он тогда занимался вопросами бумаги.) Я вас попрошу с автором этого проекта выйти за дверь. Пусть он вам расскажет сущность своего проекта. Если проект дельный — мы сейчас же проведем его без прений. Если ж он пустой — автор проекта пусть сядет под арест на три дня. Даю вам обоим пять минут.

Товарищ Ленин продолжал заседание. А тов. Шведчиков и автор проекта с скукожившимся лицом вышли за дверь. Ровно через пять минут они вернулись. У автора проекта лицо было красное, как вареный рак. Тов[арищ] Ленин сейчас же прервал речь очередного оратора и торопливо обратился к тов[арищу] Шведчикову:

— Ну, как?

— Проект дельный.

— Ага! Ну, прекрасно. Мы его утвердим...

И обратился к секретарю, быстро передавая ему папку.

Заседание продолжалось.

Я был поражен удивительным умением Ленина вести заседание в высшей степени экономно, уплотненно.

¹ Тов. Шведчиков. (Прим. автора.)

Я не помню ни одного председателя, который бы так умел это делать.

Тов[арищ] Ленин в высшей степени внимательно слушал речи оратора, а сам в это время успевал перекинуться словом с кем-нибудь из сидящих товарищей. То и дело он писал маленькие записочки товарищам, сидевшим за столом: «Вы неправильно ставите вопрос...» «Надо сделать так-то и так-то». Эти записочки он ловко бросал сидевшим поодаль.

Ночь... Уже два, три, четыре часа непрерывной работы. У всех глаза посоловели. Усталые лица бледны. Тов[арищ] Ленин видит, что нужно дать передышку. Он кладет карандаш, хитро оглядывает сидящих товарищей и говорит, пряча усмешку:

— Я, знаете ли, прошлой осенью поехал в деревню с товарищами отдохнуть. Ну, беседовали мы с крестьянами и крестьянками о деревенской жизни. Чайку попили. Потом пошли поохотиться. Хозяин говорил, что под самой деревней есть озерцо в камышах, там масса уток. Приходим туда. Сняли башмаки, закатали штаны и полезли в озеро... Топко. Шуршит камыш, из-за него ничего не видно. Высокий.

Мы шлепаем по воде. Ноги уходят выше колена в тину, с усилием вытаскиваем их. Слышим, где-то впереди из камыша вылетают утки и... пропадают — нам из-за камыша их не видно. Мы все болтаемся в тине, с плеском и шумом. Так, должно быть, с час промаялись... «Да ну их к черту, — говорит товарищ... — Этак мы до вечера без толку будем болтаться...»

Насилу вылезли. На берегу собрались ребяташки. Как глянули на нас, давай хохотать и шлепать в ладошки. «Дяденьки, дяденьки, да вы всю тину с озера выгребли».

Мы глянули друг на друга и тоже стали хохотать. Жалко — не было ни художника, ни фотографа. Надо было нас увековечить.

Ленин хитро посмеивается. А зал оглашается хохотом товарищей. Усталости — как не бывало. Блестят у товарищей глаза. Напряженны приготовившиеся к работе лица.

Тов[арищ] Ленин постучал по столу карандашом, и опять началась напряженно-громоздкая работа по спасению страны от врагов, по строительству.

Как-то вечером в 1920 году¹ тов[арищ] Ленин прислал за мной машину. В Кремле поднимаюсь по лестнице в маленькую квартирку Ленина. За небольшим столом сидит Надежда Константиновна Крупская и сестра Ленина, Марья Ильинична Ульянова. С Марьей Ильиничной мы долго работали вместе в «Правде». Через нее Владимир Ильич давал направление газете. Он указывал на ошибки в ведении газеты и подчеркивал ее хорошие стороны. Это чрезвычайно ободряло редакцию и всех сотрудников.

Вскоре вышел Ильич, подошел ко мне, крепко пожал руку, пригласил за стол. Глядя на меня чуть усмехающимися глазами, он быстро спросил:

— Ну, с кем вы больше встречаетесь — с интеллигентами или с рабочими?

— Да понемногу и с теми и с другими.

— Да-да-да, — быстро проговорил Владимир Ильич, — вот литературу нужно нам свою организовать. Кого из старых писателей можно привлечь?

— Да ведь как... Много их, да, пожалуй, самых талантливых, враждебно убежало на запад, за границу. Другие — в Харбин, в Японию. Третьи притаились тут у нас, и о них ничего не слышать...

Владимир Ильич на минуту призадумался, потом быстро заговорил:

— Да-да-да... Надо новых писателей создавать, из рабочих, из крестьян. Кружки...

— Кружки у нас есть. Кружки рабкоров, селькоров. Пишут.

— Да-да-да... отлично... Постепенно из них и художники выйдут.

— Рабочие, Владимир Ильич, своими силами стараются культурно выбиться. Вот пришлось мне побывать на Северной дороге на станции Лосиноостровской. Там интересно проявили себя в самодеятельности рабочие. Жил там богатый помещик. У него была скаковая конюшня. Когда пришла революция, он сбежал совсем с лошадьми. Осталась конюшня, заваленная навозом. Рабочим арсенала очень хотелось иметь свой клуб. А здания не было. Выпросили они у местной власти эту конюшню. Им дали. Рабочие выгребли навоз, поделали окна, настлали пол и

¹ Встреча В. И. Ленина и А. С. Серафимовича состоялась в январе 1920 г. — *Ред.*

потолок, потом сделали эстраду, электричество провели, повесили занавес, поделали сами скамьи, кресла. Получился клуб, вроде «Дворянского собрания».

Владимир Ильич заразительно расхохотался. И все приговаривал:

— Да-да-да, совершенно «Дворянское собрание», совершенно «Дворянское собрание».

И в этом радостном смехе, в этом радостном блеске глаз неизъяснимая любовь и гордость за рабочий класс.

И все приговаривал:

— О, рабочий класс все может сделать!.. И из конюшни — «Дворянское собрание».

В начале Великой Октябрьской социалистической революции я с группой товарищей организовал литературно-художественный журнал «Творчество». Владимир Ильич опять внимательно следил за жизнью журнала, за всем тем, что в нем появлялось. В общем, он хорошо отнесся к журналу. Но однажды сказал:

— Хорошо, что журнал отдает внимание жизни рабочих и особенно, что сами рабочие там пишут. Но скажите, почему у вас ничего не рассказывается о жизни советской женщины, о крестьянке. Ведь в преобразованном государстве, в социалистическом государстве, она играет громадную роль. Ведь впервые у нас она выходит на широкую общественную арену. Посмотрите, как наши женщины, даже в деревне, рвутся к учебе, к образованию. Пройдет немного лет, и у нас появятся женщины-врачи, женщины-агрономы, женщины-инженеры, женщины-ученые, женщины — государственные деятели. Да-да, — опять проговорил он, думая о своем, — нужно писать о нашей женщине. От них много зависит, как пойдет строительство нашей жизни.

Не было ни одного вопроса общественной жизни, который бы проходил мимо т[оварища] Ленина. Но один из таких вопросов всегда, при всяких выступлениях, по всякому поводу, он особенно подчеркивал — это вопрос о защите отечества.

На партийных собраниях, на комсомольских и на общих больших собраниях рабочих, крестьян и интеллигенции он упорно говорил:

— Готовьтесь к отражению враждебных нападений. Готовьтесь защитить вашу родную страну... Помните, мы окружены со всех сторон враждебными государствами...

Это упорное напоминание глубоко проникло в народные массы, — и нынешняя война ярко показала это: народ, все национальности, по завету Ленина, страстно бьются с подлыми врагами и ломают их¹.

Ленин чрезвычайно внимательно заботился о людях умственного труда — об ученых, о профессорах, изобретателях, инженерах. В те трудные времена он старался всячески возможно лучше устроить их жизнь.

В высшей степени внимательно он относился к жизни и обстановке писателей. Марья Ильинична Ульянова как-то рассказала ему, что я нуждаюсь, живу в сырой квартире. Владимир Ильич сейчас же распорядился отвести мне комнату в Первом Доме Советов и дать мне обед в совнаркомовской столовой. Это чрезвычайно поддержало меня.

В 1918—19 годах рабочие голодали. Ленину часто присылали из деревни мясо, печеный хлеб, овощи, фрукты. Владимир Ильич все это отсылал в детские дома, в больницы. Однажды Марья Ильинична сказала ему:

— Володя, ты бы хоть немного себе оставлял... А то ослабеешь, свалишься, не в состоянии будешь работать...

Владимир Ильич ответил:

— Я не могу есть, зная, что рабочие и их дети голодают.

«А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», Гослитиздат, М. 1958, стр. 423—428.

¹ Воспоминания написаны 25 декабря 1943 г. — *Ред.*

■
О Ленине

Мне дорога Москва не величием исторической своей седины, а обликом сравнительно недавним. Далека от благообразия любимый лик моей Москвы. Он слишком щетинистый и напряженный, чтобы внешне казаться красивым. Но внутренне прекрасен, как символ моральной силы народа, воплощение упорства человеческой воли.

Именно такой я увидела нашу столицу впервые, когда мне было шестнадцать лет. В молодости неотразимы впечатления именно воинствующей жизни. Из далекой Сибири на очень короткий срок приехала я в Москву 1905 года. Я видела людей несдавшейся революционной Москвы, и этот краткий срок стал значительным этапом моей юности. Рассказать сейчас коротко о нем я не могу, но нерушимо храню благодарную память о встречах и людях, с которыми свела меня тогда судьба.

Когда я в 1920 году, по командировке Челябинского губнаробраза, приехала на курсы и на I Всероссийский

съезд по внешкольному образованию¹ в холодную, голодную, окруженную иноземной и белогвардейской блокадой Москву, она была мне уже дорога, как земля обетованная.

На Усачевке, в общежитии, выделенном для нас Социалистической академией народного образования, в доме, занятом убежищем имени неизвестного нам Гензеля для каких-то благородных вдов и старых дев, нам было холодно и голодно.

Из своего скудного питания Академия смогла выделить для нас лишь еще более скудное, абы — ноги не протянуть. По ночам мы разобрали на топку все ближайšie дощатые заборы. Их не хватало, мы мерзли, согревались танцами в самые неурочные ни по времени, ни по душевному нашему настроению часы. Благородные девы и вдовы не допускали нас, чтобы согреть чайник на общей плите, и неустанно пиявили нас слезливым причитанием о прегрешениях Советской власти против них. Когда я вспоминаю об этих «дамах из общества», их назойливые жалобы снова «юзжат» у меня в ушах. Вдовы являлись главным злом нашего трудного быта. Они были злобны и жалки — отвратительное сочетание! Все остальные трудности нашего быта мы преодолевали легко, потому что были счастливы в основном: в своем мироощущении. Перед нами были раскрыты ворота в новый мир, в новое, небывалое на земле Советское, социалистическое государство. И суровая Москва тех лет была его столицей.

В том же году, на Всероссийском съезде по внешкольному образованию, в зале особняка в Малом Харитоньевском переулке, я увидела и услышала Ленина. Было холодно в зале. Особняк не отапливался совсем или очень мало отапливался. Мы сидели в рядах, не сняв верхней одежды. Коллонтай на трибуне стояла в зимних ботах и теплой кофточке. Она — прекрасный оратор. Я больше не слышала ни одной женщины, кроме нее, которая умела бы так заставить свой голос не звучать определенно женскими нотами, хотя говорила она о женской

¹ Л. Н. Сейфуллина вспоминает о III Всероссийском совещании заведующих внешкольными подотделами губернских отделов народного образования, состоявшемся 25 февраля 1920 г.

I Всероссийский съезд по внешкольному образованию состоялся 6—19 мая 1919 г.— *Ред.*

психологии, о средствах раскрепощения личности жен и матерей. А. Коллонтай — всегда оратор, никогда — не оратора. Оттого с предельным вниманием ее слушали люди обоюбого пола, сидящие в зале.

Но как это случилось, я до сих пор не могу себе объяснить, как вдруг оборвалось это внимание слушателей. Словно внезапно выключили электрический ток. И Коллонтай замялась, оглянулась назад. В дверях, ведущих на возвышение, занятое президиумом съезда, появился небольшого роста человек в черном распахнутом пальто с барашковым воротником, с шапкой в руках. Показался он в дверях на самое короткое мгновение и скрылся из виду. Но в одно мгновение этот небольшого роста человек, как великан, как некая громада, занял собой все вокруг. Вдруг не стало ни аудитории, ни президиума, ни стен барской залы, ни замечательного оратора на трибуне. Один он, его присутствие! Я решительно не помню, как закончила свое выступление Коллонтай, не знаю, каким образом мы все взглянули в дверь на возвышении именно тогда, когда на миг в ней появился Ленин. О том, что он придет и будет говорить для нас, нам не было известно. Во всяком случае, рядовые участники съезда не знали об этом, но весь зал интуитивно взглянул на дверь с одной общей мыслью: это Ленин. Я даже не помню, была ли овация, когда Ленин вышел уже на трибуну. Или мы не смогли внешним образом шумно проявить огромное наше волнение, или сам он властно пресек радостные наши рукоплескания. Я не помню. Как будто сразу он заговорил, уверенно и просто, с двумя-тремя своими единомышленниками об одинаково интересующем их деле, а не с большой и еще очень разнородной по духу аудиторией внешкольных работников. Эта речь его известна. Я не буду ее цитировать. Какое большое организующее значение имела она для нас в дальнейшей нашей внешкольной работе, вообще для дальнейших путей внешкольного образования в Советской стране, это — тема не для данной странички моих воспоминаний. Ленин говорил, в зале стояла та изумительная тишина, при которой кажется, что и дышит здесь один — тот, который говорит. И смотрели мы на него всепоглощенным зрением, чтобы сохранить его образ в себе, унести с собой навсегда в свою отдельную человеческую жизнь. И слушали так же, чтобы донести в свою жизнь каждое ленинское слово

во всей его полноценности. Так слушала Ленина всякая аудитория. Его словам даже враги не сразу находили в себе отпор. Для меня этот день стал жизненным откровением. Он определил мое трудовое место в стране, весь мой дальнейший рабочий путь — внешкольного работника, позднее — литератора.

В 1942 году я снова жила в суровой Москве. Но и на затемненных улицах, на стесненных рабочих местах, в холодных жилищах, в быту военного времени, полном всяческих лишений, — люди советской Москвы бодро двигались, творили, жили, как мировое бродило человеческого достоинства, как хранители светлых идей справедливости в мире, окутанном мракобесием фашизма. И наш свет победил. Я люблю Москву грозных лет в ее внутренней мужественной красоте.

Л. Сейфуллина, Избранные произведения, т. 1, Гослитиздат, М. 1958, стр. 421—423.

О Ленине

Я не думал говорить¹, считая себя недостаточно осведомленным. Я скажу лишь несколько слов о личном взгляде своем. Вчера вместе с Максимом Горьким мы вспоминали слова поэта Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Такие роковые минуты мы переживаем и сейчас.

Здесь много молодых лиц, и им непонятно то, как смотрим на вещи мы. Их детство прошло в 1905 году, их молодость совпала с европейской войной, теперь они переживают социалистическую революцию. Но для нас, которые в молодости жили в чеховской России, теперешние события прямо фееричны. Конечно, мы все считали социалистическую революцию делом далекого будущего.

¹ Речь, произнесенная на торжественном заседании в Московском Доме печати в связи с пятидесятилетием В. И. Ленина в апреле 1920 г.— *Ред.*

Вот теперь заговорили о возможности сношения с другими планетами, но мало кто из нас надеется там побывать. Так и русская революция казалась нам такой же далекой. Предугадать, что революция не так далека, что нужно вести к ней теперь же,— это доступно лишь человеку колоссальной мудрости. И это в Ленине поражает меня больше всего.

Мы знаем, что всякая героизация противоречит миро-созерцанию Ленина; все мы учили, что земля движется по орбите, но это не мешает нам, однако, восхищаться восходом солнца утром, закатом его вечером, восторгаться им, когда оно стоит на небе в полдень.

Пройдут поколения, и они будут также восхищаться восходом солнца, также будут изучать и восхищаться образом тов. Ленина.

*«Литературная газета», 1960,
№ 19, 13 февраля.*

■
В. И. Ульянов-Ленин

Грозные эпохи исторических переломов рожают людей, которые как бы воплощают в себе душу переживаемого момента. Эти люди являются средоточием и носителями того нового, грядущего, высшего, которое борьбой пробивает себе дорогу и завоевывает право на существование. Таким человеком в нашу эпоху перелома от капитализма к социализму является Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Подобно какому-то сказочному дереву, пустил он могучие корни глубоко в толщу рабочей массы России, а верхушкой своей упирается в те заоблачные высоты, где нагромождены научные и культурные ценности, собранные человечеством в течение тысячелетий. К ужасу жрецов и хранителей этих ценностей, тащит он их непочтительно и бесцеремонно вниз, к питающим его корни массам, а в обмен — к еще большему ужасу этих священнослужителей — бросает в их тихие лазурные высоты дерзкие и властные требования пролетариата.

Не удивительно, что имя его стало символом освобождения рабочего класса — не только России, не только

Европы, но всего мира; не удивительно, что миллионы взоров, мыслей, чувств трудящихся земного шара стремятся в тот уголок Кремля, где эти мысли и чувства миллионов таинственно претворяются умом и волею одного человека в боевые лозунги масс, в путеводные звезды мощных движений.

Какая же сила таится в этом одном избраннике и как должны ценить и любить его те, кто признал в нем своего надежного вождя!

Трудно представить себе более цельное сочетание в одном лице громадной мысли, могучей воли и великого чувства: Владимир Ильич как бы вытесан весь из одной глыбы, и нет в нем линий раскола. Все в нем сосредоточенно, как бы пригнано к одной большой общей задаче — служению делу пролетариата и руководству им на пути к социализму. И с какой бы стороны вы ни подходили к нему, вы неизменно наткнетесь на ту же единую, но грандиозную идею, охватывающую его целиком и не оставляющую места другим интересам.

У Владимира Ильича большой *теоретический* ум. Главное то, что теория для него никогда не представляла самодовлеющей ценности, как для профессионалов-ученых. Он всегда смотрел на нее, как на способ познания того мира, в котором живет пролетариат, с которым он борется и который стремится перестроить. И в этой тесной связи теоретической мысли с практическими задачами могучего революционного класса и создается та особая острота и меткость мысли Ленина, которая позволяет ему из всякого, с виду самого отвлеченного, положения выковать боевое оружие и поражать им противника. Здесь сказывается та скрытая духовная связь, которая существует между классом и его идеологом и благодаря которой идеолог молодого, восходящего, революционного класса имеет в нем бесконечный источник духовного творчества.

Благодаря этому практическому, глубоко жизненному характеру теоретического мышления Ленина, благодаря этой духовной связи с массой он обладает удивительным даром политического предвидения, т. е. способностью намечать линию исторического развития на ближайшее время, определять перспективы движения, заглядывать вперед, в «неисповедимые судьбы» будущего. Как стороже-

вой, стоящий на вышке, он издали замечает приближающиеся события и предупреждает о них своих соратников.

Естественно, что при этом даре исторического предвидения и при глубоком чутье того, чем живет и что думает масса, Владимир Ильич является блестящим политиком-практиком. Он большой мастер схватывать потребности момента в форме какого-нибудь ясного лозунга, бросать в массы простые, понятные задания, которые идут навстречу назревшей сегодняшней нужде. Как опытный кормчий быстрыми, ловкими движениями руля ведет корабль по опасному, усеянному рифами фарватеру, так он этими практическими лозунгами и заданиями руководит стихийным движением масс, зорко наблюдая за тем, как массы отзываются на эти меры и в какой степени отдельные фазы движения соответствуют общим тенденциям и целям. И как только какой-нибудь лозунг не оправдал ожиданий или исполнил свою задачу, кормчий так же быстро и умело делает новый поворот руля, бросает новый лозунг, толкая мысль и волю масс под другим углом. И эти смелые повороты руля бывают иногда так неожиданны, что даже близкие соратники Ленина стоят озадаченные, не зная, следует ли хлопать или протестовать. К счастью для нас, действительность разбивала всякие сомнения.

Можно подумать, что Владимир Ильич — деспот, схвативший в свои руки рулевое колесо и ни с кем не считающийся. Такое мнение было бы в корне ошибочным. Среди баловней судьбы, которым история давала такую громадную власть не только над людьми, но и — что в тысячу раз важнее — над сердцами людей, не было еще ни одного, который так высоко ставил бы человека в государственной машине. На других людей он смотрит, как на себя: это бывает иногда людям не под силу, ибо он нередко переоценивает их, приписывает им такие же исполинские силы, какими обладает сам, и им горько, что они не могут оправдать его ожиданий. Но он никогда не примет решения, никогда не предпримет шага, пока не убедится, что это не просто его личное мнение, а выражение мнений многих из его соратников. Окружающие его и встречающиеся с ним часто даже не подозревают, как много их коллективных переживаний, их опыта в мыслях и решениях Владимира Ильича. И это уметь собирать в себе, как в фокусе вогнутого зеркала, опыт и знания многих и многих и претворять их в своей богатой умственной рабо-

ратории в общие идеи и общие лозунги и составляет его редкую способность.

Но не является ли он в силу этих качеств сухим, тощим политиком, для которого живые люди лишь марионетки или шахматы? И этого нет. Владимир Ильич любит людей, с которыми работает и борется за общие интересы. Он проявляет много нежности и заботливости о них, — той мужской нежности, которая избегает сладких слов и внешних знаков. Но и здесь он верен себе: как только человек покидает свой пост, как только он дезертирует из рядов борцов, он не существует больше для Ленина. Борьба за дело пролетариата в рядах Коммунистической партии — вот то основное, что определяет отношения Ленина к человеку, это та «истина», которая для него выше «друга Платона». И здесь мы вплотную подходим к той основной черте личной этики, которая так характерна и так привлекательна в Ленине. У него нет общего и частного, нет общественной жизни и личной жизни. Он и в этом выкован из одной глыбы. В общественную жизнь он ушел весь без остатка, спаяв с нею и свое личное существование. Вся его личная жизнь — рабыня его общественной деятельности. Здесь нет места внутренним противоречиям, трагедиям, компромиссам — всему тому наследию мещанства, которое разбило не одну жизнь интеллигента-революционера. И эта цельность ставит Ленина на ту нравственную высоту, до которой даже клевета врагов бессильна подняться.

Дать характеристику Ленина — это значит писать и писать целые тома, ибо так много можно и хочется сказать об этом столь простом и цельном, и в то же время столь разнообразном и сложном человеке. Но сейчас¹ довлеет желание высказать в нескольких строках те чувства преклонения перед величием человека и чувства нежности к товарищу и соратнику, которые испытываем мы все, работавшие и работающие вместе с ним в рядах Коммунистической партии.

«Октябрь», 1963, № 1, стр. 6—8.

¹ Статья написана в апреле 1920 г. в связи с пятидесятилетием В. И. Ленина. — *Ред.*

Большой человек мира сего

Из года в год все чаще и чаще люди старшего поколения слышат обращенный к ним вопрос: «Случалось ли вам видеть Ленина?»

Нельзя побороть чувство гордой радости, когда отвечаешь: «Да, случалось». И тогда вслед за первым вопросом непременно последует второй: «Где вы видели Ленина? Когда?»

Если даже человеку довелось видеть Ленина только однажды и мельком, все равно он ощущает это, как важнейшее событие, воспоминание об этом навсегда останется самым дорогим и ценным в жизни. Поэтому-то с чувством тревоги и недоверия следишь за появлением образа Ленина на экране или на сцене, и только по мере того, как артист силой своего дарования восстанавливает в нашей памяти облик, походку, манеру разговора Ленина, мудрость, пронизательность и великодушие его, — тень недоверия к артисту исчезает и остается одно чувство — чувство безмерного восхищения величайшим человеком нашей эпохи.

«Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер».

Так писал Горький, выразив этими словами всю огромную скорбь народа, человечества в дни смерти Ленина. «Большой, настоящий человек мира сего...» — именно эта мысль приходит в голову автору, которому посчастливилось однажды увидеть Ленина.

В те годы, первые годы молодого Советского государства, все, чем жил народ, все его чаянья и стремления были обращены к этому человеку и партии, которую он создал. И потому можно вообразить те чувства, которые владели нами, молодыми политическими работниками Балтийского флота, когда нам предстояло увидеть и услышать Ленина.

Нас командировали по делам Политуправления в Москву. Необычайное иногда совершается просто и неожиданно. Я помню жаркий день, когда мы подходили к Троицким воротам Кремля, сжимая в руках зеленые пропуска на заседание II конгресса Коминтерна, которое должно было происходить в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Часовой поглядел наши пропуска, но не нанизал их на штык, как делалось в те времена, а вернул и уважительно посмотрел на нас.

Были летние дни 1920 года. 19 июля, в день открытия II конгресса Коминтерна, Красная Армия заняла Гродно и Барановичи. Польские помещики покидали родовые усадьбы и убегали в Варшаву и дальше, на запад. Лодзинские фабриканты оставляли особняки на Познанской улице. Антанта спешила на помощь белополякам. Врангелевцы готовили наступление в северной Таврии. Шайки Махно терзали Украину.

И в эти-то дни в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца делегаты II конгресса Коминтерна обсуждали колониальный вопрос.

Над трибуной появилась характерная, знакомая миллионам людей голова Ильича. Его зоркие, немного прищуренные глаза мгновенно охватили весь раззолоченный Андреевский зал, несколько сот человек — делегатов и гостей конгресса. Наступила полная, особого значения тишина. Такая тишина говорит об огромном уважении слушателей к оратору. Она говорит о том, что слова, которые сейчас будут произнесены, обращены не только к людям, собравшимся в этих стенах, но что слова эти

имеют значение для всего мира, для всей истории, для всего человечества.

Ленин не сделал никакой паузы, ни одного движения, присущего испытанному оратору. Он не сделал ни одного жеста из тех обдуманых жестов, которые имеют единственной целью привлечь и сосредоточить внимание слушателей. Не напрягая голоса, ровно, отчетливо и довольно быстро он начал читать известные теперь всему миру свои тезисы по колониальному вопросу.

Этим тезисам, которые стали с той минуты достоянием человечества, предшествовали споры, колебания и сомнения среди делегатов конгресса. Надо помнить, что Ленин был своеобразным Колумбом социализма в действии, он вел революционное движение мира по еще не изведанным путям. Колебаниям и сомнениям некоторых делегатов посвятил в те дни одно из своих выступлений Ленин.

«Тов. Квелч, из Британской социалистической партии, говорил об этом в нашей комиссии (комиссии по национальному и колониальному вопросам.— *Л. Н.*). Он сказал, что рядовой английский рабочий счел бы за измену помогать поработенным народам в их восстаниях против английского владычества.

...здесь мы имеем дело с величайшей изменой со стороны вождей и рабочих, принадлежащих к этому буржуазному Интернационалу»,— сказал Ленин. И это противопоставление измены в том смысле, как ее понимали соглашатели из буржуазного Интернационала, и измены, как ее определял и оценивал Ленин, произвело буквально потрясающее впечатление.

Оно усиливалось и целиком покоряло слушателя еще и потому, что такие слова произносились Лениным с глубокой убежденностью, искренностью и притом очень просто, без малейшей ораторской рисовки.

Логика Ленина пленяла и в этот единственный раз, когда мне довелось слушать Ленина. Потому и сейчас в памяти моей сохранилось не только внешнее, не только обстановка, характерные особенности того времени, но и те чувства, вся та гамма ощущений, с которой мы слушали величайшего человека мира сего.

Ленин не выделял ни одной фразы, и все же сразу запоминалось самое важное из того, что он читал, запоминалось потому, что ясность ленинской мысли, правда

ленинских слов покоряли слушателей. Так может говорить лишь человек, глубоко уверенный в правоте своих слов. Так может говорить лишь человек, внутренне убежденный в том, что он выступает от имени восставшего могучего народа, — народа, который во имя правды и справедливости призывает человечество на защиту угнетенных. И потому, что текст документа, который читал Ленин, был составлен в очень простых, ничуть не цветистых, ясных выражениях, и потому, что Ленин просто, без всякого ораторского нажима, произносил эти, по существу потрясающие старый мир слова, — впечатление от речи было глубоким и неотразимым.

Особенно глубоким и неотразимым оно было, когда Ленин обращался к массам, к народу, которому чужда голая ораторская техника какого-нибудь «парламентария», оратора-златоуста. Народ не воспринимает ни ораторской рисовки, ни эффектной театральной жестикуляции, а ищет правды, ищет логики и ясности, и когда находит ее в словах и делах поистине великого человека, то следует за ним бесповоротно, до конца, до победы.

Нужно было хотя бы однажды услышать Ленина, чтобы понять, почему за ним шел народ. Именно эта мысль овладела мной в тот июльский вечер, когда я в первый раз в жизни слышал Ленина.

Были московские белые летние сумерки, бледное отражение северных белых ночей. Закат светился в позолоте Андреевского зала и зажигал огненный отблеск в алом шелке знамен у трибуны.

Был неожиданный, почти ошеломляющий контраст громоздкой пышности дворцового зала с деловой, рабочей обстановкой заседания конгресса. Длинный, крытый красным сукном стол, зеленые колпаки рабочих ламп над столиками стенографисток и тяжелая малиновая сень (балдахин тогда еще не убранного трона) позади стола президиума.

И был негромкий, отчетливо звучащий в полной тишине голос Ленина, проникавший далеко за пределы этого зала и дворца, за пределы страны, окруженной кольцом блокады и ржавой железной паутиной проволочных заграждений. «Большой, настоящий человек мира сего» говорил с миром, глядел сквозь десятилетия и видел победу уже в те дни, когда «государственные люди» Англии посылали британский флот обстреливать красноармейские

части на берегу Черного моря, когда государственные люди Франции готовились признать де-факто правителем России барона Врангеля.

Ленин кончил свою речь и тотчас же оставил трибуну. Все дружно захлопали, тут же встали и прошли в соседний зал. Там, у окна, остановился Ленин. Он говорил с одной из делегатов конгресса, и то, что она рассказывала ему, вызывало у Ленина смех, он весело и заразительно смеялся, временами с живостью перебивая свою собеседницу. И когда мы глядели на Ленина, то уже не удивлялись тому, что ни один портрет, ни одна фотография не передают живости этого лица, пронизательности и ума этих глаз.

Люди, стоявшие вблизи Ленина, старались не показывать, что они остановились здесь только для того, чтобы еще раз поглядеть на него. И все же вокруг «человека мира сего» была явственно ощутимая атмосфера внимания, уважения и теплоты. Среди делегатов конгресса были люди, которые знали Ленина в годы его изгнания, в годы эмиграции, они читали и знали его труды и теперь с тенью почтительного изумления смотрели на ученого, который сумел воплотить в жизнь свои воззрения и совершить то, что было его единственным желанием, его мечтой и вместе с тем волей и желанием миллионов людей нашей страны.

Вечернее заседание конгресса кончилось. Ленин уходил. Он шел по дворцовой галерее своей обычной, живой, легкой походкой, и, когда проходил мимо часовых, они провожали его долгим, внимательным и серьезным взглядом.

Часовые провожали взглядом великого человека, признанного его современниками, на вечные времена утвержденного в веках; и потому, что Ленин был общителен, прост в обращении, скромен и доступен для человека из народа, из низов,—популярность его становилась еще шире и огромней.

Многие из людей, которые были в тот день в Кремлевском дворце, «наследники разума и воли его», еще живы и, подтверждая слова Алексея Максимовича Горького, «работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал»; другие со славой кончили свой жизненный путь.

Лето 1920 года прошло. Наступили осень и суровая зима и еще три зимы с Лениным, затем январские черные, траурные ночи.

Крепчайший мороз, пар и снег, иней на бородах у старых людей и бесконечно движущаяся колонна людей. Голова колонны медленно вползала в открытые двери Дома Союзов, а хвост не имел конца и терялся в улицах и переулках Москвы. В центре Колонного зала лежал Ленин, и морозное дыхание миллионов людей веяло над его удивительным, незабываемым и теперь уже смертельно желтым лбом.

Все, что было честного на земле, все, что было светлого и благородного, соединилось в глубокой скорби у гроба Ленина, и в первые дни у клеветников и ненавистников как бы перехватило горло: у них не было силы поднять голос против сияющей славы величайшего человека мира сего.

Великий русский писатель, на двенадцать лет переживший своего друга и учителя, писал:

«...если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира».

Этими словами следует закончить одно из самых драгоценных воспоминаний жизни, — воспоминание о том дне, когда автор этих строк видел и слышал Ленина.

*«Воспоминания о Ленине», т. 2,
Госполитиздат, М. 1957, стр. 537—
540.*



Живой Ленин

1

В самом начале 1919 года в Москве я увидел впервые Ленина. Поправившись от тяжелой раны после покушения контрреволюции на его жизнь, Ленин начал выходить.

В Наркомпросе, в здании бывшего лицея, у Крымского моста, Ленин ожидал Надежду Константиновну Крупскую. Он был в шубе, без шапки и прохаживался в узком пространстве вестибюля, между парадной дверью и лестницей, где сидел у столика швейцар.

Сверху так хорошо была видна голова Ленина — большая, необычная, запоминавшаяся с первого взгляда. Завитушки светлых желтых волос лежали на меховом воротнике. Взмах лба, темя и затылок были странно преобладающими во всем облике, который и другими чертами не повторял никого из знакомых живых образов истории или современности, а принадлежал только этому человеку — Ленину. Держа за спиною шапку, он методично, маленькими шажками, двигался взад и вперед, очень

сосредоточенно, не нарушая размеренность этого движения и только изредка поднимая взгляд.

Хотя занятия давно кончились и в доме оставалось мало служащих, по комнатам быстро разлетелся слух, что за Надеждой Константиновной заехал Ленин. Помню, как прибегали машинистки из отделов — посмотреть на Ленина, перевешивались через балюстраду и убегали, если он поднимал голову.

То, что Ленин прохаживался возле швейцара, который возился с кипяточком, и то, что кругом за просто появлялись и исчезали переполненные палящим человеческим любопытством служащие, оставило во мне первое покоряющее впечатление о Ленине как о человеке совершенно доступном, непринужденном и ярком своей мужественной простотой.

2

В июле 1920 года в Петрограде открылся II конгресс Коммунистического Интернационала.

В зал Дворца Урицкого Ленин вошел во главе группы разноплеменных делегатов конгресса. Навстречу ему тронулся и пополз, все поглощая своим грохотом, обвал рукоплесканий. В этот момент со всех сторон внесли в зал корзины с красными гвоздиками и стали раздавать цветы делегатам.

Ленин прошел поспешно через весь зал, наклонив вперед голову, словно рассекая ею встречный поток воздуха и как будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы приостановить аплодирование. Он поднялся на скамьи президиума, и, пока длилась оvação, его не было видно.

Когда стихло, он неожиданно опять появился в зале и очень быстро стал подыматься вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но, едва заметили, опять начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал. Он поравнялся с каким-то стариком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Не знаю, что это был за старик. Судя по тому, как степенно и даже важно он поздоровался с Лениным, — его добрый знакомый из крестьян.

Ленину пришлось вынести третью и, пожалуй, самую восторженную, подавляющую оvação, когда он ступил

для доклада на трибуну. Он долго перебирал бумажки на кафедре, потом, подняв руку, тряс ею, чтобы уговорить разбушевавшийся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам, вдруг вынул часы, стал показывать их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату, — ничто не помогало. Тогда он опять принялся пересматривать, перебирать бумажки. Гул аплодисментов улегся не скоро.

Ленин-оратор обладал полной слитностью жеста со словом. Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Казалось, что расплавленный металл влит в податливую форму, настолько точно внешнее движение сопутствовало слову и так бурно протекала передача огненного смысла речи. Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого монотонным профессором, оставаясь все время великим трибуном.

Когда он спросил у зала: почему создано во всем свете «беспокойство», как выражается деликатное буржуазное правительство Англии, — все его тело иронически изобразило это неудобное, щекотливое для буржуазии «беспокойство», и мировая политика на глазах у всех превратилась в разящий саркастический образ.

Со мною рядом, в ложе для журналистов, сидел художник. Ощупывая цепкими глазами фигуру Ленина, он силился перенести ее жизнь на бумагу. Но жест, но движения Ленина оставались непойманными. Художник пересел на другое место. Потом я его видел на третьем, на четвертом. Объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого живого Ленина.

После заседания Ленин вышел из дворца в толпе делегатов, вместе с Горьким. Тут, при выходе, фотограф снял их, и отсюда — знаменитый портрет: Ленин и Горький у колонны дворца.

3

День был сверкающе синим. Над головами несли трехметровый венок из дубовых веток и красных роз, чтобы на площади Жертв Революции возложить его на могилы тех, чья жизнь была непреклонной в бурях — как дуб, прекрасной — как цветение розы.

Ленин шел впереди с делегатами конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди — иностранцы, русские, старые и молодые.

Он шел без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он — не на улице, среди тяжелых, огромных строений, а в обжитой комнате, может быть у себя дома: ровно ничего не находил он необычайного в массе, окружавшей его, и легко, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.

В этом шествии Ленин замечательно разговаривал с одним человеком.

Но тут — короткое отступление. В Петроград приехал немец, который три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, раздавленную затем Носке. Я встретился с ним во Дворце труда. С балкона мы глядели на площадь, суровую, хранившую следы недавней героической обороны Петрограда от Юденича.

Брауншвейгец волновался по поводу советского порядка распределения товаров. Горбатый, он вдруг воздел длинные руки над головой и с отчаянной тоскою обвел глазами всю площадь:

— Но почему же у вас закрыты мелочные лавки? Если у меня оторвется пуговица, где я ее куплю?!

По профессии этот брауншвейгский республиканец был портным...

И вот в числе разговаривавших с Лениным по дороге к площади Жертв Революции оказался этот брауншвейгец.

Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Сначала Ленин был серьезен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подергивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнул рукой с тем выражением, которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две-три фразы — краткие и какие-то окончательные, бесповоротные. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин легко хлопнул его по плечу, засунул пальцы за проймы жилета и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шагу и уже не оглядываясь на рассмеявшегося его человека.

Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец? Возможно, конечно.

Эта сцена, длившаяся всего две-три минуты, дала мне случай увидеть веселого, от души хохочущего Ленина, наблюдать его манеру жизненного спора — с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с чередованием жестов, полных значения, страсти и воли...

Из этих трех мгновений, драгоценных для меня, запечатлелся в моем воображении и в сердце гениальный, вечно живой Ленин.

*«Воспоминания о Ленине», т. 3,
Госполитиздат, М. 1957, стр. 448—
450.*

Ленин в гостях у комсомольцев

Во многих подробностях вспоминается мне знаменательный день истории комсомола — день открытия III съезда РКСМ.

Это было 2 октября 1920 года.

Холодные сумерки спускались на Москву, хмурую, суровую.

На дверях Лоскутной гостиницы, возле Охотного ряда, — листовки, постановления о борьбе с разрухой, об угрозе сыпнотифозных заболеваний.

А на улице толпы молодежи, шагающей бодро, весело, с громким разговором, а то и с песней.

Группа делегатов съезда поднималась вверх по Тверской улице. Многие заранее переходили на правую сторону, прыгая через ямы и рытвины узкой булыжной мостовой, загромажденной к тому же трамвайными путями... Такой была тогда нынешняя улица Горького.

У площади Моссовета среди делегатов — вихрастый парень в кожаной тужурке. Размахивая шапкой-ушанкой,

он резким голосом очень выразительно читает стихотворение Демьяна Бедного:

Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас злые гады.
Товарищи, мы—в огненном кольце!

Двигаясь дальше по разбитому тротуару, мы останавливались у магазинных витрин, обращенных в витрины плакатов. Плакаты в прозе и стихах призывали громить Врангеля, гнать интервентов из Белоруссии.

«ЗАПИСАЛСЯ ЛИ ТЫ ДОБРОВОЛЬЦЕМ!» —

спрашивал каждого из нас красный воин с яркого плаката.

На этот законный вопрос мы собирались дать достойный ответ на самом съезде. Так уж полагалось в то время в комсомоле. У площади Пушкина кто-то запел «Смело, товарищи, в ногу». А у поворота на Малую Дмитровку (ныне улица Чехова) был затеян лихой пляс, по ходу которого звучали слова самодеятельного припева к переделанной песне «Вдоль да по речке»:

Сергей поп, Сергей поп,
Сергей дьякон и дьячок,
Пономарь Сергеевич,
И звонарь Сергеевич,
Вся деревня Сергеевна,
И Матрена Сергеевна —
Разгова-а-ривают.

Весь комсомол пел и такого рода нехитрые песенные сочинения. Пели и мы, будущие поэты, песенники комсомольские. Песня была спутницей комсомола всегда: и в дни радостей, и в дни горестей. Холодно было, голодно, — а мы пели, предпочитая то, что повеселей. Это свойство юности, смотрящей вперед. Недаром говорилось в частушке:

Нам, солдатам Ленина,
Унывать не велено.

У самых дверей дома № 6, где собирался наш съезд, во время большого затора при проверке документов, унывающий балтийский матрос поднялся на какое-то

возвышение и на всю улицу прогорланил отрывок из «Левого марша» Маяковского:

Там,
за горами горя
солнечный край непечатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!

Комсомолец в стеганой ватной кацавейке, должно быть, делегат из хлебных краев, демонстративно вынул из сумки порядочную краюху хлеба и вручил ее матросу.

Матрос расцеловал щедрого товарища:

— Спасибо, браток! Это будет лакомством для всей нашей делегации...

Кто-то сострил под общий смех:

— Это пока не солнечный край, но непечатый!..

Большой зал был переполнен. После выборов президиума начались приветствия. О комсомоле не так уж много было известно тогда. И приветствия в его адрес со стороны были малочисленны. Приходилось нам самим восполнять этот «пробел».

Мы от души приветствовали друг друга, делегация делегацию. Саратовцы передавали дружеский поклон москвичам. Следовал ответ. Потом уральцы сердечно кланялись питерцам, сибиряки — вологодцам и тверякам.

Во всех приветствиях неизменно звучали здравицы в честь партии рабочего класса, в верности которой комсомол клялся с первых своих шагов. Сердца революционной молодежи, взволнованные Октябрьской грозой, полны были прекрасных предчувствий будущего, дерзновенных надежд на завтрашний день.

Но любая надежда нашей юности опиралась на силу предвидения и мудрость Коммунистической партии.

Разум партии, основанной и ведомой Лениным, — вот светоч, без которого самые благие наши порывы были бы бесплодными. Нам пришлось бы блуждать в потемках, сбиваться с верной дороги...

Жаркую речь на эту тему произнес белокуроый паренек в поддевке, выступивший, кажется, от имени смоленской делегации.

Аплодисменты, раздавшиеся в середине этой речи, вдруг резко усилились, превратились в долгую овацию. Тут уж смоленский паренек был ни при чем. Он понял это. И тихо покинул трибуну. Потому что он увидел Ленина, подошедшего к столу президиума.

Из первых рядов зала мы хорошо рассмотрели Владимира Ильича. Он вошел в распахнутом осеннем пальто с узким бархатным воротником, в кепке. Снял пальто и кепку, положил их на стул, а сам сел с краю у стола. Поговорил с кем-то из президиума и наклонился над книгой или над бумагами...

Известная картина художника Б. Иогансона имеет одну погрешность. На ней неподалеку от стола президиума изображен черный блестяще-полированный рояль.

На самом деле никакого рояля не было. И не могло быть в 1920 году в помещении, которое время от времени использовалось под призывной пункт. И бархатных кресел с позолоченными спинками не было.

Сцена была украшена двумя портретами: Маркса и Энгельса. На большом ее пространстве, помимо стола президиума, стояло несколько маленьких столиков и много разнокалиберных стульев, табуреток и простых дубовых скамеек. Столики предназначались для секретарей.

Освещение зала было, конечно, не богатым. Поэтому многие комсомольцы из дальних рядов ринулись к сцене, чтобы получше разглядеть Ленина. А некоторые набрались храбрости проникнуть на сцену, чтобы оказаться хоть на минутку рядом с Владимиром Ильичем. Среди этих «некоторых» был и я.

Я не был писателем, но журналистом уже был. Даже московскую комсомольскую газету редактировал, несмотря на свой неподходящий для этого возраст. Не удивительно, что сидел я с блокнотом. И записывал. Вот что говорится в одной из моих записей, сделанных в те часы:

«Владимир Ильич наклонился над какими-то бумагами. Я очень хорошо вижу его лицо. Оно кажется чуть-чуть хмурым и сосредоточенным. Он что-то пишет. Странно то, что Ленин словно не замечает приветственного гула, все еще бушующего в зале. Это ведь его приветствуют ребята».

Да, казалось, что ни оваций, ни криков «ура», ни радостных возгласов не слышит Владимир Ильич. А главное, — он, к счастью для нас, не видит явного беспорядка,

учиненного нами, самовольно перекочевавшими из зала на сцену. Он очень занят. Это хорошо: многие из нас вместе со своими табуретками потихонечку продвигаются поближе к столу президиума.

И вот — мы возле Ленина.

Он прервал свое занятие, поднял голову и, улыбаясь, медленным взглядом обвел всех нас, непрошенных гостей президиума.

У каждого из нас перехватило дыхание. Мы замерли. Но под действием приветливого взора Ленина быстро пришли в себя. Вернулось самообладание. Кое-кто через плечо Владимира Ильича осмелился посмотреть — чем он занимается.

Ленин... рисовал. Нарисовал он деревенского типа дом — с крышей, с трубой, с вывеской «школа».

Разумеется, никому из нас не пришло в голову, что тема ленинского рисунка может иметь отношение к теме его речи.

Комсомольцы той поры не могли интересоваться таким учреждением, как школа. Шла гражданская война. Был голод.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ СЫТОМУ БЫТЬ ВРАНГЕЛЯ БИТЬ!

Вот слова с плаката Маяковского, которые были для нас программой тех дней.

Они обнажали и подчеркивали мысль о второстепенности всех задач, кроме одной: защитить, отстоять молодую Республику Советов от вооруженных полчищ белогвардейцев и интервентов.

Вместе с билетом члена РКСМ почти каждый комсомолец получал в то время винтовку. Достившие шестнадцатилетнего возраста отправлялись на фронт. А кто помоложе, выполняли воинские обязанности в тылу, несли службу по охране порядка, участвовали в борьбе с контрреволюцией, с бандитизмом, со спекуляцией.

Впрочем, Павка Корчагин и его «двойник» Николай Островский вступили в ряды Красной Армии в пятнадцатилетнем возрасте потому, что жили они в зоне военных действий. Но и в глубоком тылу находились совсем юные ребята, ухитрившиеся из тыловых мест прорываться на

фронт в результате небольших исправлений в документе о рождении: прибавляли себе годик, а то и два. Рослым это удавалось довольно легко.

Мне не надо было прибегать к хитрости. В октябре 1920 года я уже достиг возраста, в котором комсомольцы должны были идти на фронт в обязательном порядке. Мы, шестнадцатилетние, пришли на III съезд РКСМ с полной уверенностью в том, что путь наш со съезда будет военным путем.

И вот мы видим на своем съезде Ленина. Значит, сам Ленин, великий полководец пролетарской революции, будет напутствовать нас. Именно в те дни вместо слов «Это будет» мы стали петь: «Это есть наш последний и решительный бой!»

Ленин вышел из-за стола президиума и направился не к трибуне, приготовленной для него, а к краю сцены. Трибуной он воспользовался после выступления, когда отвечал на вопросы.

Зал стоя приветствовал Ленина. Шумные вспышки восторгов долго не давали ему начать речь. Два или три раза пели «Интернационал». Владимир Ильич, отойдя в сторону, пел вместе со всеми. Потом он ходил по авансцене. Останавливался. Махал рукой и даже двумя руками в сторону разбушевавшегося, ликующего зала.

Потом довольно внушительно пальцем погрозил.

Начала было устанавливаться тишина. Но... Владимир Ильич заулыбался. Зал тут же отозвался на его улыбку. Раздался раскатистый тысячеголосый взрыв смеха. Все поняли, что грозился Ленин не всерьез. Его улыбка, словно искорка, перекинулась в зал и пошла сверкать по рядам, веселым пламенем охватила всех.

Но вот он вынул из жилетного кармана часы, приподнял их над головой и многозначительно указал на циферблат: время, дескать, идет, ребятаки!.. А время дорого...

Это было ясно без слов.

Наступила полная тишина.

И мы услышали голос Ленина. Зазвучал он вовсе не приподнято, без всякой торжественности, спокойно, мягко, пожалуй, даже несколько по-домашнему, словно на беседе.

В сущности, по своему характеру речь Ленина на нашем III съезде была беседой, большим, серьезным и в то же время задухшевым разговором о самом главном в

жизни молодого поколения, призванного начать строительство нового общества, такого общества, о каком могли лишь мечтать самые светлые головы человечества.

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи... — такими словами началась знаменитая ленинская речь.

Все мы удивились, когда Ленин сказал, что основные задачи молодежи можно выразить *одним* словом.

Он поднял кверху указательный палец и как-то загадочно повторил:

— Одним словом!

Ленин сделал шаг назад, как бы для того, чтобы большее число слушателей охватить пытливым взглядом. Большая и, как мы поняли впоследствии, необходимая пауза. Хотелось отгадать задуманное слово. Владимир Ильич, кажется, ждет, когда оно будет произнесено кем-нибудь из нас. Но в зале царило молчание. Как выяснилось позже, все хотели показать свою сообразительность. Загадку сочли не трудной. Смысл *одного* слова ни у кого не вызывал сомнений. Не знали только: будет ли вернее слово «победить», или слово «сокрушить», или слово «разгромить», а может быть, и еще что-нибудь покрепче в отношении врагов.

Ленин снова подошел к самому краю сцены. Немного наклонился и отчетливо сказал:

— Задача состоит в том, чтобы учиться.

Этого никто из нас не предполагал. Даже видевшие листок с рисунком школы. И не мудрено: стотысячная армия барона Врангеля еще сидела в Крыму. В Белоруссии еще хозяйничали пилсудчики...

Ленин ничего не сказал нам об этом.

Значит, он не сомневается в том, что враги будут разгромлены и без нашей непосредственной помощи. Значит, партия уже подготовила этот разгром. Партия смотрит вперед. Она видит дальше, чем мы. Перед взором Ленина — мирные годы, новая полоса жизни. Отсюда и новые задачи.

Похвалой комсомолу были слова Ленина о том, что мы прекрасно поняли свою задачу поддержки рабоче-крестьянской власти в ее вооруженной борьбе против капиталистических разбойников.

Но... *теперь* этого недостаточно.

Слушая Ленина, мы почти ощутили заманчивость и величие подвига мирного труда, в котором праздничная романтика должна сочетаться с кропотливой, суровой будничностью.

Значит, и тут нужно мужество! Владимир Ильич говорил о перспективах *общего* труда. Оказывается, нашему поколению суждено заняться организацией такого труда, освоением и созданием высокой техники. А для этого надо учиться. Крепости науки, искусства тоже предстояло штурмовать нам.

Призывая комсомольцев стать застрельщиками в организации общего труда, Владимир Ильич предостерегал от верхоглядства и беззаботности. Он говорил нам:

— Сразу общего труда не создашь. Этого быть не может. Это с неба не сваливается. Это нужно заработать, выстрадать, создать. Это создается в ходе борьбы.

В моей памяти эти слова — «заработать, выстрадать, создать» — сохранились в сочетании со словом «учиться», трижды повторенным Владимиром Ильичем.

Мы, представители первого поколения комсомольцев, дети народа, охотно пели о том, что —

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Но прямо скажу, что сколько-нибудь конкретного представления о возможности «*стать всем*» у нас поначалу не было. Сама мысль о такой возможности казалась и ко многому обязывающей и ...нескромной.

Может быть, достаточно стать борцом за дело партии, за интересы трудового народа? Может быть, достаточно остаться до последнего дыхания смелым защитником советской отчизны?

Нет, не достаточно.

Дело партии и интересы народа требуют, чтобы мы оказались способными стать инженерами, писателями, музыкантами, учеными, педагогами, агрономами, художниками, артистами, оставаясь одновременно революционными борцами. А для этого надо иметь не только талант, но и звания.

Особенная путаница в наших головах царила по вопросу об отношении к старой культуре. В начале револю-

К сочетанию теории с практикой, к тому, чтобы неразрывно связывать каждый шаг воспитания и учения с повседневной борьбой трудящихся, с житейскими заботами народа, — вот к чему призывал Ленин.

К концу ленинской речи в президиум стали поступать записки с вопросами. Они летели из зала на сцену и подбирались двумя комсомольцами. Несколько записок поднял сам Владимир Ильич. Одну из них даже прочитал во время паузы, вызванной аплодисментами зала.

Прочитал и обрадованно воскликнул:

— Смотрите, какой замечательный вопрос мне задан! «Товарищ Ленин, а почему в деревне нет колесной мази?»...

В зале засмеялись, находя вопрос наивным и неуместным.

А Владимир Ильич повторил, что вопрос замечательный и имеющий прямое отношение к разговору о том, каким должен быть коммунист. Коммунист должен ответить крестьянам: почему нет колесной мази, почему нет гвоздей, керосина, спичек. Мало того! Коммунист обязан так или иначе помочь в налаживании производства всего, что необходимо народу, в том числе и колесной мази! Вот каким должен быть коммунист!..

Указания Ленина, советы его, обращенные к молодежи, составили основу программы комсомола, стали неопенимым напутствием каждой девушке, каждому юноше, вступающим в жизнь, чтобы сделать ее прекрасной.

Это было в том далеком году, когда Владимира Ильича посетил английский писатель Герберт Уэллс. Кремлевским мечтателем назвал Уэллс Ленина в своей книге «Россия во мгле». Известно, что Ленин добродушно посмеялся над этим прозвищем.

И время посмеялось над теми, кто не понимал или не хотел понять, что чудо Октябрьской революции открыло невиданный простор для самых дерзновенных чаяний народа, способных воплощаться в живую действительность.

Когда Уэллс видел Россию разоренной, измученной множеством испытаний, когда Россия не без оснований казалась Уэллсу Россией «во мгле», Ленин говорил нам о России лучезарной.

— Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую,— сказал Владимир Ильич.

Он при этом улыбался, как бы приглашая всех нас разделить с ним убеждение, что так оно и будет.

Не одно, а несколько поколений советской молодежи росло, училось, достигало успехов в борьбе и труде, руководствуясь добрыми советами Коммунистической партии и великим напутствием Владимира Ильича, данным комсомольцам в 1920 году.

Двадцатый год...

Разруха, голод, холод.

Шла осень, громом битвы грохоча.

В Москве на Третьем съезде комсомола

Мне довелось увидеть Ильича.

Сердца юнцов рвались к нему навстречу.

Гул голосов казался гулом пчел...

Ильич

Большим заботам в этот вечер

Заботу о грядущем предпочел.

Могучей мыслью бережно и смело

Он нас через ненастье и мороз

Вдруг перенес

В весенние пределы,

В преддверье коммунизма перенес.

Мы от него услышали впервые,

Что близок мир — в суровом том году,

И отдали

Все силы молодые

Учению и общему труду.

Прошли десятилетия не напрасно.

Родной народ наш,

Полный новых сил,

Вплотную подошел к весне прекрасной,

Которую нам Ленин возвестил.

*«Воспоминания о В. И. Ленине»,
т. 3, Госполитиздат, М. 1961,
стр. 304—311.*

*Для настоящего издания текст
заново просмотрен автором.*



О Ленине¹

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

А. С. Пушкин

... **П**оскольку может симфония души гения быть услышана современником, поскольку могут хоть отдельные созвучия ее быть восприняты при отсутствии личного общения на расстоянии, постольку мне удалось «разгадать» Ленина только на VIII съезде.

Я сижу в оркестре, как и на предыдущих съездах Советов, в том же историческом Большом театре.

Говорит Ленин.

Но какой он новый для меня! Какой бодрый, помолодевший, какой внутренне праздничный. Почти именин-

¹ В предисловии к сборнику очерков Е. Зозули «Встречи», изданному в 1927 г. «Огоньком», А. В. Луначарский, касаясь этого очерка, писал: «Люди, знавшие и изучавшие Ленина, скажут, конечно, что Зозуля открыл, может быть, не самое главное в Ленине, открыл то, что кажется главным именно подобным Зозуле артистическим натурам; но тем не менее то, что он открыл, очень существенно для понимания Ленина. Это же верно, что Ленин презрительно и брезгливо морщился от всяких дискуссий! Вел он их на своем веку много, но считал их неизбежным злом, через которое можно дорваться до «настоящего». Это же верно, что во всем общественном и политическом творчестве Ленину каза-

ник. Он показывает съезду толстую книгу об электрификации, улыбается, но довольной, почти счастливой улыбкой именинника и шутит:

— Не пугайтесь товарищи... (Книга была объемистая.)

...И — как человек в своем доме и среди своих — Ленин откровенен, удивительно свободен и даже интимен.

Он смеялся на V съезде над Спиридоновой и презрительно морщился, когда она произносила великое слово «идеал».

Почему? Теперь мне ясно почему.

Конечно, это было легкомысленно, легковесно и мелко. Чем глубже в человеке чувство или идея, тем плотнее, бережнее оно прикрыто целомудренной гордостью и тем скупее оно на проявление всуе. Партийные дразги и авантюра международной полицейщины, конечно, не могли и не должны были быть поводом для апелляции к великим идеалам социализма. Это было несерьезно, и Ленин, обиженный словесной профанацией кровного своего идеала, пренебрежительно смеялся, и когда нужно было говорить, то говорил сухо и деловито. Говорить «душевно» было еще рано тогда.

лось самым ценным, самым прекрасным достигнуть, наконец, возможности вот этого самого будничного труда, вот этого самого подлинного строительства благосостояния масс.

Верно и то, что внутри Ленина горел сильный огонь этического порядка, что для него понятия справедливости и народного счастья были очень важными понятиями. Но он терпеть не мог фраз. Этический подход к проблемам революции казался ему само собой разумеющимся, разрешенным, и он не любил к нему возвращаться. Он любил делать дело, а не разговаривать о принципиальной значимости этого дела. Но что Ленин был человеком справедливого дела, был рыцарем справедливости, это, конечно, верно. Для широких масс обывателей, которым чужда музыка теоретического и практического коммунизма, очень важна оценка великой фигуры Ленина и как носителя нравственных норм. Он был в высокой мере носителем таких норм во всей своей личной жизни, и общественной и государственной деятельности, во всей, так сказать, внутренней музыке его мирозерцания.

Зозуля почувал это, он доискался этого, он, наконец, с чуткостью художника в определенные моменты вскрыл этот внутренний мир, может быть и не самый важный, но огромно значительный и скрытый, благодаря общему внешнему облику Владимира Ильича, от постороннего наблюдателя». — *Ред.*

Но на VIII съезде Ленин говорит по душе. Теперь можно. Теперь пришло время. И, как все социалисты, он, конечно, прежде всего говорит об идеале:

— Когда работаешь изо дня в день, нельзя работать, *не имея плана на долгий ряд лет.*

Вот как скромно и просто говорит о своем идеале социалист, для которого идеал — не только слово, а жизненная и действенная цель.

Он говорит об этом потому, что теперь, на VIII съезде, об этом кстати говорить, теперь об этом можно говорить, не профанируя.

И я смотрю на Ленина. Смотрю внимательно, долго.

...Да, он у себя дома. Он среди своих. И вполне естественно, что, будучи среди своих, он, между прочим, разрешает себе даже пожаловаться, чего раньше не разрешил бы себе.

— Работа нас дергает необыкновенно,— говорит он с полуулыбкой.

Не менее естественно, что он разрешает себе быть и интимно откровенным:

— *Счастливое* время, когда политики будет меньше...

Не странен ли в устах мирового политика — мирового не только по газетной трескотне, а по великому и реальному делу — эпитет «счастливое» в применении к времени, когда сократится политика?..

Кажется странным, а на самом деле это так просто у него, так искренне и убедительно.

— Счастливое время, когда политики будет меньше.

Это еще не было лозунгом, когда это произносилось. Лозунг я привожу ниже.

Это было душевное откровение.

А какое это глубоко интересное, захватывающее зрелище, когда человек, на котором сосредоточено внимание всего мира, имеет возможность проявлять интимную, целомудренно-скрытую духовную скупость!

И как парадоксальна жизнь!

Редчайшее душевное откровение происходит на съезде, на котором говорят о торфе, керосине, паровозах и хлебных разверстках.

И сам Ленин говорит обо всем этом и, может быть, не замечает, как между торфососами и цифрами хлебной разверстки у него вырываются высокие, и вечные, и старые социалистические слова о правде.

Касаясь вопроса о принуждении и убеждении, он говорит:

— Мы имеем *право убеждать*, потому что на нашей стороне *правда*. Этого *права* до нас не имело ни одно государство на земле.

И — я так ярко помню свое ощущение — среди хозяйственных образов, дров, вагонов и всех этих торфов вдруг неслышно открылась золотая дверь в храм морали, да, морали, — как будто забытый храм, но, как оказывается, крепко стоящий в душах великих социалистов, старинный, незыблемый храм правды и подлинного человеколюбия.

Не оттого ли так полновесно и убедительно в устах Ленина звучало старое слово «правда»?

Не потому ли так заразителен был его пафос, с каким он говорил о торфососах, что они освободят от *каторжной* работы извлекающих торф рабочих?

Кстати. Как убедительно, свежо, хлестко и укоризненно прозвучали в его устах знакомые и затрепанные слова: «*работать по-каторжному*».

...От интересов военных — в сторону хозяйственного строительства.

Это уже деловая формула. Лозунг дня.

Это уже будни.

Но во всей фигуре Ленина, в лице, в позе еще есть что-то праздничное. Он говорит, заглядывая в бумажку, которую почтительно держит обеими руками. Он стоит на эстраде в строгой, почти напряженной позе, полной внутреннего внимания и готовности...

То, чего не было в нем на V съезде, что на один момент проскользнуло на VII, стало длительным на VIII и окрасило его лик в новые — по крайней мере для меня — тона.

Что же случилось на VIII съезде — самом, в конце концов, деловом, хозяйственном, «скучном»?

Почему в Ленине отчетливо чувствовалась глубокая радость *достижения*?

Ответ ясен: потому что у нас тогда впервые явилась возможность заняться мирным, творческим трудом, о чем, оказывается, как сообщил Ленин же, состоялось постановление еще *29 апреля 1918 года*...

Однако самое главное не в этом.

Ну, Ленин мечтал о мирном строительстве. Мечта стала на пути к осуществлению — он до известной степени удовлетворен. Это понятно и естественно.

Повторяю, не это главное.

Самое главное и прекрасное состоит в том, что уже на первом мирном трудовом съезде рабочих и крестьян случилось проявленное через Ленина чудо.

Это чудо еще не того порядка, о котором говорил Ленин на VII съезде. Но это чудо *историческое*, сделавшее историческим и VIII съезд.

В чем дело?

А вот в чем. Новая, светлая, более счастливая жизнь идет и придет через труд, через пот, через паровозы, шахты, фабрики. Из-под мешков торфа, из-под чугуна колес и машин идет к нам — вместе с освобождением рабочего класса — какая-то *правда* новой жизни.

И как характерно, как чудесно, что уже на первом совете освобожденного труда — в речи, состоящей исключительно из разбора и постановки хозяйственных задач, в речи, целиком заполненной электрификациями, торфососами и разверстками, — между всем этим, может быть невольно для ее автора, прорывается идеология новой будущей жизни — *правда*; среди слов о торфе и хлебе прорывается прекрасное и нежное откровение могучей, замкнутой и внешне такой суровой, такой закаленной души.

Тогда *впервые* мне, более чем всегда, стало понятно, почему обладатель этой души является законным и бесменным вождем угнетенных пластов человечества, и, глядя на него, я ощутил глубокое волнение, и великую растерянность, и особую редкую радость от понимания большого, исторически значительного явления.

Когда я почувствовал это, Ленин стоял на эстраде и, полуобернувшись к столу, читал какую-то записочку.

Е. Зо з у л я, Встречи, 6-ка «Огонек», М. 1927, стр. 11—16.

■
Незабываемая встреча

Если в годы первой революции и последующие этапы свирепой реакции слово Владимира Ильича мы слышали издалека, через зарубежные барьеры, в обстановке самодержавия, то с Октябрьской революции это было уже слово вождя диктатуры пролетариата. Никакие расстояния не мешали внимать ему, как если бы он, Ульянов-Ленин, был рядом с нами, следил за каждым нашим шагом на местах, дружески подсказывал завтрашний день, строго предупреждал от ошибок. Так было у нас, участников установления Советской власти в Сибири, во время моей последующей работы в Воронеже и особенно — на Волге, в Казани, при учреждении Татарской АССР.

Славным инициатором преобразования типичного уголка колониальной тюрьмы народов в автономную республику был он, Ленин. И об этом с волнением говорилось всюду в Казани, среди местного населения, на митингах и демонстрациях в городе и кантонах.

И вот делегаты молодой республики отправились на Десятый партийный съезд. Но нельзя было сказать, что они, в ожидании встречи с Владимиром Ильичем, уделявшим

немало внимания их партийно-советской работе, сознавали себя вполне безупречными. Слишком медленно оправлялось от потрясений гражданской войны хозяйство республики, не лучше обстояло дело и с ростом народной грамотности, с созданием новых культурных очагов не только в кантонах, а и в самой Казани.

Устроившись поближе к пустующей еще эстраде, в зале съезда, я весь отдался взволнованному ожиданию того, кто многие годы в царско-буржуазное время являлся нам, незримый, со страниц нелегальной печати, под именем Ильича, Тулина, Н. Ленина, а то и безымянно. Где-то за дверьми заливался звонок, зал наполнялся поношенными тужурками, армейскими гимнастерками, и вскоре, как говорится, негде уже было яблоку упасть. Под потолком там и сям тускло замаячили старинные люстры, проступили метче узорчатые барельефы увитых кумачом колонн.

— Ленин! — толкнул меня в плечо товарищ, и вместе с ним я приподнялся на своем сиденье.

Да, это был он. Плечистый, невысокого роста, в пальто с барашковым воротом и шапке-треушке, он походил на фабричного рабочего. Втолкнув свою треушку в карман пальто, он проворно стянул его с себя, уложил на спинку кресла и, заняв место за столом, крытым красным сукном, вскинул голову. Слушая соседа, вглядывался в зал. Все в его лобастом, обрамленном рыжеватою бородкою лице, с темно-карими, чуть-чуть прищуренными глазами, с улыбкой в уголках рта, играло молодостью горячей мысли.

Листая лежащую перед ним стопку бумаг, он прихватил ощупью пальцами карандаш, но взора от нас, сидящих в зале, не отрывал, и множество пар глаз всматривалось из зала в него. Это была много говорящая, хотя и безгласная, исполненная сердечного волнения переключка со своим вождем делегатов, собравшихся со всех концов страны. И самым удивительным в этой безмолвной переключке было то, что, оглянувшись, в свою очередь, на ряды делегатов, я видел на лицах уже не выражение тревоги, не взволнованность споров, кипевших минуту назад в коридорах, а нечто близкое крепкой уверенности в себе, веру в свои силы, в грядущее светлое будущее незримо стоящих за ними миллионов.

Взрыв аплодисментов, казалось, потряс стены зала, приглушил огни люстр, слился с грохотом потревоженных

кресел: там, на эстраде, и тут, в зале, подымались на ноги и безудержно рукоплескали.

Обойдя столик для выступающих, Владимир Ильич подшагнул к самому краю эстрады, взбросил, как бы призывая к порядку, руку с бумажкою-памяткой, но аплодисменты не смолкали... Мы длили счастливейший момент встречи с тем, кто был нам ближе самых близких, дороже, милее всех милых. Переступив с ноги на ногу, Ильич заглянул на часы у запястья руки и с улыбочивым укором покачал головой. Рукоплескания затихли, но по рядам еще слышались поскрипывания, шорохи усаживающихся на свои места, когда Ильич заговорил:

— Товарищи, позвольте объявить открытым Десятый съезд Российской Коммунистической партии!

В слегка гортанном, с приметной картавинкой, но звучном голосе его было такое, что не раз доводилось мне слышать у ораторов в рабочих блузах на многолюдных собраниях, и каждое его слово было выразительно и просто, веско, как вещь, изготовленная у станка на потребу тысяч и тысяч.

— Три с половиной года неслыханно тяжелой борьбы, — говорил Ильич, — но отсутствие вражеских армий на нашей территории, — это мы завоевали!..

И вслед за блеском гордой улыбки в чудесно зорких глазах его проступило иное — суровое. Он заговорил о стоящих перед партией задачах перехода от войны к миру, о задачах, которые касались не только хозяйственного плана, но и основ самых отношений между классами в Советской республике.

Более подробно и обстоятельно со всем, что видели и слышали мы на этом историческом, с ведущим участием В. И. Ленина, съезде, читатели настоящих моих записей могут познакомиться по моему рассказу «В те дни», опубликованному в сборнике воспоминаний, очерков, рассказов «О Ленине» (изд. Гослитиздата, 1957 г.). Дополнительно к названному рассказу я позволю себе привести страничку о незабвенном для меня разговоре казанцев с Владимиром Ильичем в один из перерывов между заседаниями съезда, в помещении, примыкавшем к залу со стороны эстрады президиума.

Кое-кто из казанцев, включенный съездом в комиссию по национальному вопросу, окружил Ленина, и первое, что я услышал тут, были обращенные к нему слова о том,

как гордятся в Казани, что его, Владимира Ильича, революционная деятельность начата среди казанцев и что можно ли, мол, нашему старейшему в стране университету не гордиться таким своим студентом, как он, Ленин. Владимир Ильич взмахнул рукою и торопливо заметил, что если уж кем гордиться казанскому университету, то такими крупнейшими учеными, как Лобачевский, Бутлеров, Зинин.

— А что касается студента Ульянова, так ведь его через несколько месяцев по вступлении на юридический... того-с... — Ильич проделал рукою в воздухе толчок. — По шапке его, да под арест!..

— В этом-то и слава нашего университета! — подхватили окружающие. — Да, да... Ведь именно вы, невзирая на всю гнусность юриспруденции самодержавия, подняли против него студенчество...

— А знаете, друзья, — повысил Ильич голос, — давайте-ка перекинемся о нуждах времени...

Но окружающие не унимались, и кто-то вспомнил о Льве Толстом, который также учился в Казанском университете.

— Тогда давайте помянем и славного казанского пекаря! — живо, совсем по-юному, вставил Ильич.

— Да, да, Горький! — воскликнул один из товарищей.

— Вот! — подтвердил Ильич. — Кстати, как у нас с литературой татарской? Имеются достойные преемники этого... как его? Сын муллы, поэт, перевел на свой язык Пушкина, Лермонтова... Абдулла, Абдулла...

— Тукаев! — выронил я и, пряча в карман записную книжонку с карандашом, назвал несколько имен из молодых татарских писателей.

— Значит, не перевелся порох в пороховнице! — заметил, улыбаясь, Ильич. — Ну, а как обстоит у вас дело с журналистикой, газетами?

Владимир Ильич задал мне несколько вопросов, в том числе — о тираже газеты, об участии в ней национальной интеллигенции и даже о полиграфической базе. И вдруг:

— А вы татарским языком владеете?

Предупредив мой ответ, один из товарищей, работавший у нас одно время председателем губпрофсовета, затем наркомом труда, сообщил:

— Видите ли, Владимир Ильич, еще в прошлом году казанцами было решено издавать одну газету на татар-

ском и русском языках под общей редакцией его,— указал он в мою сторону,— на русском языке и местного молодого журналиста...

— Шафигуллина,— подсказал я.

— Да, Шафигуллина — на татарском языке.

Владимир Ильич одобрительно кивнул нам, но все же сказал, что и редактору русского издания неплохо было бы знать татарский язык. Однако, уловив мое смущение, внушительно, без намека на улыбку, заметил, что у всех советских народов, говорящих на своих родных языках, имеется единый, общий и обязательный язык — язык нашей партии, и что владение этим вот языком — святой долг любого, любой национальности, редактора.

На последнем, 16 марта, заседании съезда Владимир Ильич выступил с заключительным словом, в котором он, между прочим, подверг презрительному осмеянию тщетные потуги продажной международной прессы подорвать авторитет первой в мире страны диктатуры пролетариата.

Призвав сплотить все силы партии на пути закрепления союза рабочего класса с крестьянством, он закончил свою речь выражением непоколебимой уверенности в том, что, сплотившись на этом съезде, партия пойдет к всемирно-историческим победам.

Подхватив это слово могучим хором, исполняющим международный рабочий гимн, все в зале, стоя по-военному навывтяжку, не спускали глаз с него, основоположника первой в истории человечества страны социализма.

*«Московский литератор», 1957,
№ 7, 19 апреля.*

Из прошлого

...**П**ервое организационное собрание редакции «Красной нови»¹ происходило в Кремле, в квартире Владимира Ильича Ленина. Помимо него на этом собрании присутствовали Надежда Константиновна Крупская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. Владимир Ильич пришел на это собрание в промежуток между двумя заседаниями. Я сделал краткий доклад о необходимости издания толстого литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Владимир Ильич согласился с моими мыслями. Здесь же было намечено, что журнал будет издаваться Главполитпросветом, что ответственным редактором буду я и что Алексей Максимович будет редактировать литературно-художественный отдел этого журнала. Во время обсуждения вопроса о журнале произошел разговор между Горьким и Лениным, который я прочно запомнил. Горький принес с собою пачку книг, изданных им, Горьким, совместно с Гржебиным в Берлине при содействии Советского правительства. Владимир Ильич бегло просмотрел привезенные

¹ В марте 1921 г.— *Ред.*

книги, одобрил книгу о паровозах, потом взял в руки сборник древних индийских сказок. Он перелистал книгу, спросил Горького (Горький стоял около Владимира Ильича):

— По-моему, — сказал он, — это преждевременно.

Горький ответил:

— Это очень хорошие сказки.

Владимир Ильич заметил:

— На это тратятся деньги.

Горький возразил Владимиру Ильичу:

— Это же очень дешево.

— Да, но за это мы платим золотой валютой. В этом году у нас будет голод.

Мне показалось тогда, что столкнулись две правды: один как бы говорил: «Не о хлебе едином жив будет человек», другой отвечал: «А если нет хлеба»... И после, находясь на стыке между художественным словом и практической работой Коммунистической партии и советских органов, я неоднократно вспоминал об этих двух правдах, и всегда мне казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды.

Участие Владимира Ильича в «Красной нови» не ограничилось первым организационным собранием. Так, в первый номер «Красной нови»¹ он дал свою статью о продналоге, устанавливающую основы новой экономической политики. Он помогал мне советами и указаниями. Помню, что однажды он мне прислал новую книгу Гобсона об империализме с указанием главы, которую, по его мнению, следовало бы перевести и поместить в одном из очередных номеров журнала. Она была напечатана. Не скрою, что у меня был случай, когда он пожурил меня за помещение воспоминаний о Февральской революции Суханова и за статью Базарова о Шпенглере. Я сказал ему, что Суханов не является постоянным сотрудником «Красной нови», статья же Базарова помещена в дискуссионном порядке, и в следующем номере будет помещен ответ на эту статью. Он успокоился, но заметил, что, по его мнению, Шпенглер неинтересен и что им заниматься в Советской России не стоит...

«Прожектор», 1927, № 6, стр. 19.

¹ Первый номер журнала «Красная новь» вышел в июне 1921 г.— *Ред.*

А. ГАСТЕВ



Свидание с Лениным

Это было 3-го июня 1921 года. Я был вызван к часу дня. Еще проходя через приемную Совнаркома, я увидел, что на стене было вывешено «Как надо работать» (цитовская памятка). В кабинете ровно в час Владимир Ильич уже ждал. В первый же момент он буквально облил своим радушием, реальную теплоту которого многие и не знают. «Я теперь в хороших условиях, я очень недурно кормлюсь, а вот Вы что-то плохо, все на Вас висит, а поэтому Вам надо куда-то поехать. Поезжайте-ка за границу да отдохните». Вот были фразы, с которыми он меня встретил. На встречный вопрос о здоровье Владимир Ильич стал жаловаться на недомогание. Уже не в первый раз, как и в прошлых встречах, он упоминал о том, что у него появилась какая-то глухота, которой не было, заявил о том, что он начал стареть. Как-то не верилось, однако, в эту старость, когда он быстро

пошел в соседний кабинет и принес книги. Твердой топающей походкой, которую он проводил как будто на одних каблуках, почти бегая, как юноша, он принес книги и сказал: «Вот, все некогда, а обязательно, обязательно...» — и начал с воодушевлением рассказывать о том, как многое необходимо было бы сделать в области организации труда, как тщательно надо изучать капиталистический опыт. Владимир Ильич припомнил наши встречи, которые предшествовали настоящему разговору, и указывал, что вопросы организации труда — это есть самое главное, которое нужно теперь проводить, а потом начал говорить о том, что дело надо обставить хорошо, что условия для работы надо создать приличные, что оборудовать нужно так, как это нужно для Советской трудовой республики. И в то же время говорил, что неладка в хозяйстве вопиющая, а вот надвигается какая-то новая страдная пора: «Вот сейчас мне телефонировали с Украины, — хлеб, говорят, горит ¹, плоховато что-то», — и начал говорить подробно о том, что, вероятно, будет голод и общее истощение. Немного поговорив об этом, он сказал: «А все-таки это дело такое, которое надо поднять». Тогда как-то не имелось точного представления о золоте. Эпоха военного коммунизма не приучила нас к тому, чтобы знать реальный вес золота и реальную величину государственного золотого запаса, и поэтому я тогда размахнулся на оборудование ЦИТа ² суммой в полмиллиона золотых рублей. Эту сумму удалось беспрепятственно провести через Наркомвнешторг при активной поддержке тов. Лежавы, но скоро оказалось, что решить легко, но реализовать, вследствие малой оперативной подвижности Внешторга, безумно трудно.

Когда я сказал об этом Владимиру Ильичу, он подал мысль обратиться в Наркомфин и настаивать перед ним, чтобы было сделано «хоть кое-что». Но тут же, сейчас же мы съехали на разговор о волоките. В разговоре пришлось коснуться того, что мы очень плохи по части исполнительства. Провести какое-нибудь дело через инстанции не представляет никакой трудности, но точно реализовать его, точно выполнить, — это очень трудно.

¹ Засушливое лето, определившее голод в стране. (Прим. автора.)

² ЦИТ — Центральный институт труда. — *Ред.*

Смеясь и грохоча, Владимир Ильич давал реплики по этому поводу. Я бросил фразу о том, что слово «да» в разговорах очень мало значит; «так точно» — гораздо определеннее. Старая солдатская формулировка не допускала сомнений и предreshала действие. Он живо откликнулся и, когда давал письмо тов. Альскому, то нарочно вставил слово «точнее» и подчеркнул его. Однако я не мог скрыть от Владимира Ильича, что плохо верю в реализабельность этого дела. Тогда он сказал: «А знаете, ведь чем черт не шутит, почему не попробовать?..»

...Владимир Ильич говорил, что если встретятся какие-нибудь препятствия, то обязательно надо «черкнуть», что если бы случилось, что он где-нибудь занят, если бы случилось, что он на заседании, то надо тогда «маленькую записку в два слова» передать и он сейчас же на этой записке ответит.

Однако после этого свидания я не решался беспокоить мелочами, но с тех пор во всяком случае я всегда чувствовал, что дело, за которое я взялся, находится в поле зрения этого беспримерного человека, и это настроение давало силы, уже не встречаясь с ним, даже и не ища этих встреч, знать, что этим делом нельзя шутить, а его нужно делать. Как-то легко потом пришлось отнестись к тому факту, что знаменитые полмиллиона рублей золотом так и не попали к ЦИТ. От Наркомфина мы тогда не получили ничего, кроме маленького любезного разговора с тов. Альским, который, конечно, кроме этого разговора, при тогдашних условиях ничего не мог сделать, а наша заявка через Наркомвнешторг, которая сначала прошла в количестве полмиллиона рублей золотом, была сбавлена до ста тысяч, сто тысяч было сбавлено до двадцати тысяч. Эта цифра потом прошла через тот же глаз т. Ленина (по должности Председателя СТО)¹, и он сказал: «Дело хорошее, а все-таки сейчас больше не можем». В дальнейшем оказалось, что и двадцати тысяч мы не получили, и заявка наша была сведена до восьми тысяч рублей, да и то она была реализована далеко не в такой мере и не так, как нам хотелось. Заграничный аппарат Наркомвнешторга не мог ее реализовать с той скоростью и целостно-

¹ Совет труда и обороны.— *Ред.*

стью объема, на который мы рассчитывали. Мы сами уловили эту тенденцию и в ожидании зарубежных благ перешли на так называемую робинзонаду. Мы начали собирать все то, что было из какого-нибудь случайного оборудования, и создавали свою аппаратуру на месте. За отсутствием металла мы многое начали делать из дерева, и в этой работе, конечно, имело исключительное значение то, что работа по созданию ЦИТа была в поле зрения человека, который разбил историю человечества на два куска: один до него, другой после него...

*«Организация труда», № 1, ЦИТ,
М. 1924, стр. 11—13.*



В. И. Ленин

Есть немеркнущие воспоминания в жизни каждого человека. Они, как звезды, освещают темнеющее небо ушедшего времени.

Два раза видела я Владимира Ильича Ленина: в Большом театре во время исполнения Девятой симфонии и позднее, на конгрессе Коминтерна в зале Кремлевского дворца.

Прошло несколько десятилетий, но в памяти звучат бессмертные звуки Бетховена и подле поблекшей пунцовой портьеры, прислонясь к стене, в темном пиджаке стоит передо мной живой Ленин.

Все мы, находившиеся на утреннем симфоническом концерте, были несказанно поражены и обрадованы тем, что рядом с нами Ильич. Он вошел с женой неожиданно, неслышно и долго стоял в глубине ложи, не желая кого-либо побеспокоить. Помню широкий, решительно протестующий жест выброшенной вперед руки, когда мы все поднялись, чтобы уступить свои места. Так и не сели

Ленин и Крупская, покуда не были внесены в ложу дополнительные кресла.

С той минуты, как Владимир Ильич появился, я не могла более оставаться спокойной. Хотелось смотреть только на него, но это было неловко. Когда хор и солисты запели «От страдания к радости», Ильич облокотился на барьер ложи, и я увидела его бледное, вдохновенное, сосредоточенное лицо. Он был весь во власти торжествующей, победной симфонии, заполнившей огромный театр, рвущейся прочь, сквозь камни, к небу. Ликующие, жизнеутверждающие аккорды завершили финал, и музыка оборвалась. Не сразу, однако, рассеялось могучее очарование гениального творения Бетховена. Ленин как бы очнулся, встал, приветливо поклонился всем и, пропустив вперед Надежду Константиновну, вышел.

Это был счастливый день. Навсегда отныне Девятая симфония стала для меня музыкальным выражением не только одного, а двух гениев.

Тринадцатого ноября 1922 года я снова не только увидела, но и услышала Владимира Ильича. Это было на одном из заседаний IV конгресса Коммунистического Интернационала в Кремле. Переполненный до отказа Андреевский зал был охвачен нетерпеливым ожиданием. Представители пятидесяти восьми коммунистических организаций мира ждали Ленина. Всюду слышалась чужеземная возбужденная речь. Владимир Ильич совсем недавно оправился после первого грозного проявления той болезни, которая вскоре свела его в могилу. Тем более волновались делегаты и гости. Я не отрывала жадных глаз от трибуны. Там, среди многих других, особенно выделялась прекрасная, в рамке голубовато-серебряных пышных волос, голова Клары Цеткин. Внезапно я услышала аплодисменты и пылкие приветствия, раздавшиеся где-то в конце длинного светлого зала. Ленин с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной появились не со стороны президиума, а из двери для публики. Меня поразила стремительность и легкость походки Владимира Ильича, живость и четкость его жестикуляции и мимики. Прекрасна была его улыбка в ответ на радостный гул, поднявшийся вокруг. Никто не дал бы Ленину, несмотря на недавно перенесенную болезнь, пятидесяти двух лет. Он выглядел значительно моложе и благодаря ширине плеч и пропорциональности сложения казался выше

ростом, нежели был на самом деле. Пройдя вдоль стены через весь зал, Ленин поднялся на трибуну. Надежда Константиновна примостилась у подножия деревянной кафедры, за которой он встал. Я не сразу поняла, зачем она это сделала. Владимир Ильич выступал с речью на немецком языке. Его переутомленному мозгу нельзя было чрезмерно напрягаться, и на случай, если память в какой-то миг не подскажет ему нужное немецкое слово, Крупская должна была быть переводчицей. Этого, однако, не понадобилось.

Едва Ленин заговорил, воцарилась глубокая тишина. Все замерли. Несмотря на плохое знание немецкого языка, мне казалось, что я понимаю каждую услышанную фразу.

Поразительны были не только экспрессия, четкая дикция, но и обаяние голоса и жеста этого бессмертного оратора. Безошибочно и сразу нашел он, как всегда, ту волну, которая лучше всего могла донести до аудитории его мысли и чувства. Факты, думы, провидение покорили слушателей. Лица их просветлели. Это было поистине интеллектуальное пиршество. Владимир Ильич говорил о пяти истекших годах Октябрьской революции. Речь его по времени почти совпадала с великой годовщиной победы. Он коснулся и будущего, которое принесет всем странам коммунистическое мировоззрение.

Лишь когда под ураган аплодисментов Ленин уходил с трибуны, я заметила, как посерело его лицо и как трудно он дышит. Видимо, он очень устал после своего выступления и тотчас же вынужден был покинуть заседание.

Прошло немногим более года. Весть о смерти Ленина зимним вечером облетела землю.

Есть черные даты в жизни людей. Они как затмение солнца. Снова увидела я Ленина, и снова оркестр играл Бетховена, но то были звуки трагического похоронного марша. Свет люстр, окутанных крепом, как сквозь темную дымку тумана освещал гроб, усыпанный кроваво-красными тюльпанами. В нем был Ленин.

Уходя из Колонного зала Дома Союзов, как и часто потом, я тщетно старалась вспомнить тот час, когда услышала впервые об этом вечно живом человеке. Революция застала меня маленькой девочкой. Может быть, отец и мать, оба большевики-подпольщики, или уличный митинг, газета, плакат первые сказали мне о Ленине. Напрасные

поиски. В моем сознании он жил всегда и стал частью самой жизни. Всем нам хотелось хоть чем-нибудь походить на Владимира Ильича, которого мы воспринимаем как воплощение человеческих идеалов. Обычные мерилы ему не под стать. Он, так же как Маркс и Энгельс, доподлинно человек революции, гениально выразивший требования своей эпохи, и вместе с тем человек будущего.

Ленин показал непревзойденные образцы смелой революционной борьбы, поведения в повседневной жизни, отношения к труду, мышления и неизменного единства цели. Это величайший гуманист, отдавший всего себя борьбе за счастье трудового народа.

Каждая, даже самая незначительная бытовая деталь его биографии отражает высокую простоту, большое сердце. Владимир Ильич всегда думал только о других и ничего лишнего, особенного не хотел для себя... Вспоминаю, как Валерьян Владимирович Куйбышев рассказывал о «головомойке», которую он получил в самом начале 20-х годов от Ильича. Когда до Ташкента дошла весть о тяжелой болезни Ленина, члены Средне-Азиатского Бюро ЦК и Реввоенсовета фронта решили отправить ему свои охотничьи трофеи — тушки фазанов. Ильич, узнав о посылке, очень рассерчал, объявил, что считает это проявлением подхалимства, и приказал немедленно передать дичь Московскому военному госпиталю в Лефортово.

Нельзя без душевного трепета и восхищения думать о той большой любви, которая связывала много лет Владимира Ильича с его женой.

Глубоко запал мне в душу рассказ старого большевика, сопровождавшего Ленина в одной из его поездок в Петроград. Прежде чем направиться в Смольный, Ильич поехал к дому, в котором в конце прошлого века познакомился с Крупской. Там он вышел из автомобиля и некоторое время прохаживался по тротуару, поглощенный дорогами ему воспоминаниями.

Недавно одна из старейших коммунисток — Серафима Ильинична Гопнер рассказала мне эпизод, который еще раз показывает, как дорога и нужна всегда была Надежда Константиновна Владимиру Ильичу.

Это было грозной, тяжелой и голодной весной 1919 года. В Москве собрался I конгресс Коммунистического Интернационала. Гопнер приехала с Украины, где в хлебе не ощущалось большого недостатка.

На заседаниях конгресса была и Надежда Константиновна. Она очень исхудала и выглядела болезненной. Гопнер решила уговорить Крупскую поехать отдохнуть на Украину и в перерыве между заседаниями сказала об этом Владимиру Ильичу. Ленин категорически воспротивился:

— Нет, нет, невозможно, — не задумываясь, горячо возразил Ильич. — На Украине хоть и сытно, но беспокойно. Да и мне без Нади будет трудновато, — и опять повторил: — Нет, нет, уж лучше не надо...

— Было ясно, — добавила Серафима Ильинична, — что Владимир Ильич огорчился даже мыслью о разлуке с женой. Она ведь была самым близким его другом.

*Г. Серебрякова, Свет неуга-
симый, Госполитиздат, М., 1962,
стр. 3—8.*



«Наш Ильич»

Мы недаром его по-родному называем «нашим». В острые моменты колебаний многие из нас обращались за последним словом к Владимиру Ильичу.

Часто можно было слышать в разговорах товарищей:

— А вы говорили с Ильичем?

— Нет.

— Напрасно, посоветуйтесь.

И товарищ, мучимый тем или иным вопросом или сомнением, отправлялся к Ленину. Самое замечательное вот что: трудно было назвать такого из членов нашей партии, который по какому угодно вопросу побоялся бы к нему пойти. Я знаю многих товарищей, которые не боялись высказывать Ленину самые серьезные свои сомнения.

— Ильичу ничего не страшно сказать,— говорили они.

И это верно. Больше того: после первых двух слов разговора с ним собеседник чувствовал необычайную простоту и свободу.

Он выслушает все сомнения, разложит их на ладони, взвесит, покажет сомневающемуся. Глаза у него сделаются веселыми, и вдруг он станет как будто ближе к собеседнику. Будто стол, чернильница, лампа на столе, бумаги — все это пропало. Перед собеседником один только Ленин. И начнет он, близкий, по-хорошему, так просто и коротко отвечать, и при этом в ответе его всегда попадутся слова, которыми он наказывает за сомнение. Иногда даже не сразу взвесишь силу его острого укора. А потом уже, когда полетишь из Кремля свободный от сомнений, уверенный, перебирая все слова разговора потихоньку, — тогда поймешь.

Однажды, в 1918 году, мне довелось по одному серьезному делу, которое тогда предстояло нам выполнить, посоветоваться с Владимиром Ильичем не как с членом ЦК, не как с главою Советского государства, не как с вождем социалистической революции, а просто как с товарищем.

Вопрос касался, между прочим, и нашей борьбы с эсерами и меньшевиками.

— А что вы думаете об эсерах? — спросил меня Владимир Ильич.

Я отвечал, как я думаю о них с точки зрения того дела, которое мне предстояло выполнить.

От нетерпения и внутреннего несогласия с моим ответом Владимир Ильич два раза с затылка на лоб и обратно отер свою голову и как-то так остро посмотрел на меня, что ничего, кроме его глаз, я не видел.

— Да ведь эсеры делаются заговорщиками против Советской власти, — возразил мне Владимир Ильич.

— Они, — добавил он в пояснение своей мысли, — просто стрелять в нас будут.

Это было сказано им с простым выражением лица, но твердая непреложность сказанного звучала в его голосе.

Спустя некоторое время (30 августа 1918 года), с большим трудом расталкивая чужие спины в шинелях, пиджаках и кофтах, я пробивался к трибуне митинга Басманного района. На трибуне, то есть на сцене, сидел Ем. Ярославский в ожидании слова, а Владимир Ильич, то отступая, то наступая, говорил с народом. При этом он, как всегда, был весел, прост, мятежен и, как всегда, какими-то невидимыми волнами связывался с публикой:

казалось, она не слушает, а дышит его словами, и манера у него говорить: не только со всеми, а с каждым. Этим он существенно отличался от многих из наших очень заслуженных ораторов.

Окончив речь, Владимир Ильич, убегая от оглушительных хлопков, надвинул на брови свою кепку, сразу стал казаться ниже всех ростом — во время речи он казался выше — и застегнул торопясь пальто. Но тут же почувствовал, что жарко, опять расстегнул его и по жиденьким деревянным ступенькам подмостков, аккуратно ступая, спустился в толпу.

При самом выходе из здания, там, где стоял стол пропусков на митинг, усеянный надорванными билетами, покинутый всеми еще при самом начале речи Владимира Ильича, произошло замешательство. Какой-то весьма негодующий товарищ заявил, что в Лефортове, в Введенском Народном доме, где самый настоящий пролетариат, там нет до сих пор ни одного оратора, а в Басманном почему-то сошлись и Ленин, и Ярославский, и другие. Владимир Ильич сослался на то, что он стоворился ехать в Замоскворечье.

Владимир Ильич, предложив мне поехать в Введенский Народный дом в Лефортово, уехал в Замоскворечье.

Из Лефортово часов в 10 вечера я вернулся домой. А через полчаса мне позвонили и рассказали о том, что случилось на заводе Михельсона.

Огнями задрожали в моем воспоминании Ильичевы слова: «Они просто стрелять будут в нас».

Эти простые и вещие слова Владимира Ильича меня поразили.

Какой гениальный дар предвидения у нашего Ильича!

Соединение великого и простого удивительно сочеталось в нем. Недаром художник В. Н. Денисов рассказывал мне, что никак не мог нарисовать портрет Владимира Ильича. Водил я этого художника на съезды, на митинги.

— Нет, не могу,— говорит.

— Отчего же?

Художник разводил руками.

Но вот наконец, выслушав речь Ленина на IV Чрезвычайном съезде Советов, где Владимир Ильич защищал

ратификацию мирного договора с немцами, растроганный художник подошел ко мне.

— Вот он, оказывается, какой.

— Какой?

— Он, он... Когда он говорил, он все время казался мне то ученым профессором в черном сюртуке, то распорядительным мужичком. Оттого и рисовать его не могу, что двоится... Мужичок и профессор.

«НУ ЧТО, КАК ИЛЬИЧ?»

С чего началось это?

Летом 1922 года приехал ко мне за границу — тогда я жил там — один товарищ. Поговорили о разных делах. Спросил я его, как Ленин смотрит на то, на это.

— Ленин? — спросил меня товарищ и как-то непонятно замолчал.

— Да, Ленин.

И лицо моего приятеля, и все его поведение, и какал-то затрудненность в ответах сразу толкнули под сердце острый ледок.

— Что же с Ильичем?

— Удар, — ответил товарищ.

— Это достоверно?

— Да! Самые верные источники.

Позднее, летом того же года, приезжали из Москвы другие товарищи, опять рассказывали о Ленине.

Вот тогда и началось это.

— Ну что, как Ильич?

Не здоровались и не прощались, не задав этого вопроса.

А голод гулял по необъятной Руси, продолжал приговаривать к смерти людей тысячами... И болезнь в кровеносных сосудах Владимира Ильича упорно продолжала свое дело вопреки самым энергичным мерам лечения.

Приехал в Россию. Глубокая осень. Еще на вокзале увидел знакомых:

— Ну что, как Ильич?

— Поправляется.

— Достоверно?

— О да, конечно.

Прошло много дней после этого. Все чаще и чаще слышал я вокруг себя:

— Ну что, как Ильич?

Однажды вечером сам спросил одного чекиста.

— Ну что, как Ильич?

— А так, что он завтра выступает во ВЦИК.

И при свете кремлевского фонаря лицо его сияло большой радостью.

Ленин действительно выступал 31 октября 1922 года на IV сессии ВЦИК IX созыва. А потом через две недели в коридоре большого дворца вместе с многими другими я опять ждал его.

13 ноября 1922 года Ленин выступал на IV конгрессе Коммунистического Интернационала с докладом на тему: «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции».

Заглядывал в зал. Там было много иностранцев, звучал разный говор. Трибуна пуста.

За столом президиума — ни души. Видно, заседание еще не открывалось. Опять я в коридор. Из соседней к залу комнатки — стук машинок: отбивают такт великому всесокрушающему времени. Кто-то в военной форме быстро прошел по коридору. Где-то у окна сказали: сейчас идет. Я оглянулся было на того, кто это сказал, но вдруг увидел, как головы всех товарищей повернулись к двери.

Быстрыми шагами, пальто внакидку, на голове шапка-ушанка, шел Ленин, а с ним обе сестры, жена и итальянец Бордига. С итальянцем он что-то говорил по-французски. Раза два поклонился кому-то.

Он, он самый — прежний: рыжеватые усы и борода, очень живые глаза, которые издали кажутся раскосыми, а поближе словно переливчатые самоцветы, и густые брови... А лицо, все сеченное морщинками, словно кусок, выбитый из каменоломни.

Ленин сбросил на стул пальто и шапку и поспешно встал у кафедры, так что никто из членов президиума не успел сесть за стол и открыть заседание. И только когда порывисто заплескались сотни рук, когда ни один из присутствующих ничего не мог вымолвить и сквозь радостную пелену влаги, окутавшую глаза, только хлопал и хло-

пал в ладоши, когда даже красноармеец, стоявший на пропусках, в радостной растерянности пропустил двух-трех, не спросив с них мандата, из комнаты справа к столу один по одному поспешно собрались члены президиума.

Ленин был очень смущен. Чтобы чем-нибудь заняться у кафедры, он стал перебирать листочки. Потом попробовал откашляться, чтобы говорить. Тогда хлопки полетели с удвоенной силой. Ленин, порывшись в карманах, начал доставать носовой платок. Потом опять кашлянул, собираясь начать речь, но тут аплодисменты вдруг оборвались, и грянул на разных языках стройно, мощно и гулко «Интернационал».

Ленин склонил несколько голову направо, слегка набок, и смотрел неподвижно в правый край пюпитра. Глаза его вдруг стали большими и очень ясными.

Последние раскаты «Интернационала» укатились куда-то под подоконник огромного окна.

Ленин быстрым и властным движением провел вправо-влево по своим усам и начал свою речь по-немецки.

Сначала осторожно, видно, соразмерял свои силы. Потом он загорячился. Если, забыв отдельные немецкие слова, подщелкивал пальцами, чтобы вспомнить, то из первых рядов и из президиума вперевод подсказывали нужные слова. Некоторые подсказки он отвергал и искал выражений более тонких, более точных.

— Что делается: совсем прежний Ильич!

— Да, да! — подтвердил я.

В середине речи у Ленина наступил какой-то перелом: он, видимо, стал уставать. Голос становился глуше, и реже он подщелкивал пальцами: должно быть, труднее становилось заострять свою мысль.

После доклада он опять накиннул пальто, надел шапку и хотел идти. Но вокруг него суетились товарищи и просили его сняться со всеми вместе.

— Опять сниматься? — спросил Ленин. — А где же фотограф?

— Сейчас, сейчас, — отвечали суетившиеся товарищи. Кто-то звонил по телефону, вызывая фотографа.

Кто-то негодовал на то, что кто-то еще не сдержал обещания, кому-то данного.

А Ленину все говорили:

— Сейчас, Владимир Ильич, сейчас, погодите...

И еще ждал Владимир Ильич. Потом прищурил глаза и весело заметил:

— Вы только тумашитесь, а фотографа-то нет!

Что-то еще сказал такое веселое, что все смеялись, и пошел к выходу из зала, пробиваясь правым плечом из толпы.

И когда на другой день приехавший провинциал меня спросил:

— Ну что, как Ильич?

Я с радостью сообщил ему, что сам его слышал.

И стало ничуть не жутко и спрашивать и слышать:

— Ну что, как Ильич?

По-прежнему Ильич с нами, по-прежнему старается осветить нам дорогу и дает формулу для современности.

Но всеиспеляющее время! Всесильные кровеносные сосуды и бессильные немецкие лекарства.

— Ну что, как Ильич? — спросил я однажды, ожидая хорошего ответа.

— Плохо. Кажется, опять удар. Приходите сегодня на заседание Моссовета, там будет сообщение.

Прихожу. Опоздал. Народ толпится в коридорах.

О здоровье Ильича уже доложили.

Спрашиваю у одного, что было сказано.

— Сказали, что Ильич скоро поправится и будет в наших рядах.

— Как? — Недоумеваю и иду к другому:

— Ну что, как Ильич?

— Сообщили, что опять удар; завтра выйдет бюллетень.

Опять иду к первому товарищу.

— Что же вы мне неверно сообщили: ведь Ильич опять плох.

— Ничего подобного. Скоро будет в наших рядах, так сообщили.

— Товарищ, да вы точно ли слышали?!

— Да уж чего точнее?! Скоро будет среди нас!

На другой день вышел бюллетень, который не оставлял сомнений: с Ильичем снова удар.

Но что же за загадка тот товарищ, который упрямо излагал сообщение, сделанное на заседании Моссовета, наоборот?

Долго я был в недоумении, пока не попал на одно рабочее собрание. Там упорно говорили то же, что и тот странный товарищ:

— Ильич скоро будет среди нас.

Обращаюсь к секретарю райкома, который был тут же.

— Почему это искажают информацию об Ильиче?

— Вовсе не искажают, — ответил серьезно и вдумчиво секретарь. — Пролетариат хочет, чтобы Ильич был с ним, поэтому он это и утверждает. С этого его не собьешь.

Вот оно что! Наперекор склерозу кровеносных сосудов, наперекор всепоглощающему времени пролетариат хочет, чтобы Ильич был с ним, и утверждает это.

И опять всюду, везде все чаще и чаще:

— Ну что, как Ильич?

«О Владимире Ильиче Ленине».
Госполигиздат, 1963, стр. 417—
422.

Речь Ильича

... **В** те дни мы особенно горячо спорили о новой экономической политике. Многие удручало нас. Неподдалеку от редакции возник частный магазин «Гастроном», и мы, проходя мимо витрин, залитых огнями, с горечью и ненавистью смотрели на россыпи дорогих нэпманских яств. А наш старый приятель, студент Миша Тимченко, чтобы заработать на хлеб, после занятий торговал папиросами Моссельпрома...

Двадцатого ноября тысяча девятьсот двадцать второго года наша комсомольская ячейка получила несколько билетов на пленарное заседание Московского Совета в Большой театр. Предполагался доклад Совета Народных Комиссаров. Кто будет делать доклад, мы не знали. Владимир Ильич еще не поправился после болезни, и присутствие его на Пленуме не ожидалось.

В огромном переполненном зале Большого театра было шумно. Встречались знакомые, обменивались новостями, толковали о делах мировых и делах насущных. Мы, как имевшие отношение к прессе, пробрались в оркестр и от-

туда смотрели на членов правительства. Они рассаживались на сцене за столом президиума прямо перед нами. Вот показалась совсем уже седая Клара Цеткин. И все члены правительства с большим уважением здоровались с ней, уступали ей место.

После отчета президиума Моссовета наступила многозначительная пауза. Председатель торжественно объявил:

— Слово имеет Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин.

Невозможно передать, что произошло в зале. Сотни людей оглушительно били в ладоши, кричали: «Да здравствует мировая революция!», «Да здравствует Ленин!» Оркестр троекратно исполнил «Интернационал». А Владимир Ильич незаметно вошел откуда-то сбоку, быстро прошел к кафедре и, подняв руку, тщетно старался успокоить бушующее море.

Я впервые увидел Ленина. Я хотел что-то записывать и не мог. Он стоял совсем близко, прямо передо мной. Я боялся пропустить хоть один его жест, хоть одно слово. И все же потом, когда я вспоминал об этих минутах, мне всегда казалось, что я упустил какие-то единственные, неповторимые детали.

Ленин казался мне непохожим на свои многочисленные портреты. Но я бы не сумел описать его внешность.

Он мне представился совсем простым, и понятным, и добрым. По-моему, я даже не хлопал в ладоши и не кричал вместе со всеми,— так я был поглощен созерцанием Ильича. А когда опомнился и начал аплодировать, зал уже затихал.

Владимир Ильич говорил о социализме. Он сказал: «Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед... Ни одного из старых завоеваний мы не отдадим».

Он сказал: «...мы должны были подойти к социализму не как к иконе, расписанной торжественными красками».

Он сказал: «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы... Мы социализм протащили в повседневную жизнь...»

Владимир Ильич произнес исторические слова: «...из России нэповской будет Россия социалистическая». И я

сам слышал эти слова. Я видел его вдохновенное лицо, когда он эти слова произносил.

Он не похож был на других ораторов. Он говорил задушевно, просто, точно беседовал с тобой, точно находил путь к самому твоему сердцу.

Я не мог оставаться в театре после речи Ленина, не мог ни с кем делиться впечатлениями. Я убежал домой.

Я прошел мимо ярко освещенного нэпманского «Гастронома». На пороге стоял хозяин. Я смерил его презрительным, уничтожающим взглядом. «Из России нэповской будет Россия социалистическая...»

На углу Козицкого переулка со стандартным папиросным лотком грустно стоял Миша Тимченко. Из-под папирос высовывался край учебника политической экономии. «Ничего, Миша,— хотелось мне ему крикнуть на всю улицу.— Все в порядке, старик. Из России нэповской будет Россия социалистическая».

Мама увидела мое необычайное волнение, но ни о чем не расспрашивала.

— Мама,— сказал я,— я слышал Ленина.

В ту ночь я не мог уснуть, сидел у стола и писал стихи: мне казалось, только стихами сумею я передать свое волнение. Я писал стихи о Ленине и о социализме, который мы строим каждый день, каждую минуту. Несмотря ни на что. Так говорил Ленин. Огромное понятие социализма он сделал сегодня для меня конкретным, близким, сегодняшним.

Социализм не мечта и не вера он,— писал я,—
Вот он здесь, сегодня, у нас...
Нет... От трудностей мы не падали.
Новый счет открыли векам.
Нас ли было сломить блокадами,
Нас ли было разбить врагам?..

Стихи получались корявые, наивные. Но мне они казались в ту ночь прекрасными. Я прочел их маме под утро... Она не спала, то и дело поднималась с дивана, подходила ко мне, иногда проводила рукой по спутанным моим волосам, но не предлагала ложиться, не мешала. Она все понимала, моя мама. И она поняла это стихотворение о Ленине и социализме, стихотворение, которое так и не увидело света на газетных полосах...

А в январе 1924 года в раннее морозное утро, ко мне в комнату постучали и сказали, что меня срочно вызы-

вают в редакцию. Вчера вечером в Горках умер Владимир Ильич Ленин.

Я пробыл в редакции день и ночь. Мы делали специальный номер газеты. Напряженная работа помогала нам переживать огромное непередаваемое горе. Я правил статьи, оформлял полосу. Десятки портретов Ленина лежали передо мной на столе, а я сквозь все видел сцену Большого театра, и кафедру, и поднятую руку Ильича, и его вдохновенные глаза, и слышал его слова:

«Из России эпоховской будет Россия социалистическая».

Я вышел на улицу в жестокий мороз, под утро. И тогда только подумал: «А мама? Как мама?» Я поспешил домой. По всей Дмитровке протянулись длинные очереди. Народ стремился к Колонному залу, последний раз проститься с Ильичем. Лицо Москвы сразу стало суровым и скорбным.

У меня был редакционный пропуск в Колонный зал. Я быстро шел по Дмитровке и вдруг остановился: на углу Столешникова переулка я увидел свою маму.

Из-под большого шерстяного платка виднелись только глаза и нос. В суровом молчании она медленно двигалась вместе со всеми к дверям Колонного зала. В глазах ее застыла та же общая народная скорбь, народное горе.

Я подошел к ней, безмолвно взял ее под руку. Я почувствовал ее такую родною, как никогда.

И в общем людском потоке мы пошли вместе к Колонному залу Дома Союзов, туда, где лежал Ленин.

*«Литература и жизнь», 1962,
18 ноября.*

*Для настоящего издания текст
заново просмотрен автором.*

Январская стужа

От костров клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым пламенем.

Дым ночных костров и январской стужи низко висел над Москвой.

Сквозь этот дым со скрежетом ползли трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом — «снегири». Так звали милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукавах у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади слышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный...

Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав, — к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.

Страна двигалась к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей. Время от времени плавное звучание оркестров разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел капитан дальнего плавания, сотрудник морской газеты «На вахте» Зузенко — мой сосед по даче в Пушкине.

Мы медленно прошли мимо гроба и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать увиденное — лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет

с нами. Куда пойдет страна? Какая судьба ждет революцию?

Казалось, что время застыло. Эпоха отыграла свое, замолкла, и вряд ли кто-нибудь сможет удержать ее на прежнем пути.

— Наши дети, — сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, — будут завидовать нам. Если не вырастут круглыми дураками. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, разочарований и побед. Зеленых от голода и почерневших от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня.

Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино в пустом дачном поезде. Он грохотал и качался в густом пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельсов. Им вторило почное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает и потому звенит и потрескивает, как тонкий лед, разбитый камнем.

Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.

Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил:

— Поедете завтра на похороны Ленина?

— Конечно.

— В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко — чистое рядно, чтобы не сказать больше. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.

— У меня есть.

— Померяйте. А завтра утром я зайду. Пораньше.

Я ушел.

В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись потертой медвежьей шкурой.

Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни, просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распорядиться собой.

Мир потрясен. Неистовая стужа не может убить печаль человеческих сердец. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут полного избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.

Он знал. Но знаем ли мы?

Я потянулся к часам. Печка прогорела. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. Сильно болела голова.

Серый сумрак, поморок, заползал в комнату из окна и тут же падал в темноту, на пол.

Надо было собираться и ехать в Москву.

Зузенко постучал в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, чтобы я даже не смел отворять ему дверь: мороз осатанел и просто сжигает легкие.

— Ехать в Москву немислимо! — прокричал он. — Оставайтесь. Ложитесь. Я поеду, вернусь поскорее и все вам расскажу.

У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же надел пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.

Я добрел до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.

Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы.

Но я не прошел и двух километров. Очень кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос, в снег, и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все брел и брел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.

Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громяхающий вздох орудийных залпов.

Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.

Наконец со стороны Пушкина послышался нарастающий шум, — это шел в Москву, выбрасывая столбы дыма и пара, сибирский экспресс.

Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, уволакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, отдохнуть, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться.

Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и запели тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.

Поезд остановился там, где его застало время похорон. Пар вырвался могучей струей из недр паровоза, и паровоз закричал. Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крике слышалось отчаяние, гнев, призыв.

Этот могучий гудок летел окрест — в леса, в стужу, в поля, где одним нетронутым пластом расстилались снега.

Шли минуты, а паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и настойчиво, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве хоронят Ленина.

Экспресс промчался через тысячи километров великой русской зимы, но опоздал. Всего на сорок минут.

Мне казалось, что я слышу не только вопль сибирского экспресса, но крик всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и сотрясали зимние свинцовые воды плачем мощных сирен.

Гудок сразу стих, и поезд тронулся в задымленную даль, к близкой Москве.

Все было кончено. Я побрел домой.

На дачах мертво висели траурные флаги.

На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне чудилось, что вымер весь мир и жизнь иссякла, как последний неприятный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.

*«Огонек», 1962, № 4, стр. 10—11.
Для настоящего издания текст
заново просмотрен автором.*

Ленин в гробу

Я шел по красным коврам Дома Союзов: тихо, в очереди, затаив дыхание, думая:

«Сейчас увижу лицо твое, учитель, — и прощай. На веки. Больше ни этого знакомого лба, ни сощуренных глаз, ни голой, круглой головы — ничего не увижу».

Мы все ближе, ближе...

Все ярче огни — электричеством залит зал, заставленный цветами. Посреди зала, на красном — в красном — лежит Ленин: лицо бело, как бумага, спокойно, на нем ни морщин, ни страданья — оно далеко от тревог. Оно напоминает спокойствием своим лицо спящего младенца. Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корчей, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо. Как оно прекрасно, это лицо! Я знаю, что еще прекрасно оно потому, что — любимое, самое любимое, самое дорогое.

Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей, — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий, — как тогда, одинаков.

Вот вижу со ступенек все лицо, с закрытыми глазами, потом ближе и ближе — вот одна впалая щека и ниже ее чуточная борода. Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали, — теперь кажутся они и гуще и черней... Двигается, движется человеческая цепочка слева направо, вокруг изголовья, за гроб.

Виден только череп... Блестит голой, широкой показностью... И дальше идем — снова щека — другая, левая...

Идем и оглядываемся — каждому еще и еще хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить.

И снова по красным коврам идем проходами, коридорами Дома Союзов — выходом на Дмитровку. А у крыльца — толпа: тысячная, стотысячная ли она, не рассмотреть: кругом толпа, до Дома Советов, до Тверской, по Дмитровке — везде она волнуется, ждет очереди отдать последний поклон покойному вождю, любимому Ильичу.

Д. м. Фурманов, Собрание сочинений, т. 4, Гослитиздат, М. 1961, стр. 334—335.

Мы хоронили Ильича

Все шли, шли, шли тысячи и сотни тысяч осиротелой Москвы по Красной площади от раннего утра до последней минуты, когда гроб, красный ящик, подняли, спрятали в вечное жилище. Был жестокий мороз — такого за зиму не было ни разу. Мы сбились у Лобного места. Два часа оставалось до похоронной минуты. Приближались, становились новые. Росла толпа...

Близился час... Вот три... три с половиной... без четверти четыре... без десяти... пяти... двух... одной минуты...

И вдруг заплакали в воздухе жалобные сирены, густо завывали заводские гудки. Стало жутко. Величественно. Торжественно. Кто-то возле зарыдал, забился в истерике. Его подхватили и понесли в санитарный автомобиль. Шмыгали носами, хватались за платки, рукавами отирали мокрые глаза. Эта толпа... замерла в молчанье, застыла в горе, вся на цыпочках устремилась взорами туда, откуда

сняли и понесли священный красный ящик. В воздухе дрожали полеты артиллерийских ударов, проносились над головами невидимым рыданьем. В этот миг, где-нибудь далеко, далеко, в Кавказских горах, на каком-нибудь крошечном Сахалине, в версте, в двух от него среди полного хода — вдруг остановился поезд. Почему? Это Ленин умер... Ленина опускают в могилу. Эти минуты вся жизнь должна остановиться. Будут петь невидимые голоса похоронный гимн, будет бить телеграфная лента: — Ленин умер, Ленин умер... Ленин умер, но дело его живет...

В этот миг весь мир с нами слился в едином глубоко траурном чувстве.

Мы хоронили Ленина...

И расходились. Надо было видеть, как расходились мы с Красной площади.

Ленина больше нет!

Печатается по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей ИМЛИ, II—62, 1580.

Траурная година

Год назад, в этот день, 6.50, умер Ильич. Я прошел снежным сквером и уперся в гранит храмхристовских лестниц. Тьма. Кремль в мелких, в ярких звездах — огнях. В темно-синюю вечернюю вуаль, где-то далеко-далеко на башне Кремля — бьется отсветами, красными отблесками флаг. Мы стоим молча — один, другой, десятый, сотый. Все молчим. И взорами вонзились туда, на Красную. Скоро салют — пальба. Скоро. Напряженно дрожит тело, гудит в голове, у горла что-то накипает, нарастает, все ближе, ближе, ближе... И вот одна за другой жалобно, протяжно заплакали заводские сирены... Над траурной Москвой поплыли, заплакали навзрыд печальные стоны...

Ударили орудия, выждали минуту, ударили вновь, а в густой вечерней синеве — над морем огня — жалобные, протяжныеплыли во тьму рыданья сирен. Мы стояли окаменелые. Никто не говорил другому ни слова. Мы полны были глубоких чувств и молча их хранили в груди. Мы затем пришли, чтоб чувствовать здесь, что за день, что это за час, что за минуты.

Останавливалось дыханье, сгрудились спазмами в горле рыдания, по щекам моим сползали слезы...

Нет его, великого учителя, нет...

И вспоминалось дорогое лицо — как видел я его на съездах: ¹ желтое, утомленное, но горящее радостью, зажигающее бодростью, верой в успех, в победу своего дела... Вспомнился этот крутой череп, остро стриженные усы, колючие и ласковые вместе глаза — весь встал Ильич. Ожил. Он на трибуне. Говорит речь — простую, ясную до дна, убеждающую до отказа — историческую речь... И знать теперь, что нет его, — э-эх, тяжело... Вся Москва этот день, эти дни особенно — в воспоминаньях о дорогом покойнике: заставлены, затянуты в траур витрины, портретами, бюстами — учрежденья, залы — черно-красной материей, по залам, по клубам, на собраниях, в ячейках — везде речь об Ильиче, о делах его, о жизни, о борьбе.

Этот день, эти дни каждая минута жизни нашей пронизана мыслью и чувством только о нем.

Идут по улицам с плакатами рабочие, до глубокой ночи бьют барабаны пионеров, слышны комсомольские песни. Москва поминает великого учителя, великого борца, любимого Ильича.

Д. м. Фурманов, Собрание сочинений, т. 4, Гослитиздат, М. 1961, стр. 347—348.

¹ Д. м. Фурманов присутствовал в качестве делегата на VII и VIII Всероссийских съездах Советов в декабре 1919 г. и в декабре 1920 г. На этих съездах В. И. Ленин выступал с докладами и речами. — *Ред.*

В. И. Ленин

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, динично выраженное афоризмом: «труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них,— нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое

обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти, — написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в mnogой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19—21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, немало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою

руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нём ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычной, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одну рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»; оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, по крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых револю-

пионеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпильены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт.

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво: вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии.

Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов, — говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя, — подумалось мне, — дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на все, — он только что вышел из тюрьмы, — видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера, или революция», по словам одной «гэнсом лэди», которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. В. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее, — у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую

рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но я там написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, — это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Все пропало, — говорили они. — Все разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченный человек» и отрицаю значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, — это я знал с 903 года, — а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят, Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все

пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка, — можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съеживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты, — пренебрежительно говорил он, — нет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо,

желтым кулаком. Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрасивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, все-таки «боевым» тоном, он все так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул:

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтобы рассказать, как говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень

трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод разворачивался сам собою — силою, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчки... в з-заговорчки играет! Б-бланкис-кис-кис!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско,

спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат все более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выпрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся,

глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой,— сказал Ильич.— Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме», как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно придет на Капри отдохнуть.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат,— студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я

предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков: для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отстывает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетях, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «перед ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», — это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованны, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — так-ва, пока, его судьба. Но враги его — обесселят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его, присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, — но как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех. — Вот не предполагал. Черт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятное и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь, и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-

вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, т[оварищ] Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте, — советовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, — не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой, — невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди немало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не

пойдут они с нами! Не могут! И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление, — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь леси:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и то же, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака: «Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но неспособных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, — Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже все знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И все — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить. Уже только

эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, — в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, — Человеку — с большой буквы.

В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей, — еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабощают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников, — сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией — для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией, — иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих

и в годы реакции, 1907—1913, усиленно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весной 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства; С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся», — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное коли-

чество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет, — я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России, — в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помещал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его

движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, — до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, — роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому,

характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать

нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь по-вашему, она искренне служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренне обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините, — возразил Ленин, — это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как оно пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм», — он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделяли ее для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут порабощены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживать системы мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. Если вчера мы говорили о легализации

мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсеять, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом, — не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушью? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какую мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм,— скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами,— говорил он,— ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Мечь и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жадой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу,— очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм,— сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ.— Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим,— кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомозмульсию...

— Да, да — карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдуманно, то выдуманно неплохо. Шутка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции, — самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть, — обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти?

Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они, — тут нужен искусный повар. — И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

Старый знакомый мой, П. А. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понята, все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечиче! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаа Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Аrassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм,— должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VII.1921 года:

А. М.!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас!

Ваш Ленин.

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то, где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое пронизательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал.

В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, — изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин? Страшно удивились — как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация! — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохотывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех,

что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями. Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, — Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассалья...

Эти слова: «С нами, а — не наш!» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек, — сказал он мне шутливо, — в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории? Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых, — я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересовался пролетарской литературой.

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока, — по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похохатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать — совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душевной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

М. Горький, Собрание сочинений, т. 18, Гослитгиздат, М. 1963, стр. 253—285.

Содержание

От издательства	3
А. ЛУНАЧАРСКИЙ	
Ленин и искусство	7
Штрихи	16
СКИТАЛЕЦ	
Ульянов-Ленин	21
А. ВОРОНСКИЙ	
О Ленине	28
В. ДЕСНИЦКИЙ	
В. И. Ленин и М. Горький	30
А. БОГДАНОВ	
Первая встреча	48
М. ГЕРАСИМОВ	
Встреча в Гельсингфорсе	56
И. ЭРЕНБУРГ	
В январе 1909 года	58
И. ПОПОВ	
В. И. Ленин в Брюсселе	62
Е. УСИЕВИЧ	
Из воспоминаний о В. И. Ленине	95
П. ИГНАТОВ	
Приезд Ленина	110
В. ШКЛОВСКИЙ	
Ленин	113

Ал. АЛТАЕВ	
Я слушаю Ленина	115
А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ	
У Ленина	118
П. АРСКИЙ	
Солдатская баллада	122
Во дворце Кшесинской	124
А. ПОМОРСКИЙ	
Июльские дни	129
Л. КОТОМКА	
Третье поручение	132
П. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ	
По прямому проводу	137
Встречи с Лениным	141
Ф. РАСКОЛЬНИКОВ	
Рассказ о потерянном дне	144
И. ВОЛЬНОВ	
К покушению на Ленина	149
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ	
Из очерка «Октябрь в Москве»	155
Д. БЕДНЫЙ	
Из предисловия к книге Л. Войтоловского «По следам войны»	157
«Москва...»	158
Г. САННИКОВ	
...И шурился: глаза слепила Россия завтраш- него дня	160
Ф. БЕРЕЗОВСКИЙ	
Ленин на трибуне	163
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ	
Делегация I съезда РКСМ у В. И. Ленина	168
Записка Ленина	176
П. ЗАМОЙСКИЙ	
Говорит Ильич	180
З. РИХТЕР	
Первая годовщина	187

Н. ПОЛЕТАЕВ

Ленин на трибуне 191

О. ЛЕОНИДОВ

«Кремлевское дело» 196

И. ЖИГА

Ленинская правда 199

Ф. ПАНФЕРОВ

Твердой поступью 204

В. КАЗИН

Глядя на фотографию 209

Е. ДРАБКИНА

Раздумье 213

Вечер в Кремле 218

П. ОХРИМЕНКО

Воспоминания о В. И. Ленине 223

А. СЕРАФИМОВИЧ

Мои встречи с Лениным 227

Л. СЕЙФУЛЛИНА

О Ленине 233

В. БРЮСОВ

О Ленине 237

В. ВОРОВСКИЙ

В. И. Ульянов-Ленин 239

Л. НИКУЛИН

Большой человек мира сего 243

Конст. ФЕДИН

Живой Ленин 249

А. ЖАРОВ

Ленин в гостях у комсомольцев 254

Е. ЗОЗУЛЯ

О Ленине 265

В. БАХМЕТЬЕВ

Незабываемая встреча 270

А. ВОРОНСКИЙ

Из прошлого 275

А. ГАСТЕВ	Свидание с Лениным	277
Г. СЕРЕБРЯКОВА	В. И. Ленин	281
А. АРОСЕВ	«Наш Ильич»	286
А. ИСБАХ	Речь Ильича	294
К. ПАУСТОВСКИЙ	Январская стужа	298
Дм. ФУРМАНОВ	Ленин в гробу	303
	Мы хоронили Ильича	304
	Траурная година	305
М. ГОРЬКИЙ	В. И. Ленин	307

ЖИВОЙ ЛЕНИН

Воспоминания писателей
о В. И. Ленине



Редактор И. Израильская
Технический редактор Ж. Примак
Художественный редактор Ю. Боярский
Корректор М. Доценко



Сдано в набор 9/II 1965 г. Подписано
в печать 15/IV 1965 г. А05133. Бум.
84×108¹/₃₂. 11 печ. л. 18,48 усл. печ. л.,
16,11 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 16,16 л.
Тираж 100 000. Цена 64 коп. Заказ 2323

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19



Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28

